COLL	400	7 00-	
	Tuu	/ _ ' < ' /	
		1 -02	



ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Труды

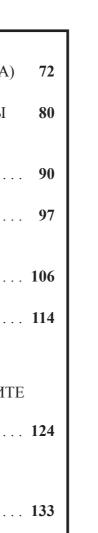
КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

№ 6, 2011

transactions.krc.karelia.ru

Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Выпуск 2

СОДЕРЖАНИЕ				
Границы в языке и культуре				
С. И. Кочкуркина. К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ ПРИЛАДОЖСКИХ (ОЯТСКИХ) КУРГАНОВ	3			
И. Е. Гришина. ВОСТОЧНО-ОБОНЕЖСКИЙ КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ КАРЕЛИИ	9			
В. Г. Платонов. РОЛЬ НАРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОГО РЯДА ИКОНОСТАСОВ В ХРАМАХ КАРЕЛИИ XVII–XVIII ВЕКОВ	19			
Н. А. Криничная. ПОТОЛОК: ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА В КРЕСТЬЯНСКОМ МИКРОКОСМЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА)	29			
Е. Г. Сойни. ОБРАЗНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ «РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ» В РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ФИНЛЯНДИИ 1920–1940-х ГОДОВ	37			
Д. В. Кузьмин. НАСЛЕДИЕ САВОЛАКСОВ В ТОПОНИМИИ КАРЕЛИИ Н. Г. Зайцева. ВЕПССКИЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕКОТОРЫХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ	45			
СЮЖЕТАХ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАРТАХ ALFE: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КОНТАКТЫ	57			
Государственные и административные границы. Размежевание и контактирование «своих» и «чужих»				
Jukka Kokkonen. SEARCHING BACK THE OLD BORDER. THE BORDER BETWEEN RUSSIA AND SWEDEN IN THE EARLY MODERN PERIOD	66			



ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЙ КАРЕЛИИ (XII–XVIII ВЕКА) Е. Ю. Дубровская. НАСЕЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ И РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Ник Барон. СТОЛКНОВЕНИЕ ИМПЕРИЙ: РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЕНЦИИ СОЮЗНИКОВ **Н**А СЕВЕРЕ РОССИИ, 1918–1919 ГОДЫ **90** Е. Ефремкин. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ФИННОВ В СОВЕТСКУЮ КАРЕЛИЮ В 1930–1933 ГОДАХ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ . . . 97 Л. И. Вавулинская. СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – МАРГИНАЛЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ КАРЕЛИИ ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ) 106 О. В. Рябов, М. А. Константинова. «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» Аспирантские тетради Т. А. Хорошун. К ВОПРОСУ СМЕНЫ КУЛЬТУР В НЕОЛИТЕ – РАННЕМ ЭНЕОЛИТЕ КАРЕЛИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

 ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА)
 124

 Ю. В. Литвин. ИМУШЕСТВЕННЫЕ ПРАВА КАРЕЛЬСКОЙ КРЕСТЬЯНКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ТРАДИЦИЯ, ЗАКОН И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ) 133 В. П. Миронова. ЗООМОРФНЫЙ КОД ПРОВОДНИКА МЕЖДУ МИРАМИ В КАРЕЛЬСКОЙ РУНЕ О ДОБЫВАНИИ ЖЕНЫ В СВЕТЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО А. С. Лызлова. МЕСТО ПОХИЩЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ: К ВОПРОСУ О КОНТАКТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВОЕГО И ИНОГО И. П. Новак. ВЕПССКИЙ СУБСТРАТ В СИСТЕМЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ СТУПЕНЕЙ Юбилеи и даты Н. В. Лобанова. Исследовательская тропа Ю. А. Савватеева (к 75-летию со дня И. И. Муллонен. Нина Николаевна Мамонтова (к 70-летию со дня рождения) 156

И. Ю. Винокурова. Тихвинские карелы-старообрядцы в исследовании О. М. Фишман 163

В. И. Mycaeв. Maria Lähteenmäki. Maailmojen rajalla. Kannaksen rajamaa ja poliittiset

Рецензии и библиография

А. Ю. Жуков. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-

Карельский научный центр Российской академии наук

ТРУДЫ

КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Выпуск 2

Труды Карельского научного центра

Российской академии наук

№ 6, 2011. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, вып. 2

Главный редактор журнала А. Ф. Титов

Редакционный совет

А. М. Асхабов, В. Т. Вдовицын, Т. Вихавайнен, А. В. Воронин, С. П. Гриппа, Э. В. Ивантер, А. С. Исаев, В. Т. Калинников, В. И. Крутов, А. М. Крышень (зам. главного редактора), Е. В. Кудряшова, В. В. Мазалов, Ф. П. Митрофанов, И. И. Муллонен, Н. Н. Немова, В. В. Окрепилов, О. Н. Пугачев, Ю. В. Савельев, Н. Н. Филатов, А. И. Шишкин, В. В. Щипцов, Ф. Н. Юдахин

Editor-in-Chief A. F. Titov

Editorial Council

A. M. Askhabov, V. T. Vdovitsyn, T. Vihavainen, A. V. Voronin, S. P. Grippa, E. V. Ivanter, A. S. Isaev, V. T. Kalinnikov, V. I. Krutov, A. M. Kryshen' (Deputy Editor), E. V. Kudryashova, V. V. Mazalov, F. P. Mitrofanov, I. I. Mullonen, N. N. Nemova, V. V. Okrepilov, O. N. Pugachyov, Yu. V. Saveliev, N. N. Filatov, A. I. Shishkin, V. V. Shchiptsov, F. N. Yudakhin

Редакционная коллегия серии «Гуманитарные исследования»

А. В. Антощенко, И. Ю. Винокурова, А. С. Герд, Н. Г. Зайцева, О. П. Илюха (зам. отв. редактора), Н. А. Кораблев, С. И. Кочкуркина, Н. А. Криничная, Е. И. Маркова, И. И. Муллонен (отв. редактор), А. В. Пигин, Т. Хямюнен, Н. В. Чикина (отв. секретарь)

Editorial Board of the «Research in the Humanities» Series

A. V. Antoshchenko, I. Yu. Vinokurova, A. S. Gerd, N. G. Zaitseva, O. P. Ilyukha (Deputy Editor-in-Charge), N. A. Korablyov, S. I. Kochkurkina, N. A. Krinichnaya, E. I. Markova, I. I. Mullonen (Editor-in-Charge), A. V. Pigin, T. Hämynen, N. V. Chikina (Executive Secretary)

ISSN 1997-3217

Зав. редакцией Н.В.Михайлова Адрес редакции: 185910 Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 тел. (8-8142)780109; (8-8142)769600 E-mail: trudy@krc.karelia.ru Электронная полнотекстовая версия: http://transactions.krc.karelia.ru

ГРАНИЦЫ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

УДК 39 (470.22)

К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ ПРИЛАДОЖСКИХ (ОЯТСКИХ) КУРГАНОВ*

С. И. Кочкуркина

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

При исследовании курганов на р. Ояти А. М. Линевским и В. И. Равдоникасом собрана коллекция восточных и западноевропейских монет (100), большая часть которых хранится в фондах Института ЯЛИ. Монеты с приклепанными ушками входили в состав ожерелий в качестве украшений, некоторые (с пробитыми отверстиями), возможно, нашивались на одежду. Часть монет обнаружена в кошельках или сумочках, сделанных из кожи, ткани, меха и т. д. Датировка 18 курганов (из 26), определенная по сопровождающему инвентарю, не противоречит найденным в них монетам. Не полностью согласуются датировки монет и инвентаря в четырех курганах, вообще не синхронны даты монет и погребений в стольких же курганах. Таким образом, решая вопрос о правомерности датировки погребений по монетам, следует учитывать, что наличие дирхемов нельзя безоговорочно использовать в качестве хронологического маркера, но в большинстве случаев они и западноевропейские монеты являются надежным временным определителем.

Ключевые слова: курганы, погребения, сопровождающий инвентарь, монеты, датировки.

S. I. Kochkurkina. ISSUES OF DATING BURIALS CONTAINING COINS IN LADOGA AREA (OYAT') MOUNDS

During their surveys of tumuli on the Oyat' River, A. Linevsky and V. Ravdonikas gathered a collection of Eastern and West European coins (100), most of which are now stored at the Institute of Language, Literature and History of Karelian Research Centre. Coins with eyelets riverted onto them we used in necklaces, some (with perforated holes) were, presumably, sawn onto clothes. Part of the coins were found in purses or bags of leather, fabric, fur, etc. The age of 18 (out of 26) mounds determined by the grave goods does not contradict the coins found there. The datings of coins and grave goods do not fully agree for four mounds, and differ totally for another four. Thus, when considering applicability of burial dating by coins one should remember the presence of dirhams cannot be unconditionally used as the chronological marker, but together with West European coins they are in most cases a reliable time determiner.

Key words: burial mounds, grave goods, coins, datings.

^{*} Статья выполнена при финансовой поддержке Отделения историко-филологических наук РАН в рамках программы «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей».

Вопрос о датировке погребений по находящимся в них монетам всегда интересовал исследователей: дискуссии, иногда весьма активные, то возникали с разной степенью интенсивности, то затихали. Довольно остро стоял вопрос о датировке кладов, о скорости появления западноевропейских монет на Руси и длительности их обращения [см. подробнее: Потин, 1993. С. 182 и далее]. Еще В. И. Равдоникас в качестве доказательства опасности датировки погребений по монетам приводил в пример погребение кургана из Алёховщины, в котором был саманидский дирхем и западноевропейская монета конца XI в. (об этом мы скажем ниже). В. М. Потин полагает, что как восточные, так и западные монеты «в период их активного поступления, по всей вероятности, могли достигать Руси всего за несколько лет» (с. 184). Что касается случая с курганом из Алёховщины, то, по мнению В. М. Потина, поскольку в XI в. поступление дирхемов на Русь прекратилось, то датировать памятники XI-XII вв. по восточным монетам надо «с большой осторожностью» [там же].

В погребениях монеты с приклепанными ушками использовались в составе ожерелий в качестве украшений. Монеты с отверстиями, полагают, могли нашиваться на одежду. У народов Поволжья, Кавказа, Сибири существовала традиция украшать национальный костюм монетами, имеющими хождение в течение нескольких столетий [Народы..., 1964. С. 617, 714, 717 и др.; Спасский, 1970. С. 7]. Использовались монеты и в качестве «обола мертвых» и таким образом дважды выступали в роли денег: в реальном и потустороннем мире [Потин, 1993. С. 200]. В погребениях зафиксированы случаи нахождения монет в кошельках.

Хорошим полигоном для анализа высказанных в научной литературе суждений являются погребения с монетами курганов р. Ояти – северного крыла приладожской курганной культуры. (Напомним, ареал приладожской курганной культуры на рубеже I–II тысячелетий включал юго-восточное Приладожье и район Прионежья с бассейнами рек Сяси, Тихвинки, Воронежки, Паши, Капши, Ояти, Свири, Олонки, Тулоксы, Видлицы и северное побережье Онежского озера.)

В фондах Института ЯЛИ хранятся материалы курганов, исследовавшихся А. М. Линевским, сопровождавшихся монетами (77 единиц + одна бронзовая монетовидная подвеска – подражание куфическому дирхему). Кроме того, четыре монеты в свое время были переданы им в Карельский государственный краеведческий му-

зей. Коллекцию монет из оятских погребальных памятников дополняют находки из курганов, раскопанных В. И. Равдоникасом (18 единиц) [Кочкуркина, Линевский, 1985]. Таким образом, в целом коллекция насчитывает 100 монет: английских – 6; немецких – 51; чешских – 3; византийских – 1; восточных – 21; неопределенных 18 (Приложение).

Документированные определения западноевропейских монет принадлежат А. А. Марковой и В. М. Потину, некоторые уточнения – Т. В. Равдиной [1988], восточных – А. А. Быкову, неопределенных по состоянию на 2007 г. восточных монет и единственной византийской – В. С. Кулешову.

На таких обширных материалах (27 курганов) вполне реально поставить вопрос о возможности или невозможности датировки погребений по монетам, особенностям их использования (в качестве платежного средства или украшения, в ритуальных или иных целях и т. д.).

В составе ожерелий (в области шеи) найдены как восточные монеты (семь случаев), так и западноевропейские, а также одна византийская (четыре случая). Кроме одной с отверстием, остальные монеты имели приклепанные ушки. В девяти случаях (не во всех погребениях можно установить положение монет относительно умершего) монеты находились в кошельке или сумочке из кожи, ткани, меха и других материалов, причем некоторые из них были с пробитыми отверстиями.

Датировка 18 курганов, определенная по сопровождающему инвентарю, не противоречит найденным в них монетам. Это скандинавского происхождения фибулы, сердоликовые, стеклянные и бронзовые бусы, некоторые типы гривен и браслетов, односторонние гребни с орнаментированными накладками, изделия, изготовленные по технологии трехслойного пакета, мечи, наконечники копий, весы, лепная посуда.

Не полностью соответствуют датам монет погребальный инвентарь четырех курганов.

Шангеничи-лес-4. *Восточные:* Ирак, Васит, омейядский халиф Хишам, 123 г. х. (740/741) (приклепанное бронзовое ушко); Аббасиды, ал-Мамун, 205 г. х. (820/821) (три пробитых отверстия и остаток бронзового ушка). *Немецкие:* Евер, Герман (1059–1086) (пять), обломки неопределенных монет (три).

В кургане располагались два трупоположения в грунтовой яме: мужское и женское, очаг на галечном основании и фрагмент гончарной керамики. Монеты с отверстиями находились, скорее всего, в ожерелье из золоченых

бочонкообразных бусин и одной пастовой уплощенной. Западноевропейские монеты и обломки неопределенных монет хранились в кожаном кошельке у пояса. Многочисленные бронзовые изделия датируются XI в. Присутствуют височные кольца с завитком на одном из концов.

Следовательно, ранние восточные монеты использовались в качестве украшений и на датировку погребений не влияют. Разница между последним годом чеканки западноевропейских и восточных монет составляет 265 лет.

Карлуха-12. «Варварское подражание» саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (914–943) (с ушком); две английские монеты (с ушками) Этельред II (978–1016); две немецкие монеты (с отверстиями), позднефрисландское подражание немецкому денарию, может быть, Генриха II (1002–1014).

Три трупоположения. Располагавшийся у центра на нуле скелет сопровождался спиралеконечной застежкой, секирообразным топором, бронзовым проволочным кольцом, складным орнаментированным гребнем, неорнаментированным горшком.

В могильной яме – два погребения. Погребение А: ожерелье из стеклянных бус, двух бубенчиков и трех монет (две - подражание немецкому денарию, одна английская), цепочки, бубенчик, в ногах – гончарный сосуд с линейным орнаментом. Погребение В - в области черепа полоска из бересты со следами ткани, бронзовая цепочка с двумя бубенчиками, проволочная застежка. На шее – ожерелье из бисера, стеклянных бус, сердоликовой и двух монет: дирхема и денария. Кроме того, на груди погребенной найдена спиралеконечная застежка, на левой руке - браслет. С левой стороны таза обнаружена группа вещей (две полые уточки, коническая подвеска, связанная льняной тесьмой, костяная гребенка и окислившаяся масса), завернутых вначале в толстую шерстяную ткань, а затем в два слоя бересты. В ногах располагался горшок с линейно-волнистым орнаментом [Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 23-24].

Все погребения датируются XI в., что не противоречит датировкам западноевропейских монет, но противоречит дате дирхема. Разница между последним годом чеканки западноевропейских и восточных монет составляет 43 года.

Алёховщина-1. Восточная монета: Саманиды, аш-Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 297 г. х. (909/910) (с бронзовым ушком); три немецкие: Саксония, Гальберштад, еп. Буркхард (1036–1059); Доккюм, Экберт II (1068–1090);

Вестфалия, XI, на обороте кёльнская монограмма (по всей вероятности, все с ушками).

Зафиксированы трупосожжение и трупоположение. Кучка кальцинированных костей обнаружена в ямке. Среди них оплавленные куски синих стеклянных бус и бронзовый спиральный перстень. Трупоположение: два височных кольца, ожерелье из стеклянных бусин и четырех монет. На правой руке – бронзовое кольцо, с правой стороны таза – кучка бронзовых предметов: игольник, копоушка, подвески в виде зайчика и петушка, крестовидная и бутылкообразная подвески, односторонний с орнаментированными накладками гребень. Эти предметы были покрыты тканью и лежали, вероятно, в мешочке или кармане.

Погребение датируется XI в., что не противоречит датировкам западноевропейских монет, но противоречит дирхему. Разница между последним годом чеканки западноевропейских и восточных монет составляет 180 лет.

Шангеничи-лес-14. *Немецкая:* Кельн, Оттон I (936–962) (по В. Потину); *византийская:* Василий II и Константин VIII (976–1025 с обломком ушка; по Ф. Грирсону, класс II а (977–989).

Два трупоположения в могильной яме, одно в насыпи. Женское трупоположение содержало два кольца, византийскую монету (в области шеи), мелкий бисер, спиралеконечную застежку, спираль с конической пронизкой, пластинчатую подвеску-уточку, копоушку. В мужском трупоположении – половина денария (в области живота), железное поясное кольцо, овальное кресало, наконечник стрелы, два топора, три ножа и остатки кожаных ножен. В насыпи встречены фрагменты гончарной керамики [Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 52–54].

Микроскопическое исследование ножа показало, что оно отковано из полосовой стали с разным содержанием и распределением углерода. Сварочные швы четкие. В конце кузнечных работ была проведена закалка.

Погребения не имеют выразительных вещей X – начала XI в., поэтому датировать погребение по монетам нет оснований.

В четырех курганах датировки погребений не синхронны датам чеканки монет.

Кяргино-Гарняки-2. Восточная монета: Аббасиды, ал-Муктадир, Харран 315 г. х. (927/928) (с пробитым отверстием). Могила повреждена. На дне ее сохранились следы берестяной подстилки и остатки черепа. Монета выявлена в области шеи. В свертке из ряда слоев шерстяной ткани, который был покрыт шкурой и затем обернут берестой, находились игольник с арочным щитком, две шумящие

конусовидные подвески. Кожаный мешочек оказался пустым. В ногах умершей находился гончарный сосуд.

Время чеканки монеты не совпадает с датировкой погребения по вещам XI–XII вв.

Кургино 2 (51). *Восточная* монета: Сев. Месопотамия. Укайлиды, ал-Маусил, Мутамид ад-даула, Кирваш 403 г. х. (1012/1013) (с ушком).

Насыпь разрушена траншеей и окопом. Трупоположение находилось в могильной яме: два проволочных височных кольца, шелковый воротник с вышитыми золотыми нитями грифонами и «древом жизни». Собраны голубые стеклянные бусины, застежка с гранчатыми головками, подвеска-баранчик с шестью колоколообразными привесками, игольник с ажурным щитком, монета. Сохранились остатки текстиля и меха.

Время чеканки монеты не совпадает с датировкой погребения по вещам XI–XII вв.

Шангеничи-село-3. Восточная монета: подражание саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (годы правления 914–943). Место чеканки Самарк[анд]; английская: Этельред II (997–1003), тип «длинный крест» (с припаянным ушком); немецкие: Утрехт, арх. Вильгельм (1054–1076); Леуварден, Экберт II (1068–1090) с отверстием; Доккюм, граф Экберт I (1057–1068); две монеты Докком, Бруно III (1038–1057); Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020–1051) (обломок); пять монет Евер, граф Герман (1059–1086) или Ордульф (1059–1071); два обломка монет.

Трупоположение зафиксировано в могильной яме. На куске древесной коры, покрытом тканью, обнаружено четыре височных кольца, половина полой пластинчатой гривны, гривна так называемого глазовского типа, ожерелье из стеклянных бус, серебряной монетовидной привески с приклепанным ушком, двух монет с ушками (восточная и английская).

В свертке из бересты находились обрывки рыжей холстины и темного тонкого сукна. Внутренность свертка выложена мехом. В свертке были бронзовые вещи: равноконечный крестик с расширенными концами, пластинчатая коньковая подвеска, полая шумящая подвеска с подвешенными лапками, копоушка с орнаментом «волчий зуб», бубенчик, пронизка, пять конических подвесок, бляшка, цепочка из 13 звеньев (на одном конце кожаный узелок).

Несколько поодаль, видимо, в кошельке обнаружены 12 немецких монет и обломки двух неопределенных. В кошельке, кроме того, бы-

ли якорьковидная подвеска с двумя подвешенными утиными лапками, два пластинчатых завязанных браслета с орнаментом «волчий зуб», два перстня с завязанными концами, орнаментированные так же, как и браслеты, два дротовых щитковых перстня, бронзовая застежка со свернутыми в трубочку концами, спиралеконечная маленькая застежка, два поясных кольца. Сохранились остатки тканей.

Все перечисленные вещи были перекрыты слоем песка мощностью 0,1 м, на котором обнаружена новая группа находок: сверток из трех кусков ткани и куска войлока, сумка белого цвета, холстина, поясок, войлок и т. д. Внутри находился горизонтальный трубчатый игольник с пятью подвешенными колокольчиками, цепь из пяти костыльков, полая уточка с подвешенными лапками, подвеска-ключ, конек смоленского типа, подвеска-«собачка», колокольчик с ушком.

На уровне материка найдена монета того же типа, что и в кошельке (по словам А. М. Линевского), две бронзовые проволочки, кольцо со скобой, гончарные сосуды, бронзовый котел с плоским дном [Кочкуркина, Линевский, 1985. С. 65–68].

Итак, комплексы вещей датируются XI – началом XII в., что противоречит дирхему. Разница между последним годом чеканки западноевропейских и восточной монеты составляет 147 лет.

Новинка-9. *Немецкая* монета: Оттон-Адельгейда (990–995).

Выявлено трупоположение в могильной яме: проволочное височное кольцо, стеклянные бусы, две птицевидные подвески, бубенчик, монета.

Погребение, не имеющее выразительных вещей X – начала XI в., датировано XI–XII вв., т. е. оно моложе монеты, по меньшей мере, на 100 лет.

Отсутствие датированных вещей в погребении Акулова Гора-9 не позволяет сравнить дату монеты и комплекса.

Следовательно, правы были те исследователи, которые полагали, что наличие дирхемов нельзя безоговорочно использовать в качестве датировки погребений, но в большинстве случаев монеты, в том числе и западноевропейские, являются надежным временным определителем. Однако подчеркнем, что археологический метод датирования по ведущим категориям предметов необходимо использовать в первую очередь. Что касается «обола мертвых», то в рассматриваемой группе курганов явных доказательств этому явлению не прослежено.

Литература

Кочкуркина С. И., Линевский А. М. Курганы летописной веси. Петрозаводск: Карелия, 1985. 223 с.

Народы европейской части СССР. Т. II. М.: Наука, 1964. 918 с.

Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб.: Искусство-СПб., 1993. 304 с.

Равдина Т. В. Погребения X–XI вв. с монетами на территории Древней Руси. Каталог. М.: Наука, 1988. 152 с.

Равдоникас В. И. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и в Юго-Восточном Приладожье // Известия Государственной Академии истории материальной культуры. № 94. М.; Л., 1934. 55 с.

Спасский И. Г. Русская монетная система. Л.: Аврора, 1970. 256 с.

Хомутова Л. С. Металлографическое исследование структуры железных вещей из курганов Юго-Восточного Приладожья // Кочкуркина С. И., Линевский А. М. Курганы летописной веси. Петрозаводск: Карелия, 1985. С. 207–217.

Приложение

Монеты из курганов р. Ояти

Nº	Курганы	Английские монеты	Кол-во
1	Шангеничи-село-3	Этельред II (997–1003), тип «длинный крест» с припаянным ушком	1
2	Шангеничи-село-8	Кнут Великий (1017–1023), тип «четырёхлистник» с пробитым отверстием	1
3	Акулова Гора-12	Денарий XI в.	1
4	Новинка-1	Лондон, Эдуард Исповедник (1042–1066) (КГКМ 1323/15)	1
5-6	Карлуха-12	Этельред II (978-1016) [Равдоникас, 1934]	2
Итого	. ,		6
		Немецкие монеты	
7	Новинка-9	Оттон-Адельгейда (990–995) (КГКМ 1323/14)	1
8–9	Карлуха-12	Позднефрисландское подражание немецкому денарию, м. б. Генриха II (1002–1014) [Равдоникас, 1934]	2
10	Шангеничи-село-3	Утрехт, арх. Вильгельм (1054–1076)	1
11		Леуварден, Экберт II (1068–1090)	1
12		Ставерен, Экберт II (1068–1090) с отверстием	1
13		Доккюм, граф Экберт I (1057–1068)	1
14-15		Доккюм, Бруно III (1038–1057)	2
16		Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020–1051)	1
17-21		Евер, граф Герман (1059–1086) или Ордульф (1059–1071)	5
22-26	Шангеничи-лес-4	Евер, Герман (1059–1086)	5
27	Шангеничи-лес-14	Кельн, Оттон I (936–962, по Потину)	1
28	Шангеничи-лес-19	Утрехт, арх. Вильгельм (1054–1076)	1
29-31		Евер, герцог Ордульф (1059–1071)	3
32-33	Акулова Гора-12	Доккюм, граф Бруно III (1038–1057)	2
34		Леуварден, Экберт II (1068–1090)	1
35	Мергино-14	Евер, герцог Ордульф (1059–1071)	1
36-37		граф Герман (1059–1086) или Ордульф (1059–1071)	2
38	Гайгово-2	Эмден, Герман фон Кальвелаге (1020–1051)	1
39-40		Доккюм, Гаррелсвер (или Гронинген), Экберт II (1068–1090)	2
41-43	Гайгово-3	Евер, герцог Ордульф (1059–1071)	3
44		Гронинген, Генрих IV (1056–1105), Вильгельм де Понте	1
45		Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020–1051)	1
46		Доккюм, Экберт II (1068–1090)	1
47		Гронинген, Экберт I (1057–1068)	1
48		Гаррелсвер, граф Герман (1059–1086)	1
49	Пелдуши	Ордульф или Герман (1059–1086)	1
50-51		Евер, герцог Ордульф (1059–1071)	2
52	Карлуха-2	Немецкий денарий (Равдоникас, 1934)	1
53	Новинка-4	Немецкий денарий (обломок) (КГКМ 1323/16)	1
54	Алеховщина-1	Саксония, Гальберштад, еп. Буркхард (1036-1059) [Равдоникас, 1934]	1
55		Доккюм, Экберт II (1068–1090) [Равдоникас, 1934]	1
56		Вестфалия, XI в., на обороте кёльнская монограмма	1
57	Кургино-5	Денарий чеканен в Кёльне (?) (на одной стороне изображен храм) [Равдоникас, 1934]	1
Итого		Неопределенные	51
58-59	Шангеничи-село-3	Обломки монет	2
	Шангеничи-лес-4	Обломки монет	3
	Шангеничи-лес-19	Обломки монет	3
66	Шангеничи-лес-28	Обломки монеты	1
67	Акулова Гора-11	Обломок	1
	Акулова Гора-12	Обломки	2
70-71	Гайгово-3	Целая и обломки монеты	2
72	Гайгово-10	Монета	1
73	Гарняки-2	Обломок	1
74–75	Карлуха-2	Обломки двух монет	2
Итого	1 2 2 2		18

Nº	Курганы	Византийская монета	Кол-во	
76	Шангеничи-лес-14	Василий II и Константин VIII (976-1025 с обломком ушка; по Ф. Грирсону,	1	
		класс II a (977–989)		
	Чешские монеты			
77	Гайгово-1	Болеслав I (935–967)	1	
78		Междуцарствие (1003)	1	
79		Чешская (точнее неопределима)	1	
Итого			3	
		Восточные монеты		
80	Шангеничи-село-3	Подражание саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (годы правления 914–943). Место чеканки Самарк[анд]	1	
81	Шангеничи-лес-4	Ирак, Васит, омейядский халиф Хишам, 123 г. х. (740/741)	1	
82	E am on 11 11 1100 1	Аббасиды, ал-Мамун, 205 г. х. (820/821)	1	
83	Нюбиничи-1	Саманиды, Наср ибн Ахмад, 304 г. х. (916/917). Место чеканки [аш-Ша]ш	1	
84	Нюбиничи-2	Саманиды, Самарканд, Нух ибн Мансур, 369 г. х. (979/980)	1	
85	Нюбиничи-10	Драхма Хосров II (годы правления 590–628)		
86		Саманиды, Нух ибн Мансур, 375 г. х. (961–976)		
87		Мансур ибн Нух, 387–389 г. х. (997/998–999/1000)	1	
88-89		Подражание саманидскому дирхему		
90		Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 306 г. х. (не упомянута ни в отчете, ни	2 1	
		в книге)		
91	Кяргино-Гарняки-2	Аббасиды, ал-Муктадир, Харран 315 г. х. (927/928)	1	
92	Мергино 12 (110)	Монетовидная бронзовая подвеска. По размеру – подражание куфическому дирхему		
93	Кургино 2 (51)	Сев. Месопотамия. Укайлиды, ал-Маусил, Мутамид ад-даула, Кирваш 403 г. х. (1012/1013)	1	
94	Акулова Гора-9	Самарканд, Мансур ибн Нух, 357 г. х. (967/968) (КГКМ 1323/17)	1	
95	Никольское-2	Саманиды, Наср ибн Ахмад (годы правления 914–943) [Равдоникас, 1934]	1	
96	Карлуха-7	Саманиды: Андераба, Абд ал-Малик ибн Нух, 347 г. х. (958/959)	1	
97	-1-7	Балх, Наср ибн Ахмад, 323 г. х. (934/935)	1	
98		Хамданиды, Насибин, Насир ад-даула ал-Хасан и Сайф ад-даула Али (945–967, по Равдиной)	1	
99	Карлуха-12	«Варварское подражание» саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (914–943)	1	
100	Алёховщина-1	Саманиды, аш-Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 297 г. х. (909/910)	1	
Итого			20	

Итого -100: английских -6; немецких -51; чешских -3; византийских -1; восточных -21; неопределенных -18.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Кочкуркина Светлана Ивановна

зав. Сектором археологии, д. и. н. Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: babkin@karelia.ru тел.: (8142) 781886

Kochkurkina, Svetlana

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: babkin@karelia.ru

tel.: (8142) 781886

УДК 72.03 (470.22)

ВОСТОЧНО-ОБОНЕЖСКИЙ КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ КАРЕЛИИ

И. Е. Гришина

НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества Петрозаводского государственного университета

Рассматривается распространение в границах Карелии трех элементов традиционного крестьянского жилища – столбовой конструкции двора-сарая в составе дома-комплекса, кронштейнов-модульонов и конструкции самцовой крыши с бесперерубным фронтоном. Ставится вопрос о путях проникновения указанных форм на территорию Карелии, о принадлежности их к единому восточно-обонежскому комплексу архитектурно-строительных традиций, о возможных истоках последнего. Выявляются зоны и результаты взаимодействия восточно-обонежского и западного, карельского, этноархитектурных комплексов.

Ключевые слова: деревянное зодчество, этноархитектурные традиции, жилище, дворы-сараи, крыши, декоративные детали, картографирование.

I. E. Grishina. EAST OBONEZHSKY COMPLEX OF ARCHITECTURAL TRADITIONS IN KARELIAN WOODEN ARCHITECTURE

The paper deals with the distribution of three elements of a common peasant dwelling in Karelia: 1) the pole-supported structure of a shed-yard as part of a dwelling-and-homestead complex; 2) modillion brackets; and 3) the structure of a gable roof with gables having no transverse supporting walls made of short logs. The ways of penetration of the above forms to Karelia, recognition of them as part of a common East Obonezhsky complex of architectural and building traditions, and a possible source of the complex are discussed. The zones of the East Obonezhsky and the western, Karelian, ethno-architectural complexes are delineated and the results of their interaction are assessed.

Key words: wooden architecture, ethno-architectural traditions, peasant dwelling, shed-yard, gable roof, decorative details, mapping.

Важнейшим фактором, определяющим специфику народного деревянного зодчества Карелии, является ее этнокультурная неоднородность, сформированная в ходе расселения по территории края и последующего контактирования вепсского, карельского и разных групп славянского населения.

В целом этноархитектурная картина Карелии, базирующаяся на доступном для исследо-

вания массовом материале по традиционным постройкам конца XIX – первой трети XX в., совпадает с укрупненным делением республики по языковым данным на карельский запад и русский восток. Целый ряд типологических признаков отличает западную и восточную архитектурно-строительные традиции. Среди них наиболее показательны различия в элементах декоративного убранства жилища, конструктивных

решениях крыш и дворов-сараев в составе дома-комплекса.

Предпринятое нами картографирование указанных признаков с целью детализации их ареалов базируется на результатах натурных обследований деревянного зодчества Карелии и сопредельных районов Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей в 1979-2009 гг. (с 1987 г. – с участием автора). Картографируемый материал распределен по исследуемой территории неравномерно. Менее всего он представлен в северной части Карелии, что связано с ускоренным развитием жилища в Поморье, где традиционные решения достаточно рано вышли из употребления, и с практически полной утратой зодчества северных карелов, известного лишь по немногим иконографическим источникам. По этой причине выводы по северной Карелии по отношению к южной части края являются в значительной степени гипотетическими.

Для картографического анализа материала использован метод построения круговых диаграмм, характеризующих процентное соотношение исследуемых признаков в границах волости (по волостному делению начала XX в.) достаточно мелкой территориальной единицы, как правило, соответствующей исторически сложившимся локальным общностям, а значит, и локальным культурным традициям. Учет количественных характеристик территориального распределения признаков отвечает ключевому положению этноархитектуроведения о том, что эволюционные преобразования, так же как и изменения при переходе от одной историко-архитектурной зоны к другой, проявляются в народном деревянном зодчестве не в сплошной замене одних форм другими, а в постепенном изменении соотношения различных сосуществующих форм [Орфинский, 1975].

* * *

В комплексе декоративного убранства крестьянского жилища Карелии кронштейны – резные консольные выпуски бревен, поддерживающие вынос крыши над главным фасадом, – принадлежат к относительно ранним деталям, сопоставимым по возрасту с другими традиционными элементами «верхов» дома – коньками-охлупнями, курицами, потоками. Известно, что многие детали архитектурного декора в народном деревянном зодчестве изготовлялись серийно на продажу в широкой округе (например, причелины или наличники). Но подкрышные кронштейны относятся к архитектурно-декоративным деталям, которые выполнялись во время рубки стен строителями дома,

поэтому в большинстве случаев кронштейны могут служить исключительно точным маркером местной традиции.

До настоящего времени степень сохранности резных кронштейнов в южной Карелии по сравнению с другими декоративными деталями остается самой высокой, что позволило составить базу для их картографирования, включающую 1738 деталей. Для картографирования были выбраны две характерные группы кронштейнов, которые объединяют абсолютно преобладающие в Карелии типы этих деталей. Одна из групп включила кронштейны с рельефной геометрически правильной резьбой с закономерным ритмом в расположении составляющих ее элементов различной формы (с так называемой мелкой порезкой), вторая - три типа деталей с объемной резьбой, представляющей какой-либо один крупный декоративный мотив, доминирующий в общей композиции (рис. 1).

Результаты картографирования показали, что кронштейны обеих групп соседствуют в сопоставимых пропорциях на всей исследуемой территории. Аномальным в этом плане выглядит только крайний юго-восток Карелии (Пудожский район), где невелика доля мелкой порезки кронштейнов, а среди их объемной резьбы господствует кронштейн-модульон - деталь с ведущим декоративным мотивом валика, расположенного на конце консоли, в общих чертах напоминающая известный элемент классицистической архитектуры. Судя по карте, деталь распространяется из Пудожья в северо-западном направлении, составляя меньшую, но заметную долю среди других типов кронштейнов в Заонежье, северо-восточном и западном Прионежье, Сегозерье, чуть меньше - на обрусевших территориях северного Прионежья, у пряжинских карелов и в Выгозерье.

В целом ареалы кронштейнов-модульонов совпадают с ареалами особого конструктивного устройства дворов-сараев в составе домовкомплексов (рис. 2). В Карелии способ опирания верхнего уровня двора-сарая на нижний отличает дома-комплексы ливвиков, людиков и собственно карелов («сарай на срубе») от домов русского населения и северных людиков («сарай на столбах» полностью по периметру или в пределах озадка и даже только задней стены). Такой, казалось бы, второстепенный признак обладает устойчивой приуроченностью к определенным этническим ареалам, в силу того что он связан с разными принципами формирования домов-комплексов, относящимися к периоду их появления в XVII-XVIII вв., и отражает особенности этого процесса в русской и карельской среде [Орфинский, Гришина, 2001].

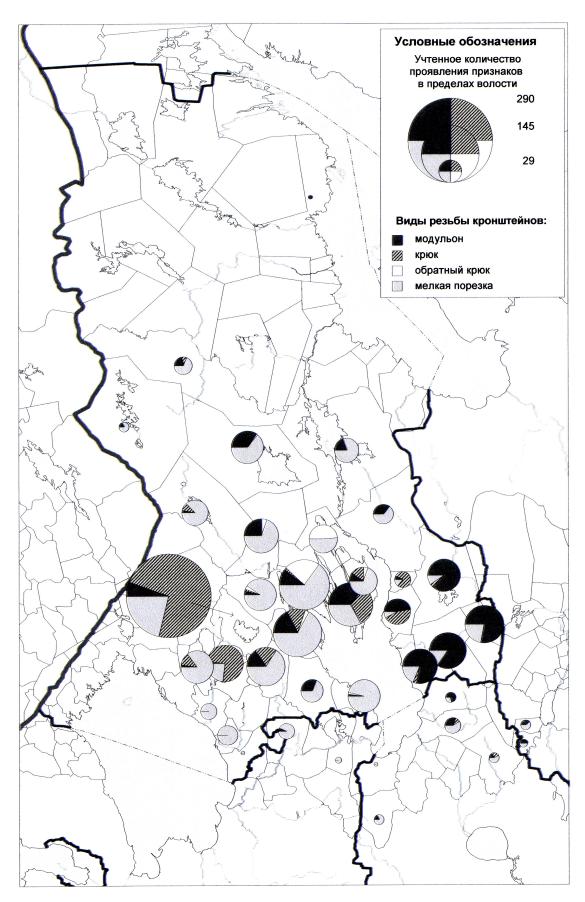


Рис. 1. Виды резьбы кронштейнов на территории Карелии: соотношение мотивов объемной резьбы и мелкой рельефной порезки

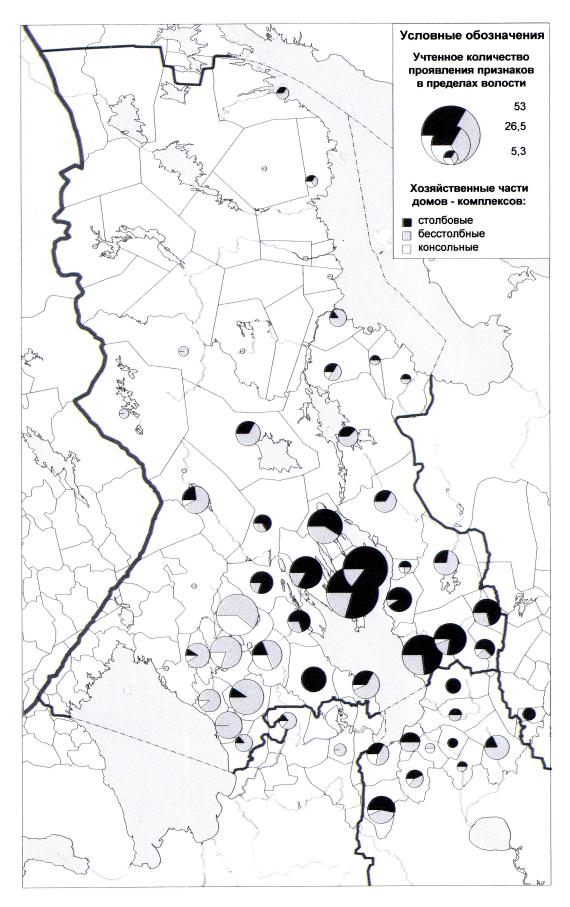


Рис. 2. Варианты конструктивных решений хозяйственных частей домов-комплексов на территории Карелии

Детальное картографирование конструктивных решений дворов-сараев (база исследования – 649 построек) показывает, что столбовые решения двора-сарая действительно доминируют в Пудожье, Заонежье, у северных людиков, в бывшей Ладвинской волости. Но существенная доля столбовых озадков фиксируется и на собственно карельских территориях – в верховьях реки Суны и в Сегозерье. Что касается района Суны, то продвижение «языковой людизации» вверх по ее течению отмечал в свое время Д. В. Бубрих, сравнивая диалектные записи начала и середины XX в. [Бубрих, 1947]. По-видимому, вместе с языковой, а, похоже, и опережая ее, продвигалась вверх по течению и архитектурно-строительная «людизация» собственно карелов. Сегозерье же, как свидетельствуют комплексные историкокультурные исследования, испытывало значительное влияние Заонежья [Деревня Юккогуба, 2001], на что также указывает и рассматриваемый нами признак.

Севернее Пудожья, в восточной части Карелии, включая Водлозерье, Онежско-Беломорский водораздел и Поморье, сохраняется примерно такое же, как и в Сегозерье, соотношение между двумя различными конструкциями двора-сарая: столбовые решения уступают бесстолбным, но составляют от четверти до трети в суммарном количестве зафиксированных примеров. Лишь на юге Поморья столбовая конструкция уравнивается по процентному соотношению с бесстолбной.

По признаку конструктивного решения дворов-сараев русско-поморская строительная культура может расцениваться как интегрированная русско-карельская. Как показало натурное обследование Поморья в 2004-2006 гг., сосуществование разных конструктивных вариантов двора-сарая наблюдается только в русских деревнях, а в карельских Нильмогубе, Нильмозере, Сонострове и Боярской все сохранившиеся хозяйственные части домов-комплексов представлены обычным и для других карельских территорий конструктивным вариантом «сарая на срубе» с пристроенными хлевами [Орфинский и др., 2007]. Если ориентироваться на этнодифференцирующий характер рассматриваемых признаков, то можно говорить о достаточной интенсивности русско-карельских контактов в период значительно более ранний, чем рубеж XIX-XX вв., когда осуществлялось последнее относительно массовое переселение карелов в отдельные деревни северного Поморья.

Столь же неоднородным и даже более пестрым по признаку конструктивного решения

дворов-сараев выглядит южное Обонежье. Таким образом, пудожская зона преобладания «сараев на столбах» представляется своеобразным коридором продвижения этого приема на территорию Карелии, направленного из Пудожа на северо-запад - в Заонежье и далее растворяющегося в карельских землях. Ситуация за юго-восточными границами современной Карелии подтверждает это предположение. Здесь в ряде бывших волостей Каргопольского и Вытегорского уездов распространение столбового решения двора-сарая достигает 100 процентов, а общая картина нарушается только за счет водораздельных поселений, расположенных на небольших притоках в верховьях реки Кемы (исаевские вепсы, Окштамский куст деревень).

По характеру картографирования пути проникновения «сараев на столбах» можно связать с направлением верхневолжской колонизации, которое на подступах к Пудожью разделялось, огибая Андомскую возвышенность с северовостока по системе древних водно-волоковых путей и с запада вдоль берега Онежского озера. По-видимому, по Онежскому озеру и Свири новое архитектурное решение продвинулось и в западное Прионежье, где более всего проявилось в бывшей Ладвинской волости.

В тех же направлениях распространялись в Карелии и описанные выше кронштейны-модульоны: их наибольшая концентрация отмечается в зонах, где преобладают или составляют заметную долю «сараи на столбах». Это позволяет отнести оба явления к единому комплексу архитектурно-строительных традиций. Их движение по территории края свидетельствует о выраженном интересе карельских крестьян к заимствованию русских решений. Заметим только, что ареал кронштейнов-модульонов, проникающих на карельские земли, в северном направлении выходит за границы ареала «сараев на столбах». В единичных примерах модульоны в обработке кронштейнов появляются даже в Аконлахти, Минозере, Хайколе. В данном случае это объяснимо: домовой декор - явление более молодое, а значит, и более изменчивое, чем решения частей построек, не считающихся престижными, но обладающих длительной укорененностью в традиции, тем более - связанных с этнической культурой по своему происхождению.

Третьим признаком, который отнесен нами к наиболее показательным для характеристики этноархитектурных традиций востока и запада Карелии, является конструктивное решение самцовой крыши (база картографирования – 728 построек). Конструкция такой крыши

хорошо читается на фасадах здания – на его бревенчатых фронтонах, которые представлены двумя большими группами – фронтонами без перерубов (с креплением бревен за счет нагелей и часто врубленных слег) и с перерубами (поперечными бревенчатыми стенками). Принимая во внимание, что конструкции жилой и хозяйственной части домов-комплексов эволюционируют несинхронно, для получения стадиально однородного среза по территории в состав базы для картографирования были включены только фронтоны лицевого фасада жилища.

Результаты картографирования не только подтвердили натурные наблюдения о распространении фронтонов без перерубов в восточной и с перерубами – в западной части Карелии, но и выявили варианты последнего решения, имеющие определенную локализацию (рис. 3). Судя по карте, бесперерубные фронтоны действительно характерны для восточной, русской, части края. Их ареалы и процентное представительство хорошо корреспондируются с аналогичными показателями рассмотренных выше «сараев на столбах» и кронштейнов-модульонов в восточном Обонежье, Заонежье, Поморье.

Несколько неожиданным в этом отношении оказался стопроцентный показатель бесперерубных фронтонов у прионежских вепсов, поскольку кронштейны-модульоны у них встречаются как исключение, а «сараи на столбах» представлены только третьей частью от всех зафиксированных построек. Также обращает на себя внимание и большая однородность по этому признаку всего южного Обонежья. Последнее может свидетельствовать о том, что данная конструктивная система крыш на этой территории была более древней, чем столбовые дворы-сараи и кронштейны-модульоны, а скорее всего – когда-то общей для южного Обонежья и земель, лежащих к югу от него. Отсюда понятнее становится безальтернативное применение бесперерубных фронтонов в жилище вепсов Прионежья, по-видимому связанное с отмеченными по этнографическим данным длительно поддерживавшимися контактами северных со средними и южными вепсами [Винокурова, 2001].

Вторая территория, где в определенном противоречии находятся показатели рассматриваемых индикаторов восточно-обонежской архитектурной традиции, – это ареал собственно карелов (исключая Сегозерье). С одной стороны, в достаточно высокой степени распространения здесь бесперерубных фронтонов усматриваются культурные связи русско-

поморского и материкового карельского населения. С другой стороны, что особенно показательно в волостях, расположенных вдоль современной границы с Финляндией, проявляются черты общности с архитектурой традиционного финского жилища, для крыш которого были обычны фронтоны без перерубов [Колехмайнен, 1998]. В этой ситуации указать на различия и сферы влияния однотипных финских и поморских крыш в собственно карельском ареале возможно только при их детальном дальнейшем изучении совместно с другими конструктивными особенностями традиционных построек.

Фронтоны с двумя перерубами, скорее всего, производны от бесперерубных. Они характерны для территорий распространения последних и появляются в южном Обонежье, Заонежье и Пудожье в связи с устройством на чердаке жилого помещения (светёлки), хотя в карельских ареалах два переруба на фронтоне нередко только имитируют присутствие чердачной комнаты.

В совокупности крыши с бесперерубными и двухперерубными фронтонами преобладают в Карелии. Однако им противостоит альтернативное решение, происходящее, судя по карте, из ареала ливвиков, где безусловно доминирует. Его самый распространенный вариант представляет самцовую крышу, имеющую кроме слег, связывающих фронтоны, еще и бревенчатые подслеговые связи в комплексе с тремя фронтонными перерубами – коньковым и двумя фланкирующими. У тех же ливвиков помимо трехперерубного представлен редкий вариант пятиперерубного фронтона, а у них же и на западе собственно карельского ареала фронтон только с одним, коньковым, перерубом.

Есть все основания связать такие решения со строительной деятельностью карельского населения и условно назвать их старокарельскими [Гришина, Лялля, 2007]. Косвенно это подтверждается совпадением ареала пятиперерубных фронтонов, которые можно рассматривать как своеобразную гипертрофию основного варианта, с территорией, служившей древнейшими «воротами» карельского заселения Ладожско-Онежского межозерья. По сведениям А. Ю. Жукова, именно в Тулмозерском, Видлицком и Коткозерском погостах (заметим, что только в зоне влияния этих поселений встречаются пятиперерубные фронтоны) в первую очередь оседали переселенцы из северо-западного Приладожья, что было весьма заметно уже к началу XV в. [Жуков, 2008].

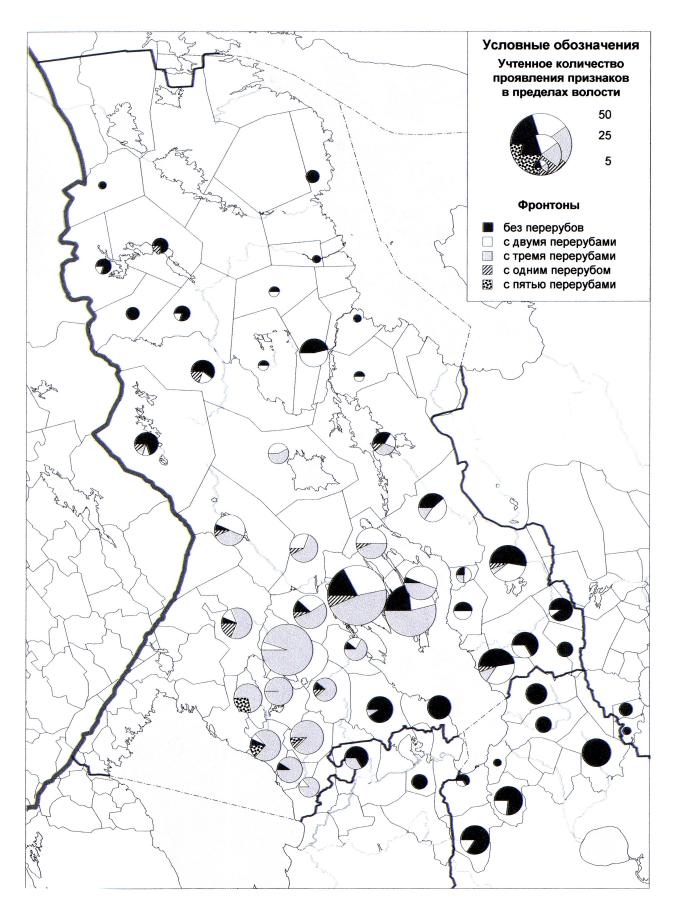


Рис. 3. Варианты конструктивных решений фронтонов жилой части дома на территории Карелии

Крыши с тремя конструктивными перерубами существенно потеснили восточно-обонежский тип покрытия в жилище Карелии. Известным карельским присутствием в Заонежье, а также поздними карельскими влияниями на заонежское зодчество со стороны ливвиков [Гришина, 1998] можно объяснить заметную долю трехперерубных фронтонов в Заонежье. Примечательно, что, судя по иконографическим источникам, в наиболее старых заонежских домах фронтоны не имели перерубов, что позволяет говорить о трехперерубных фронтонах как об относительно позднем явлении в Заонежье.

Трехперерубные фронтоны значительную долю составляют также у северных людиков, в Сегозерье и у собственно карелов в верховьях Суны. Решение с тремя перерубами проникает и в восточную часть Карелии: в Пудожье в этом, по-видимому, обнаруживаются связи с Заонежьем, на Онежско-Беломорском водоразделе – сказывается соседство с Сегозерьем и тем же Заонежьем.

Время и степень синхронности продвижения в Карелию трех рассмотренных комплексов этноархитектурных признаков должны служить предметом дополнительных самостоятельных исследований. Можно с уверенностью сказать только, что в более раннее время соотношения между «западными» и «восточными» архитектурно-строительными традициями на каждой локальной территории и их общие ареалы были другими. Примером сложности данной проблемы могут служить наши детальные исследования на Кенозере. Здесь, несмотря на соседство с Пудожьем, «сараи на срубе» и «сараи на столбах» в составе домов-комплексов находятся в соотношении 62 и 38 %, подобно Водлозерью, Выгозерью и Сегозерью. Но при этом зафиксировано, что на историческом отрезке, к которому принадлежат обследованные кенозерские дома, более ранним решением является столбовая конструкция двора-сарая. (Это подтверждается также описанием и чертежами дома Баженова 1820-х гг. в деревне Вершинино, сделанными в 1927 г. М. А. Ильиным [1928].) Старинное решение со столбами в обозримой ретроспекции заменяется «сараями на срубе». Такая замена свидетельствует о недостаточной укоренённости столбовой конструкции в местной строительной культуре и о возможности того, что столбовая конструкция в определенный период времени вытеснила в Кенозерье ранее бытовавшие «сараи на срубе», которые затем вновь расширили свое присутствие в субрегионе (подобные элементы цикличности известны в развитии деревянного зодчества Русского Севера [Орфинский, Гришина, 1999]). Вместе с тем среди всех датированных подписями кенозерских кронштейнов модульоны, сопутствующие, как показано на примере Карелии, «сараям на столбах», представляются на Кенозере достаточно поздними деталями, датировки на них относятся к 1920–1930-м гг., тогда как другие типы кронштейнов имеют более широкий интервал датировок, начинающийся с 1860-х гг.

Взаимодействие восточно-обонежского этноархитектурного комплекса традиций с западным, карельским, порождает на территории Карелии не только постепенные качественные, подобные описанным кенозерским, изменения ареалов, но и появление новых интегральных, или компромиссных, форм. Как правило, такие формы равномерно распределяются в зоне этноархитектурного контактирования. Примером может служить появление кронштейна с мотивом «валик в выкружке». Такой мотив главным образом появляется там, где сосуществуют кронштейн-модульон, акцентированный крупным валиком, и известный с конца XVII в., общий для южной Карелии и сопредельных юго-восточных земель мотив мелкой порезки кронштейнов с чередованием мелких валиков и треугольных зубцов (рис. 4). Еще один пример – консольный озадок дворасарая (консольное вывешивание задней стены сарая над стеной двора). Судя по карте (см. рис. 1), такие решения в небольшом количестве появляются везде, где соседствуют «сараи на столбах» и «сараи на срубе».

Особый интерес вызывают островные ареалы доминирования интегральных архитектурных форм. Применительно к кронштейнам с мотивом «валик в выкружке» таким ареалом является территория расселения прионежских вепсов (см. рис. 4). Уникальным в отношении продуктивности архитектурных новаций выглядит Сямозерье. Здесь консольные озадки двора-сарая полностью вытеснили стимулировавшую их появление столбовую конструкцию двора-сарая и почти уравнялись по процентному соотношению с бесстолбными «сараями на срубе» (см. рис. 1). Сходным образом проявили себя в Сямозерье и кронштейны-модульоны, которые стали импульсом для формирования здесь кронштейнов с обработкой в виде крюка. Известный в собственно карельском ареале в единичных примерах мотив крюка получил в Сямозерье необычайное пластическое совершенство и стал ведущим в декоративной обработке кронштейнов (см. рис. 2).

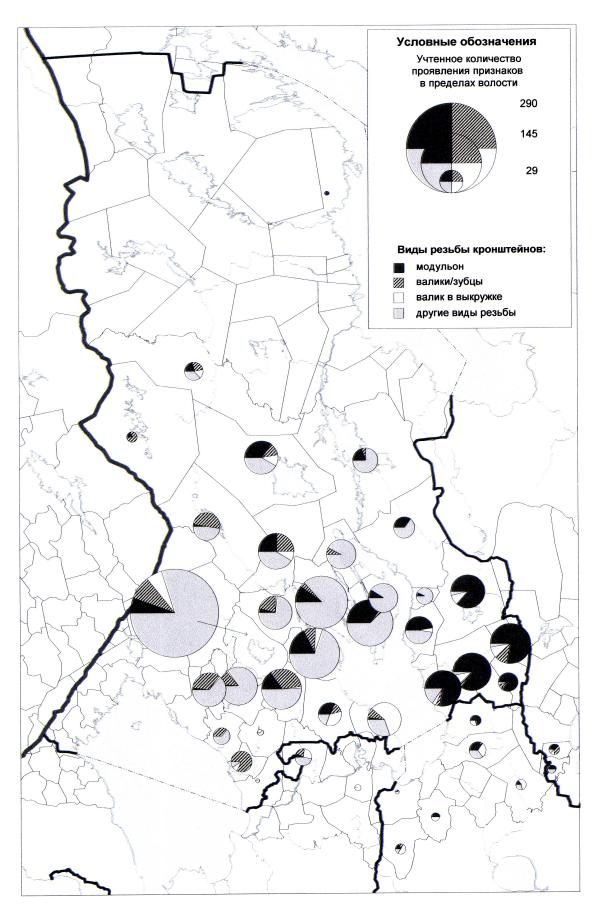


Рис. 4. Виды резьбы кронштейнов на территории Карелии: мотив резьбы «валик в выкружке» и его соотношение с исходными мотивами модульона и валиков/зубцов

Следует отметить, что представленная в статье тема требует дальнейшего развития в отношении способов представления картографируемой информации, расширения границ исследования за пределы Карелии, подключения более широкого перечня архитектурно-типологических признаков. Перспективными для картографирования и в целом территориально соответствующими восточно-обонежскому этноархитектурному комплексу в Карелии представляются стеновые дымоволоки черных бань, южно-восточно-русская планировка бань и риг, северно-среднерусская постановка печи в избе, дворовых (черных) сеней в домах-комплексах.

Автор выражает глубокую признательность E. B. Лялля за помощь в оформлении карт.

Литература

Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947.

Винокурова И. Ю. Прионежье: этническая история ареала // Очерки исторической географии: Северозапад России: Славяне и финны / Ред. А. С. Герд, Г. С. Лебедев. СПб.: СПбГУ, 2001. С. 310–324.

Гришина И. Е. Резные кронштейны в деревянном зодчестве южной Карелии: вопросы генезиса и этнических особенностей // Народное зодчество. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. С. 115–129.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Гришина Ирина Евгеньевна

зам. директора НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества Петрозаводский государственный университет пр. Ленина, 33, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: niinaz@karelia.ru

тел.: (8142) 719638, 767093; 8-921-4553523

Гришина И. Е., Лялля Е. В. Научный потенциал массовых обследований архитектурного наследия // Народное зодчество. Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. С. 487–506.

Деревня Юккогуба и ее округа / И. Е. Гришина, П. М. Зайков, В. П. Ершов и др. Петрозаводск: ПетрГУ, 2001. 432 с.

Жуков А. Ю. Сямозерье в XIV–XVII веках // История и культура Сямозерья. Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. С. 41–106.

Ильин М. А. Крестьянская изба Кенозера // Институт археологии и искусствознания. Труды секции археологии. IV. М.: РАНИОН, 1928. С. 241–256.

Колехмайнен А. Традиционное деревянное жилище Финляндии и его вероятная эволюция // Народное зодчество. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. С. 167–171.

Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дис. ... докт. архитектуры. М., 1975.

Орфинский В. П., Гришина И. Е. Элементы цикличности в развитии народного деревянного зодчества // Народное зодчество. Петрозаводск: ПетрГУ, 1999. С. 23–37.

Орфинский В. П., Гришина И. Е. Генезис домадвора в крестьянском зодчестве Карелии // Архитектурное наследство. № 44. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 63–80.

Орфинский В. П., Гришина И. Е., Борисов А. Ю. и др. Зодчество Карельского Поморья: незабытое наследие // Комплексные гуманитарные исследования в бассейне Белого моря. Петрозаводск: Острова, 2007. С. 152–173.

Grishina, Irina

Petrozavodsk State University 33 Lenin Av., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: niinaz@karelia.ru tel.: (8142) 719638, 767093; 8-921-4553523 УДК 75.046 «17/18» (470.22)

РОЛЬ НАРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОГО РЯДА ИКОНОСТАСОВ В ХРАМАХ КАРЕЛИИ XVII-XVIII ВЕКОВ

В. Г. Платонов

Музей изобразительных искусств Республики Карелия

На основе анализа данных писцовой книги 1628/1629 г. по Обонежью, архивных и музейных фондовых материалов прослеживаются процессы становления и эволюции местного ряда в иконостасах храмов Обонежья и Западного Поморья на протяжении XVII–XVIII вв. Особое внимание уделяется вопросам отражения в иконографии местного ряда особенностей народного православия, почитания в крестьянской среде святых – покровителей домашнего хозяйства и скота, а также появлению и постепенному распространению в иконостасах образов северных святых – основателей монастырей.

K л ю ч е в ы е с л о в а : Обонежье, Западное Поморье, культовая архитектура, церковь, часовня, иконостас, местный ряд, иконография, народное православие, наиболее популярные и северные святые.

V. G. Platonov. AN INFLUENCE OF THE FOLK RELIGIOUS CULTURE ON FORMATION OF THE LOCAL TIER IN ICONOSTASES OF KARELIAN TEMPLES DURING THE $17^{\text{th}}-18^{\text{th}}$ CENTURIES

On the basis of investigation of the historical sources such as «Pistsovaya kniga Obonezhskih pogostov 1628/1629», materials in archives and museum depositories, the author traces the process of formation and evolution of the iconostasis «local» tier in the temples of the Obonezhje and the Western Pomorje historical regions during the $17^{\text{th}}-18^{\text{th}}$ centuries. Special attention has been paid to reflection of peculiarities of the folk Orthodox religion in adoration of the saints who were protectors of the peasant household and cattle, as well as to appearance and spreading of icons representing the founders of nothern monasteries.

Key words: Obonezhje, Western Pomorje, wooden church, chapel, iconostasis, local tier, iconography, folk Orthodoxy, the most popular and northern saints.

Настоящая работа посвящена исследованию нижнего, так называемого «местного» ряда в иконостасах церквей и часовен Карелии – обширной территории, которая в древности включала земли Обонежья и Западного Поморья. При написании работы мы использовали

данные писцовой книги по Обонежью 1628—1629 гг. Н. Панина и И. Долгорукова, архивные материалы XVIII–XIX вв., отчеты научных экспедиций музеев по обследованию территории Карелии и вывозу произведений древнерусского искусства, а также фонды икон Государ-

ственного Русского музея, Музея изобразительных искусств Республики Карелия и музеязаповедника «Кижи».

В старинных описях убранства храмов иконы нижнего яруса часто обозначали как стоящие «на поклоне», а счет рядов собственно иконостаса начинали со следующего ряда. По мнению исследователей, состав местного ряда оформился более или менее четко только в XVII в. Е. Е. Голубинский связывал это с постановлением Собора 1667 г., регламентирующим размещение икон [Ильин, 1966. С. 87].

В современных храмах справа от царских врат обычно располагается икона Спасителя, а слева – икона Богоматери с Младенцем Христом, что связано с поклонением этим иконам и их каждением во время церковных служб [Православное богослужение, 2009. С. 31, 49, 54, 62, 76, 104, 147 и др.]. На втором месте справа от царских врат размещается храмовый образ церкви. В левой и правой частях иконостаса устраиваются двери в жертвенник и диаконник. Подобное расположение основных икон местного ряда было закреплено в храмах центральной России во второй половине XVII – XVIII в., а на Севере – зачастую только в XIX в.

Местные ряды в иконостасах древнерусских храмов в XIV-XVI вв.

Как выяснили исследователи истории древнерусского иконостаса, до конца XIV – начала XV в. в храмах существовали невысокие алтарные преграды с парапетом, четырьмя колонками и архитравом [Шалина, 2000. С. 52]. Их устройство имело несколько вариантов. Сквозные интерколумнии алтарных преград могли завешиваться тканями; перед ними, вероятно, стояли и отдельные большие иконы в напольных киотах [Ильин, 1966. С. 87].

С изменением богослужебной практики на рубеже XIV-XV вв. (переходом на иерусалимский устав совершения церковных служб) изменился и иконостас, постепенно развившись до многоярусной композиции [Бетин, 1970. С. 55]. В этот период стали возводить глухие стенки между кафоликоном и алтарем с проемами для царских врат и входа в жертвенник. Такой иконостас зрительно изолировал алтарь от молящихся в храме. Стенка, отделяющая алтарь, могла украшаться завесами с изображениями (например, херувимов), а также фресковыми циклами с фигурами преподобных. Плоскость алтарной стенки постепенно перекрывалась иконами. Подобная стенка была сооружена во многих храмах XV-XVI вв. [Толстая, 1985. С. 102-103], в том числе и в каменном Преображенском соборе Соловецкого монастыря [Мельник, 1996. С. 75]. По своему сюжетному составу местные ряды долго не имели единообразия. Обязательными были лишь царские врата, храмовый образ, икона Богоматери с младенцем (чаще в типе Одигитрии). Они располагались по сторонам от царских врат. В монастырских храмах встречались иконы основателей монастырей. Всегда находящийся в поздних иконостасах образ Спаса Вседержителя далеко не сразу стал обязательным. Например, в иконостасе Успенского собора Московского Кремля икона «Спас на престоле» появилась только в XVII в. [Качалова, 1976. С. 107].

Сведений о ранних иконостасах в деревянных храмах, во множестве строившихся на Руси с глубокой древности, сохранилось очень мало. Они также, вероятно, имели глухую бревенчатую стенку между кафоликоном и алтарем, с проемами для входа в алтарь и жертвенник. В более поздних по времени постройки деревянных храмах Русского Севера глухая алтарная стена (или ее фрагменты) отсутствует, а алтарный проем, на всю свою ширину открытый в помещение для молящихся, перекрывается иконостасом.

Состав местного ряда иконостасов Обонежья в первой трети XVII в.

В писцовых книгах по Обонежью 1628-1629 гг. Н. Панина и И. Долгорукова дается описание состава иконостасов в более чем 70 церквах и их приделах. Анализ этих описаний показывает, что в первой трети XVII в. в местные ряды многих храмов Обонежья входили, как правило, немногочисленные иконы, которые не занимали целиком пространство восточной стены основного помещения храма. При этом особенно привлекают внимание те иконостасы, в которых справа и слева от царских врат иконы располагались несимметрично. В писцовой книге упоминаются несколько иконостасов, где отдельные иконы нижнего ряда стояли в киотах, причем это исключительно иконы Богоматери с младенцем и изображения, резные или живописные, св. Николая. Трудно сказать, были ли это иконы, стоявшие перед иконостасом в напольных киотах, но они явно выделялись особым почитанием.

Обратимся к сюжетному репертуару местных рядов иконостасов Обонежья первой трети XVII в. Обязательным, за редчайшими исключениями, было наличие иконы Богородицы с Младенцем (чаще в типе Одигитрии) слева от царских врат и храмового образа справа от них.

Наличие образа Спаса Вседержителя в местном ряду далеко еще не стало нормой. Не во всех церквах имелись местные иконы на сюжеты богородичных праздников. Таких икон не было в 51 храме из числа описанных в писцовой книге (кроме, естественно, храмовых образов). Наиболее часто встречались иконы популярных в народной среде святых. Самыми распространенными были иконы св. Николая (20 ед.), св. Георгия (7 ед.), пророка Ильи (4 ед.).

Анализ описаний показывает, что в составе местных рядов начала XVII в. удивительно редко встречаются иконы русских, в том числе северных святых. Они отсутствовали в большинстве храмов (кроме монастырских), что может свидетельствовать о слабой известности этих святых в среде северного крестьянства данного времени.

Местные ряды иконостасов Обонежья и Западного Поморья во второй половине XVII–XIX в.

Эволюционные процессы в развитии местного ряда можно проследить по архивным описям убранства церквей конца XIX в., описаниям состава иконостасов в отчетах музейных экспедиций второй половины XX в. и по находящимся на местах или вывезенным в музеи комплексам иконостасов.

В эту эпоху в деревянных храмах Севера на первом месте справа от царских врат по-прежнему часто оставалась храмовая икона. Увеличилось разнообразие икон общехристианских святых. Теперь можно было встретить не только иконы св. Георгия, св. Николая и пророка Ильи, но также образы св. Модеста патриарха Иерусалимского, св. Параскевы Пятницы, свв. Флора и Лавра и других святых. Из числа северных святых чаще всего встречаются иконы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, преподобного Варлаама Хутынского и преподобного Александра Свирского, но в целом же следует отметить, что такие иконы и в XVIII–XIX вв. оставались довольно малочисленными.

Для представления о тенденциях развития местных рядов в северных деревянных храмах XVII–XVIII вв. важно рассмотреть процессы их формирования в монастырских храмах этого региона, которые могли быть образцом при устройстве иконостасов в приходских сельских церквах.

В качестве такого примера рассмотрим развитие иконостасных композиций в храмах Александро-Свирского монастыря. Имеется возможность проследить эволюцию местного ряда в Троицком соборе начиная с первой тре-

ти XVII в. Уже в храме-предшественнике существующего, судя по описанию писцовой книги 1628–1629 гг. [ОГВ, 1850, № 15–18], был развитый местный ряд, в котором на первом месте справа от царских врат находилась храмовая икона «Св. Троица», а слева «Богоматерь Одигитрия». В иконостасе было еще две иконы св. Троицы, икона «Спас нерукотворный», икона с изображением святых Сергия Радонежского, Николая, апостола Родиона, Варлаама Хутынского, с житием св. Николая середины XVI в. (ГРМ ДРЖ-1875), а также три иконы «Преподобный Александр Свирский» (одна из этих икон в ГРМ ДРЖ-1823).

Во вновь отстроенном в 1696-1698 гг. каменном храме св. Троицы был установлен большой пятиярусный иконостас, местный ряд которого включил ранее написанные иконы (храмовый образ «св. Троица»), а также «Богоматерь Умиление, с икосами», «Преп. Александр Свирский, с житием», «Богоматерь Одигитрия», «Св. Николай поясной». В конце XVII в. были написаны иконы «Богоявление», «Успение» (ГРМ ДРЖ 3243, 3242), «Богоматерь Черниговская», «Единородный Сыне», «Отечество», «Сошествие Св. Духа», «Распятие» [Соловьева, 2008. С. 50]. В состав местного ряда вошли также северные двери 1675 г. («Архангел Михаил») и южные двери 1699 г. («Архидиакон Стефан»). Следует отметить, что в иконостасе храма еще не было иконы Спасителя.

Согласно писцовой книге 1628-1629 гг., в местном ряду деревянной церкви Преображения «в роще за монастырем» храмовый образ помещался над царскими вратами, справа от них располагались две иконы преподобного Александра Свирского, а слева от царских врат стояли две иконы Богоматери - «Богоматерь Одигитрия» и «Богоматерь Воплощение» [ОГВ, 1850, № 30, 31]. Видимо, в более позднее время в иконостасе появилась икона «Предста Царица одесную Тебе» [Соловьева, 2008. С. 67]. В построенном в 1641-1644 гг. каменном соборе Преображения местный ряд трехрядного иконостаса включал, кроме перенесенных из прежнего храма произведений, еще икону «Преп. Александр Свирский, с житием» [Соловьева, 2008. С. 67].

Показательно, что образы Спасителя появились лишь в конце XVII в. в церкви Св. Николая, в начале XVIII в. в церкви Покрова и в 1717 г. в церкви Иоанна Дамаскина того же монастыря [Соловьева, 2008. С. 61, 63, 64, 75]. Мы видим, что в монастырских храмах нередко можно было встретить и произведения с новой для Севера иконографией, и образы северных святых.

Влияние убранства монастырских храмов можно отметить в некоторых сельских церквах. Приходская церковь Апостолов Петра и Павла в селе Вирма (Западное Беломорье) датируется около 1625 г. [Орфинский, 1972. С. 104], но ее иконостас можно реконструировать лишь на вторую половину - конец XVII в. В этот иконостас были включены иконы из церкви-предшественницы, о которой есть сведения в писцовых книгах 1563 и 1683 гг. [Петропавловская церковь в деревне Вирма, 1986. С. 3, 4]: царские врата (ГРМ ДРЖ 3257 а, б) с двумя столбиками позднего XVI в. (МИИРК И-1058, 1059) и сенью второй половины XVII в. (МИИРК И-1057), семь икон деисусного чина XVI в. (ГРМ ДРЖ 3258-3264). Ко второй половине XVII в. относится северная алтарная дверь с изображением Благоразумного разбойника (МИИРК И-1063). Несколько пока не реставрированных икон приходится датировать в широких рамках XVII в. (первая половина?). Это «Богоматерь Тихвинская» (МИИРК И-1053), «Апостолы Петр и Павел» (МИИРК И-1060), «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие» (МИИРК И-1062). Еще на одной иконе «Апостолы Петр и Павел» (МИИРК И-1061) живопись скрыта под сплошным сплошным окладом, что затрудняет ее датировку. Наконец, в составе иконостаса была икона «Св. Николай, с житием» позднего XVII в. (МИИРК И-1063).

В таком составе иконостас зафиксирован в описи церкви 1904 г. Учитывая, что в это время иконостас уже был в резной золоченой раме, можно предположить, что в тябловом иконостасе XVII в. была еще одна икона, например, «Св. Филипп митрополит Московский» позднего XVII в., зафиксированная в начале XX в. на клиросе храма. Наличие здесь местных икон преподобных Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа (ранее игумена Соловецкого монастыря) связано с их широким почитанием на землях Соловецкого монастыря.

Иконостас примерно того же времени можно реконструировать в церкви Св. Варвары в деревне Яндомозеро [Платонов, 1992. С. 177–190]. Церковь была построена как клетская в 1650 г. и превращена, по предположению Е. В. Вахрамеева, в шатровую в процессе строительства или в начале XVIII в. [Вахрамеев, 1988. С. 92]. Судя по сохранившимся иконам деисусного, праздничного, пророческого рядов и некоторым иконам местного ряда, тябловый иконостас церкви сформировался во второй половине – конце XVII в. В этот иконостас входили, согласно нашей реконструкции, царские врата (МИИРК И-577), северная алтарная

дверь с изображением Благоразумного разбойника (МИИРК И-920), «Богоматерь Одигитрия», храмовая икона (на месте которой по описи 1872 г. находилась икона «Преображение»), неизвестная житийная икона, а также иконы «Происхождение честных древ креста Господня» (МИИРК И-174) и «Св. Никита, с житием» (МИИРК И-173), редко встречающийся в местных рядах региона.

В описи 1872 г. упоминаются находящиеся на стенах храма большие житийные иконы св. Николая, св. Георгия и пророка Ильи... Некоторые из них могли быть написаны для местного ряда иконостаса [НА РК, ф. 25, оп. 12, ед. хр. 36/175, л. 11, 11об.]. В 1784–1785 гг. резчик Хотей Германов построил в церкви св. Варвары резной позолоченный иконостас [НА РК, ф. 694, оп. 1, ед. хр. 1/1-а, л. 93, 95об., 97].

Возможна реконструкция эволюции местного ряда иконостаса церкви Пророка Ильи в селе Типиницы начиная с середины XVII в. В писцовых и переписных книгах по Обонежью «выставка» в Типиницах упоминается с 1647/1648 г. [Витов, Власова, 1974. С. 81, № 97]. Позднее эта церковь сгорела и была заменена двухпрестольной церковью Вознесения и Пророка Ильи, построенной в 1761 или 1781 гг. [Орфинский, 1972. С. 88, 144, прим. 35]. В этой новой церкви и в ее приделе Богоявления, устроенном в 1806 г., сохранялись многие иконы церкви второй половины XVII в. По вкладной надписи на иконе «Св. Параскева Пятница, с житием» (ГРМ, ВХ-35915), а также и по стилистике живописи большинства икон четырехрядного иконостаса можно сказать, что данный иконостас оформлялся иконами в основном в 1660-х гг. и позднее. В центре местного ряда находились царские врата с сенью и столбиками (хранившиеся в позднее время в алтаре церкви, МИИРК И-934, 940, 943). Справа от врат стоял храмовый образ пророка Ильи с житием (МИИРК И-536), у которого был вставной средник. Слева от врат размещалась икона «Богоматерь Одигитрия». В составе иконостаса могли также стоять иконы «Св. Параскева Пятница, с житием» 1660 г. (ГРМ ДРЖ-3139), «Св. Георгий, с житием» (ГРМ ДРЖ-3138), «Распятие» (МИИРК И-559), не сохранившийся «Св. Николай, с житием» (подобная икона упоминается в описи 1902 г.), несколько более поздняя икона «Огненное восхождение пророка Ильи» (ГРМ ДРЖ-3139) и северная алтарная дверь «Благоразумный разбойник Рах» (МИИРК И-921). В конце XVII и начале XVIII в. в иконостас были включены иконы «Архангел Михаил с деяниями» (МИИРК И-704), «Воскресение» (МИИРК И-532). Реконструкция показывает, что в

иконостасе типиницкой церкви второй половины – конца XVII в. был весьма типичный местный ряд с иконами популярных святых, но без икон основателей северных монастырей.

При устройстве местного ряда в двухпрестольной церкви 1761 г. была поставлена вторая храмовая икона «Вознесение» (МИИРК И-534), четырехчастная икона «Вход во Иерусалим, Богоявление, Сретение, Рождество Христово» (МИИРК И-671) и вторая алтарная дверь в диаконник (не сохранилась). В 1876 г. в типиницкой церкви был создан резной иконостас на два алтаря с новыми царскими вратами. Характерно, что даже в позднейшую эпоху в описи этого комплекса 1902 г. не упоминается икона Спасителя [НА РК, ф. 713, оп. 1, ед. хр. 1/8, л. 6–17].

В некоторых случаях документальные материалы позволяют проследить эволюцию состава местных рядов на протяжении почти трех столетий – с начала XVII до конца XIX в. Эти иконостасы находились не в одних и тех же, а в сменявших друг друга церковных зданиях, как, например, в кижской Преображенской церкви.

В писцовой книге 1628/1629 гг. дается описание иконостаса храма-предшественника, пострадавшего от пожара в конце XVII в. [РГАДА, ф. 1209, № 308, л. 383, 384]. Местный ряд иконостаса этого храма начинался у северной стены дверью в жертвенник. Затем располагались иконы «Пророк Илья с житием», «Спас Вседержитель», «Троица Отечество с деянием», «Богоматерь Одигитрия». Далее находились царские врата. Справа от них размещались иконы «Преображение» (храмовая), «Воскресение», «Покров» и «Рождество Богородицы». Расположение иконы «Спас Вседержитель» на необычном месте в левой части местного ряда находит некоторые аналогии в иконостасах центральной России. Например, в местном ряду иконостаса Успенского собора Московского Кремля слева от царских врат второй иконой был «Спас на престоле с припадающим митрополитом Киприаном» [Толстая, 1985. С. 117].

Во вновь построенной церкви Преображения (1714 г.) местный ряд формировался на протяжении длительного времени. О его составе и эволюции на протяжении первой половины XVIII в. сведений нет, но в него, видимо, входили иконы «Преображение» в раме с клеймами «Страстей Христовых» (Кижи, 106/8), «Покров» (106/5) конца XVII в., а также произведения начала XVIII в. – северные алтарные двери с изображением Лона Аврамова, истории сотворения человека (106/7), и южные двери с пророком Даниилом во рву львином (106/10). Ко времени освящения храма была написана

местная икона «Св. Николай, с житием» (106/6) и, возможно, несохранившаяся икона Богоматери Одигитрии (ныне находящаяся в храме икона Одигитрии была поставлена позднее).

Ныне существующий местный ряд иконостаса Преображенской церкви окончательно сложился около середины XVIII в., когда были написаны основные иконы - «Свв. Зосима и Савватий с житием» (106/1), «Чудо св. Георгия о змие, с житием» (106/3), «Огненное восхождение пророка Ильи, с житием» (106/4), рама с «Житием Богородицы» (106/5) к иконе «Покров», «Успение» (106/11), «Собор Богоматери» (106/12), «Деяния св. Троицы» (106/13) к среднику с резным образом Троицы (ныне утрачен), рама с клеймами истории и чудес нерукотворного образа (106/14) к иконе «Спас нерукотворный», «Сошествие во ад» (106/16). При устройстве резной рамы иконостаса в местный ряд вошли две иконы из деисусного чина - «Преподобный Зосима» и «Преподобный Савватий» (106/2, 106/15).

Сравнение сюжетного состава местного ряда Преображенской церкви первой трети XVII и начала – середины XVIII в. показывает, что к перечню икон местного ряда церкви-предшественницы прибавились житийный образ преподобных Зосимы и Савватия, «Чудо св. Георгия, с житием», «Св. Николай, с житием», «Рождество Богородицы», «Успение», «Собор Богородицы», южная алтарная дверь. Тем самым местный ряд иконостаса приобрел облик, характерный для XVIII в., но, что примечательно, без иконы Спасителя справа от царских врат. Это место по-прежнему занимает храмовая икона.

Рассмотрим теперь эволюцию иконостаса кижской Покровской церкви. По данным писцовой книги 1628-1629 гг., в местном ряду храма-предшественника находились только три иконы. Слева от царских врат стоял образ Богоматери Одигитрии, справа от врат – храмовый «Покров» и «Св. Николай, с житием» [РГАДА, ф. 1209, № 308, л. 384, 384об.]. Каков был местный ряд в основном иконостасе вновь отстроенной в конце XVII-XVIII в. Покровской церкви с приделом св. Николая, мы не знаем. Здесь могла быть размещена в качестве храмового образа крупная икона «Покров» (с золотым фоном) второй половины XVI в., пережившая пожар в Преображенской церкви и перенесенная в Покровскую церковь (МИИРК И-951). В церкви до середины XX в. сохранялась икона рубежа XVII-XVIII вв. «Св. Троица Новозаветная, со страстями» (Челябинский областной музей искусств Ж-612), которая, видимо, была написана после пожара для основного иконостаса. В 1826 г. [НА РК, ф. 25, оп. 15,

ед. хр. 129/2449, л. 13] и 1830 г. [НА РК, ф. 699, оп. 1, ед. хр. 1/5, л. 27] она зафиксирована в иконостасе Никольского придела, а позднее, в 1865 г. [НА РК, ф. 699, оп. 1, ед. хр. 1/5, л. 6об.] и 1867 г. [НА РК, ф. 25, оп. 12, ед. хр. 32/2, л. 9об.], – в основном иконостасе. Здесь была, несомненно, и икона Богоматери Одигитрии слева от царских врат.

Среди перечисленных икон к числу редких для Обонежья произведений в местном ряду иконостаса Покровской церкви относится упомянутая «Св. Троица Новозаветная, со страстями». Изображение Новозаветной Троицы на иконах Обонежья не встречается ранее конца XVII в. Особенностью иконы является и обширный цикл из 22 клейм, посвященных Страстям Господним. Сочетание на иконе изображений Троицы Новозаветной и цикла страстей Господних, по-видимому, иллюстрирует тему изначальной предустановленности жертвы Христа. Эта тема звучит, например, во фресках каменной церкви св. Троицы в Никитниках в Москве. По мнению Е. С. Овчинниковой, здесь два изображения св. Троицы Новозаветной (в арке главного алтаря, а также в арке окна на западной стене) и цикл страстей на стенах храма взаимосвязаны [Овчинникова, 1970. С. 88]. Появление в иконостасах Севера местных икон с подобными мотивами свидетельствует о расширении содержания иконного убранства северного храма. Тема небесной предустановленности крестной жертвы отражена также на заонежских иконах второй половины XVII в. «Почи Господь в день седьмый» из деревни Вегорукса и «Отец и Сын слово Божие» из деревни Колгостров [МИИРК И-34, И-292]. Видимо, она была важной в контексте споров с антицерковными учениями того времени об истинности литургического богослужения.

Интересен вопрос об иконе, стоявшей справа от царских врат в иконостасе Покровской церкви рубежа XVII-XVIII вв. В кижских храмах имелись иконы Спасителя в рост, известные как «Всемилостивый Спас». Две иконы с таким названием упоминаются в описях убранства Преображенской и Покровской церквей Кижского погоста, но обе находились вне иконостасов, на клиросах (имеются в виду иконы «Спас Смоленский, с припадающими преподобными Варлаамом Хутынским и Александром Свирским» – оригинал конца XVI в., Кижи 253/4, и копия XIX в., МИИРК И-681). По данным писцовой книги 1628-1629 гг., в этот период иконы Всемилостивого Спаса в составе иконостасов Преображенской и Покровской церквей еще не было. В описях основного иконостаса Покровской церкви, относящихся к XIX в., такая икона встречается только начиная с 1865 г. (в более ранних описях 1826 и 1830 гг. образ с таким названием и близкими размерами указан находящимся за правым клиросом Никольского придела). Таким образом, образ Спасителя появился в местном ряду основного иконостаса Покровской церкви на первом месте справа от царских врат только в XIX в. (по сведениям В. А. Гущиной, это была икона-копия, а оригинал был перенесен из Преображенской церкви только в 1937 г.). Скорее всего, и в первой трети XVII в. в храмах-предшественниках образ Спаса Смоленского находился не в иконостасе, а в иных местах храмов. Его сравнительно небольшие размеры (87×65 см) говорят в пользу того, что он мог размещаться в киоте на клиросе. В современной литературе данную икону иногда связывают с историей образа Спасителя, известного по народным легендам о «панах», опустошавших Заонежье в Смутное время. Эта икона, согласно преданию, получила повреждения вражеской стрелой не только на лицевой, но и на оборотной стороне [Предания о панах..., 1857. С. 125]. Если принять эти сведения народной легенды за отражение достоверных фактов, то ясно, что подобные повреждения не могла иметь иконостасная икона.

В середине – второй половине XVIII в. иконостас Покровской церкви обогащается иконами, развивающими намеченные ранее тенденции к расширению содержания. Из сохранившихся в храме икон середины XVIII в. – «Единородный Сыне и Слове Божий» (Кижи 107/1) и «Богоматерь всех скорбящих радость» (Кижи 107/7) – одна стояла в правой части иконостаса, а вторая – в левой [описи: 1826 г., л. 10, 10об.; 1830 г., л. 24, 24об.]. Позднее они были перемещены на стены храма [описи: 1865 г., л. 5, 8об.; 1867 г., л. 249].

Описи убранства Покровской церкви XIX в. дают представление о местном ряде этого периода. Первая опись относится к 1826 г. Царские врата имели на створках изображения Благовещения и четырех евангелистов, а на сени был изображен Агнец Божий и Евхаристия (данная иконография соответствует тем вратам, которые и сейчас стоят в иконостасе Покровской церкви). По правую сторону царских врат располагались иконы «Богоявление», «Покров», «Единородный Сыне Воплощение»; по левую сторону находились иконы «Богоматерь Одигитрия», «Преподобные Зосима и Савватий», «Митрополит Филипп» (две последние иконы в резных киотах), «Богоматерь всех скорбящих радость». Местный ряд с левого

края начинался северной дверью с образом архидиакона Стефана.

Икона «Богоявление» происходит из праздничного ряда Преображенской церкви и, видимо, была изъята из него в период устройства резной рамы, сократившей количество икон в праздничном ряду. То, что эта икона занимала место образа Спасителя в Покровской церкви, говорит о временном ее нахождении в иконостасе. Иконы «Единородный Сыне» и «Богоматерь всех скорбящих радость» середины XVIII в. сохранились и по-прежнему находятся в иконостасе Покровской церкви. О времени появления ныне утраченных икон «Преподобные Зосима и Савватий» и «Митрополит Филипп» данных нет. Можно предположить, что они поставлены в XVIII в.

Следующая опись Покровской церкви относится к 1830 г. Она повторяет опись 1826 г. Опись 1865 г. дает описание иконостаса в раме. Царские врата здесь новые, резные. В этом описании впервые упоминается образ Всемилостивого Спаса, стоящий справа от царских врат. Вероятно, это сохранившийся образ Спаса Смоленского. За ним следуют южные двери с образом Архидиакона Евпла. Затем указана икона «Покров» и в завороте на южную стену икона «св. Николай с чудесами». В левой части иконостаса стоит икона «Богоматерь Одигитрия», за нею северная дверь с Архидиаконом Стефаном и икона «Св. Троица Новозаветная, со страстями на полях» (ранее находилась в Никольском приделе до его упразднения). В завороте иконостаса на северную стену храма стояла икона «Огненное восхождение Ильи, св. Медост, св. Георгий, преп. Мелания, св. Власий и св. Параскева Пятница» (не сохранилась). В 1867 г. была составлена новая опись, повторяющая предыдущую.

Данные о составе иконостаса Успенской церкви в Кондопоге – предшественницы существующей – содержатся в писцовой книге 1628–1629 гг. [РГАДА, ф. 1209, № 308, л. 1920б., 193]. В это время в местном ряду иконостаса справа от царских врат находилась икона «Успение», правее нее – четырехчастная икона с изображением праздников – Рождества Христова, Богоявления, Благовещения и Успения. Слева от царских врат на первом месте размещалась икона «Богоматерь Одигитрия», затем киот с резным образом св. Николая, на притворе которого написаны были святые Василий Кесарийский, Иоанн Златоуст и Георгий.

В ныне существующей Успенской церкви (1774 г.), по данным описи 1873 г. [НА РК, ф. 25, оп. 12, ед. хр. 37/3, л. 3, 4], местный ряд иконостаса существенно видоизменился в

сравнении с первой третью XVII в. Здесь были резные позолоченные царские врата, справа от которых стояла икона Спасителя, затем «Успение», «Крещение», «Рождество Богородицы». Слева от царских врат находилась «Богоматерь Тихвинская», за нею северные двери («Архидиакон Стефан»), «Богоматерь скорбящих радость» и «Вход во Иерусалим». Трудно сказать, когда появился в местном ряду кондопожской церкви упомянутый образ Спасителя, но по данным, указанным в описи, он был равен по размеру остальным иконам местного ряда 1774 г. В случае его появления уже во второй половине XVIII в. кондопожская церковь выделяется среди других храмов этого региона.

Обращают на себя внимание некоторые особенности местного ряда иконостаса Успенской церкви 1774 г. В его составе отсутствуют образы почитаемых в народном православии общехристианских святых, в том числе св. Николы и св. Георгия (которые, заметим, были в иконостасе церкви-предшественницы), а также северных подвижников. В целом состав местного ряда иконостаса кондопожской церкви был слабее, чем в других храмах, связан с местными традициями и, возможно, отражал интересы пришлых заказчиков. В указанной описи сказано, что иконы для иконостаса «приобретены усердием прихожан и разных благотворителей в 1774 г.» [НА РК, ф. 25, оп. 12, ед. хр. 37/3, л. 3].

В селе Шуньга древними храмами, иконостасы которых описаны в 1628–1629 гг., были Никольская церковь с приделом Рождества Иоанна Предтечи и теплая Благовещенская церковь. Местный ряд иконостаса Никольской церкви вмещал 7 икон, царские врата и северные двери. Среди икон находились «Огненное восхождение пророка Ильи, с житием» и «Св. Савватий Соловецкий». В Благовещенской церкви представляет интерес икона «Святые Николай и Георгий на одной цке (доске)» [РГАДА, ф. 1209, № 308, л. 246–247об.].

Построенные позднее и не сохранившиеся до нашего времени храмы Шуньги – каменная Богоявленская церковь 1833 г. (с приделами Пророка Ильи и Св. Николая) и деревянная Благовещенская церковь 1816 г. – были описаны в 1871 г. Во всех иконостасах указаны на первом месте справа от царских врат иконы Спасителя (в основном Богоявленском иконостасе образ Спасителя с избранными святыми был подвешен на колонне иконостаса). В Богоявленской церкви крайней справа иконой был образ чтимого в Заонежье преподобного Корнилия Палеостровского, а слева образ препо-

добных Зосимы и Савватия Соловецких [НА РК, ф. 25, оп. 12, ед. хр. 35/3, л. 6, 7об., 8, 12, 16].

Церковь Рождества св. Иоанна Предтечи в селе Шуя датируется началом XVIII в. [Орфинский, 1972. С. 96]. Ранний иконостас храма неизвестен. Сохранилась опись храма 1870 г., в которой зафиксирован резной позолоченный иконостас с резными же царскими вратами [НА РК, ф. 128, оп. 1, ед. хр. 6/92, л. 8, 8об.]. Эти врата, заходящие сенью на деисусный чин, могут относиться к периоду от второй половины XVIII до XIX в. Справа от царских врат располагалась икона «Господь Вседержитель с двумя ангелами», слева - «Богоматерь Тихвинская». На четвертом месте справа от врат в завороте на южную стену находился храмовый образ св. Иоанна Предтечи. В алтарную часть вели две двери с изображением архидиаконов Стефана и Лаврентия. В иконостасе размещались также иконы «Св. София Премудрость Божия», «Успение», «Воскресение Христово». Таким образом, местный ряд иконостаса церкви Рождества Иоанна Предтечи в XIX в. отвечал установлениям того времени.

Зимняя церковь преподобного Александра Свирского в селе Космозеро была построена, по надписи в главном помещении храма, в 1770 г. В экспедиционном отчете В. Г. Светличной (Брюсовой) 1950 г. есть описание иконостаса этой церкви. Автор отчета датирует иконостас временем постройки церкви и отмечает, что иконостас сохранился полностью, а «иконы... по манере живописи отличаются от икон местного заонежского письма и приближаются к московской школе». В отчете указано 6 икон местного ряда: «Рождество», два «Успения», «Воскресение», «Преп. Александр Свирский», «Св. Николай в житии» [МИИРК, дело 1945-1963 гг., л. 4]. Среди этих памятников мы не встречаем икон, изображающих святых-основателей северных монастырей (кроме храмовой иконы преп. Александра Свирского), а также иконы Спасителя.

Местные ряды трех иконостасов в Успенском соборе г. Кеми (1714 г.) можно реконструировать по состоянию на конец XIX в. По описи собора 1889 г., в центре главного иконостаса в это время находились резные золоченые царские врата. Справа стояла храмовая икона «Успение» начала XVI в. (ГРМ ВХ-44745), затем иконы «Преображение», «Воздвижение креста» и (в завороте на южную стену) «Воскресение». Слева от царских врат находился образ Богоматери Владимирской, за ним располагались северная дверь («Архидиакон Стефан»), «св. Николай, с чудесами», в завороте на северной стене имелся образ, написанный на холсте

«святые Иоанн Богослов и Андрей Первозванный» [НА РК, ф. 166, оп. 1, ед. хр. 3/43, л. 5].

В местном ряду иконостаса Никольского придела кемского Успенского собора резные золоченые царские врата фланкировались иконами «Господь Вседержитель на престоле» и «Богоматерь Смоленская». Вторым справа стоял храмовый образ «св. Николай, с житием», затем «Рождество Христово». Слева располагались двери с изображением пророка Захарии, за ними стоял образ «Св. Дмитрий Солунский, с житием» [НА РК, ф. 166, оп. 1, ед. хр. 3/43, л. 7об.].

В местном ряду иконостаса придела святых Зосимы и Савватия резные золоченые царские врата фланкировались иконами «Царь царем» и «Богоматерь Тихвинская». Справа от иконы Спасителя находился храмовый образ «Преп. Зосима и Савватий», слева от «Богоматери Тихвинской» находилась дверь («Архистратиг Михаил»), иконы «Св. Николай» и «Св. Екатерина» [НА РК, ф. 166, оп. 1, ед. хр. 3/43, л. 8об.].

Мы видим, что в главном иконостасе соблюден старый порядок расположения храмовой иконы непосредственно у царских врат, тогда как образ Спаса Вседержителя отсутствует. В иконостасах же боковых приделов в конце XIX в. на первом месте справа от царских врат расположены иконы Спасителя, а храмовые иконы занимают второе место.

Приведем еще один пример расположения иконы Спасителя справа от царских врат в иконостасе церкви Успения поморского села Варзуга. В этой церкви, построенной в 1674 г., резной иконостас был устроен в 1677 г. [Бартенев, Федоров, 1968. С. 97; Ополовников, 1989. Ил. с. 118]. На позднем этапе в этом иконостасе образ Спасителя XIX в. размещался на первом месте справа от царских врат.

Обзор развития местного ряда иконостасов храмов Обонежья и западного Поморья показывает, что его эволюция шла в замедленном темпе и неравномерно. В каменных храмах центральных областей России эти процессы проходили значительно быстрее [Качалова, 1976. С. 106; Казакевич, 1980. С. 13, 42; Толстая, 1985. С. 107; Лелекова, 1988. С. 26]. В некоторых каменных храмах Русского Севера иконы Спасителя на первом месте справа от царских врат появляются в XVII—XVIII вв. [Рыбаков, 1995. Табл. 250].

Местные ряды иконостасов XVII–XIX вв. в часовнях Обонежья

Иконостасы часовен реконструировались нами главным образом по материалам музей-

ных экспедиций 1960-х гг., хранящимся в Научном архиве МИИРК и Отделе рукописей ГРМ. Историко-архитектурное изучение часовен свидетельствует о том, что во многих старых постройках, возведенных до XVIII в., убранство восточной стены проходило определенную эволюцию от простой полки для икон до тяблового иконостаса, создававшегося по образцу церковных иконостасов, но без устройства царских врат и боковых дверей.

Среди стоявших на полке икон могли находиться произведения разного размера и различных сюжетов, но постепенно формировался ряд икон «на поклоне» более или менее крупного размера и определенного сюжетного репертуара. Как и в церквах, основное место в местных рядах часовен занимали иконы святых, популярных в народном православии. Это прежде всего св. Николай Чудотворец, св. Георгий («Чудо св. Георгия о змие»), пророк Илья («Огненное восхождение пророка Ильи»). Иконы этих святых относятся обычно к наиболее древним в часовнях. Нередко встречались также иконы св. Параскевы Пятницы, святых Флора и Лавра, св. Дмитрия Солунского. С начала XVIII в. довольно распространенными стали иконы св. Модеста патриарха Иерусалимского (защитник скота от падежа).

Что касается образов северных святых, то они были довольно редки, причем это в основном иконы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Встречаются также иконы преподобных Варлаама Хутынского, Александра Свирского и некоторых других святых, но в одиночных случаях.

Интересен вопрос о распространенности в часовнях икон с изображением Богоматери с младенцем. Несмотря на то что в молитвах часов вспоминается Богородица, многие часовенные иконостасы обходились без иконы Богоматери с младенцем. Такой иконы не было, например, в местном ряду иконостаса часовни деревни Кургеницы, исполненном единовременно в середине XVIII в., как и в иконостасе часовни деревни Лижмозеро на Малом острове, а ведь этот иконостас завершался мастерами-старообрядцами уже в середине XIX в. Подобные иконы не отмечены и в часовнях деревень Васильево, Колгостров, Кефтеницы, Тамбицы, Лазарево, Пелкула, Мярандукса, Чилмозеро, Павловицы и других. Местные иконы Богоматери с младенцем из часовенных иконостасов нередко датируются лишь XIX в.

Особо следует остановиться на иконостасах в молитвенных сооружениях приверженцев «старой веры». Приведем в качестве примера состав местного ряда в основных храмах Дани-

ловского и Лексинского селений. Характерно устройство местного ряда иконостаса в главной Богоявленской часовне Даниловского общежительства. Согласно описи ее убранства, составленной в 1857 г., в центре находились царские врата со столбиками и сенью. Справа от врат стояла икона Господа Вседержителя. далее храмовый образ «Богоявление», иконы «Успение», «Преподобные Зосима и Савватий», в завороте на южную стену «Преподобный Александр Свирский», «Образ святых российских чудотворцев». Слева от царских врат находились иконы «Богоматерь Тихвинская», «Св. Троица», «Св. Николай Чудотворец», «Св. Филипп Митрополит Московский», в завороте на северную стену «Преподобный Александр Ошевенский», «Образ всех святых святых» [НА РК, ф. 25, оп. 20, ед. хр. 85/973, л. 41-43об.; Раскольничьи дела..., 1861. С. 532, 533].

Состав местного ряда в часовне Воздвижения Креста Господня, св. Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова Лексинского селения описан в доносе Ивана Круглого. По его сведениям, в центре местного ряда находилась икона «Богоматерь Тихвинская». Справа от нее стояли иконы «Распятие», «Св. Иоанн Предтеча», «Св. Троица», «Св. Николай». Слева от центра размещались иконы «Апостолы Петр и Павел», «Апостол Иоанн Богослов», «Св. София Премудрость Божия», «Преподобные 3осима и Савватий», «Пророк Илья» и иконы-пядницы [Раскольничьи дела..., 1861. С. 536, 537]. Иконописное убранство местных рядов старообрядческих часовен показывает, что культура Выгореции отличалась от культуры окружающего крестьянского мира своей обостреннодуховной направленностью и меньшей связью с потребностями «бытового православия».

В заключение можно сделать вывод о том, что состав местного ряда иконостасов Обонежья и Поморья отражал локальные особенности почитания святых, праздников церковного календаря и был связан с религиозными традициями региона и даже его отдельных мест. Особенностью иконостасов сельских храмов можно считать то, что в них слабо представлены образы северных святых. Народная религиозная культура была очень консервативна в устройстве местного ряда и с трудом допускала изменения в его составе.

Литература и источники

Бартенев И. А., Федоров Б. Н. Архитектурные памятники Русского Севера. Л.; М.: Искусство, 1968. 260 с.

Бетин Л. В. Об архитектурной композиции древнерусских иконостасов // Древнерусское искусство.

Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV–XV вв. М.: Наука, 1970. С. 41–56.

Вахрамеев Е. В. Новые исследования Варваринской церкви в д. Яндомозеро Карельской АССР (проблемы реставрации) // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера. Межвузовский сборник. Петрозаводск: ПетрГУ, 1988. С. 81–94.

Витов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVII веках. М.: Наука, 1974. 191 с.

Ильин М. А. Некоторые предположения об архитектуре русских иконостасов на рубеже XIV–XV вв. // Культура древней Руси. М.: Наука, 1966. С. 79–88.

Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Ильи Пророка в Ярославле и его мастера // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Материалы и исследования / Отв. ред. В. П. Выголов. М.: Наука, 1980. С. 13–63.

Качалова И. Я. К истории ныне существующего иконостаса Успенского собора // Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования / Отв. ред. Э. С. Смирнова. Вып. 2. М.: Советский художник, 1976. С. 104–108.

Лелекова О. В. Иконостас 1497 г. Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря: (исследование и реставрация) / Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации, 11. М., 1988. 360 с.

Мельник А. Г. Первоначальное оформление интерьеров Преображенского собора Соловецкого монастыря // «Погибшие святыни». «Охраняется государством»: 4-я рос. науч.-практ. конф. Ч. III. СПб., 1996. С. 73–83.

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – НА РК).

Научный архив Музея изобразительных искусств Республики Карелия (в тексте – МИИРК).

Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Памятник живописи и зодчества XVII века. М.: Искусство, 1970. 196 с.

Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. М.: Искусство, 1986. 312 с.

Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л.: Стройиздат, 1972. 120 с.

Петропавловская церковь в деревне Вирма / Автор текста и рис. П. П. Медведев. Петрозаводск: Карелия, 1986. 16 с.

Платонов В. Г. Иконостас церкви св. Варвары в деревне Яндомозеро (Заонежье) // Народное зодчество. Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 177–190.

Православное богослужение: практическое руководство для клириков и мирян / Сост. И. В. Гаслов, А. С. Кашкин. СПб.: Сатисъ Держава, 2009. 400 с.

Предания о панах в Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. Часть неофициальная. 1857. № 22. С. 122–124.

Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Е. Есиповым. СПб.: Изд-во Д. С. Кожанчикова, 1861. 653 с.

Российский государственный архив древних актов (в тексте – РГАДА).

Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII–XVIII веков. М.: Галарт, 1995. 494 с.

Соловьева И. Д. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Художественное наследие и историческая летопись / Авт. текста И. Соловьева, Е. Серебрякова, В. Охотникова, Л. Ильюшина, А. Шумков. СПб.: НП Принт, 2008. 516 с.

Толстая Т. В. Местный ряд иконостаса Успенского собора в конце XV – начале XVI века // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. С. 100–122.

Шалина И. А. Вход «святая святых» и византийская алтарная преграда // Иконостас. Происхождение – развитие – символика / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 52–84.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Платонов Владимир Георгиевич

хранитель фондов древнерусского искусства Музей изобразительных искусств Республики Карелия пр. К. Маркса, 8, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185035

эл. почта: plavira@onego.ru тел.: (8142) 784001

Platonov, Vladimir

Curator of the Icon Collection Karelian Museum of Fine Arts 8 K. Marx Av., 185035 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: plavira@onego.ru

tel.: (8142) 784001

УДК 398.324

ПОТОЛОК: ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА В КРЕСТЬЯНСКОМ МИКРОКОСМЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА)

Н. А. Криничная

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В мифологических воззрениях потолок осмысляется не только как граница между мирами, и прежде всего между верхним и средним (жилым) ярусами крестьянского микрокосма, но и как «предел» пребывания человека на «этом свете». Потолок и его составляющие космологизируются, одушевляются, персонифицируются. Для выявления знаков-символов, заключенных в фольклорно-архитектурном образе и закодированных в различных видах народного искусства, нами предпринято комплексное изучение этого образа. В результате обнаруживается особое место концепта «потолок» в системе представлений о жизни, смерти и судьбе.

K л ю ч е в ы е с л о в а : мифологическое мировосприятие, вербальное творчество, изобразительное искусство, модель Вселенной, ярусы, граница, космологические представления, персонификация, архетип, репродуцирование.

N. A. Krinichnaya. THE CEILING: MANIFESTATIONS OF THE TOP BOUNDARY OF THE LIVING SPACE IN THE PEASANT MICROCOSM (BASED ON FOLK ART)

In mythological views the ceiling is perceived not only as the boundary between worlds, first of all between the upper and middle (living) tiers of the peasant microcosm, but also as the «limit» of the human's presence in «this world». The ceiling and its component parts are cosmologized, animated, personified. To distinguish the symbolic signs embraced in the folklore-architectural image and encoded in various kinds of folk art we undertook a comprehensive study of the image. As the result, the «ceiling» concept was found to occupy a special position in the system of ideas about life, death and fate.

Key words: mythological worldview, verbal art, visual arts, model of the Universe, tiers, boundary, cosmological ideas, personification, archetype, reproduction.

В картине упорядоченного микрокосма крестьянского жилища каждая его часть, как известно, соответствует определенной части Вселенной, основанной в данной версии на плоскостно-вертикальной трехъярусной модели. Согласно мифологическим воззрениям, крестьянский дом включает в себя верхний, средний и нижний миры. Материализованным

символом верхнего мира служит потолок-чердак-крыша, среднего – собственно изба, заключающая в себе жилое, населенное людьми пространство, нижнего – подклет (подполье, подызбица). Границей между средним и верхним мирами служит потолок. По своей функции в древних представлениях потолок приравнивается к полу, который в мифологическом сознании воспринимается в качестве границы между средним и нижним мирами [см.: Байбурин, 2005. С. 207–208]. «Символизм архитектурных образов являлся естественным способом осознания мирового устройства», – справедливо отмечает А. Я. Гуревич [1972. С. 65]. И, наоборот, космос в представлениях человека традиционной культуры проецируется на жилище [Богатырев, 1971. С. 363; Цивьян, 1978. С. 72; Элиаде, 2000. С. 271–287 и др.].

Вместе с тем потолок (ранее – крыша) в своих архетипических проявлениях – это не просто граница, но граница, имеющая признаки живого существа. Это одновременно и объект, и субъект, и граница, и ее страж. Поскольку жилище уподобляется мифическому существу, зооморфному или антропоморфному [Криничная, 2001. С. 127–152], то, соответственно, потолок-чердак-крыша в архетипическом восприятии осмысляется как метонимический эквивалент этого существа либо как его часть, прежде всего основание черепа-черепголова.

Наша задача – «расшифровать» космологический и анимистический коды, которые заключены в мифологических представлениях о потолке, проявляющихся в различных видах народного искусства, вербального (языкового, фольклорного) и декоративно-прикладного (роспись). Мы исходим из того, что разные виды народного искусства равноподчинены действующему в них закону всеединства. При этом предполагается высветить интересующий нас фольклорно-архитектурный образ посредством выявления семантики его внетекстовых связей. В таком ракурсе концепт потолка исследуется впервые.

Потолок – это верхнее внутреннее покрытие помещения; обл. верхняя поверхность этого покрытия, обращенная к чердаку. «В общеславянском языке не существовало слова, обозначающего понятие "потолок", по той причине, что в домах славян просто не было потолка. <...> Слово же потолок свойственно восточнославянским языкам; в первый раз его находим в 1704 г. в "Лексиконе" Поликарпова», - пишет Ж. Леписье [1971. С. 170]. Тем не менее, подводя итоги многолетним археологическим исследованиям (1938-1947 г.) Старой Ладоги и выявив господствующий тип древнерусской северной деревянной избы Х в., В. И. Равдоникас сообщает: «В пожарищах и среди развалов мы неоднократно находим лежащие над полом в беспорядке доски и бревна. Такие доски могли быть только от потолка и крыши. <...> в отдельных случаях с большой долей вероятности можно видеть в этих бревнах остатки стропил, слег и потолочных балок-матиц (курсив мой. – *Н. К.*)» [Равдоникас, 1949. С. 18]. Из сказанного следует, что «позднее» происхождение потолка в историческом исчислении может оказаться довольно ранним.

Номинация потолок, по мнению языковедов, происходит от толочить или потолочь, потолочить, что значит «топтать», «потоптать» [Даль, 1990. С. 357; Леписье, 1971. С. 170-174; Фасмер-III, 1987. С. 345]. В древнерусском языке потолочити «придавить, примять, вытоптать». В севернорусских говорах потолочить значит «настилать потолок». Такая этимология основывается на знании технологических приемов устройства потолка. Вместе с тем не исключено, что лексема потолок возникла от праслав. тьло «дно» [Фасмер-III, 1987. С. 345; Фасмер-IV, 1987. С. 65], точнее, от основы предложно-падежного словосочетания по тьлу «по дну» [Шанский и др., 1961. C. 263; Шапошников, 2010. С. 187]. В дальнейшем тьло преобразуется в тло - «основание, дно». В качестве такого основания и дна могла восприниматься внешняя поверхность потолочного покрытия, выходящая на чердак и как бы образующая его пол, а тем самым и нижнюю плоскость верхнего яруса крестьянского микрокосма: «Первоначальное значение потолка "тло по тлу", т. е. дно над дном, пол над полом, причем по здесь означает не над, сверху, а размер, квадратное соответствие "тлу", "полу"» [Преображенский-2, 1959. С. 116]. Тем самым исследователи истолковывают по тьлу как «равное полу», где тьло - «пол, основание, дно» (см. дотла) [Шанский и др., 1961. C. 263]. Не противоречат этим данным и последние изыскания, согласно которым потолок происходит от несохранившегося существительного потоль, что значит «пол, настил» [Шапошников, 2010. С. 187]. Кстати, соотнесенность потолка с полом подтверждается и фольклорно-мифологическими материалами, о чем пойдет речь ниже.

В народных представлениях потолок деревенской избы ассоциируется с верхней границей крестьянского жилища. Не случайно в некоторых диалектах верх означает «потолок», а ярус — «потолочный настил» [Сыщиков, 2006. С. 42–43]. Причем он отчетливо отождествляется с небом: «небо — это прежде всего абсолютное воплощение верха» [Брагинская, 1982. С. 206]. Идеей подобного отождествления пронизаны, по сути, все разновидности народного искусства, вербального и изобразительного. Так, например, звездному небу потолок уподобляется в загадке: «Синие потолочины золотыми гвоздями приколочены» [Митрофанова,

1968. С. 18]. И наоборот, вселенское небо приравнивается к потолку крестьянской избы. Однако у такого потолка нет привычных конструкций: «Раскинут потолок шатром, ни срубу, ни столба, ни матицы» [Даль, 1990. С. 357]. В основе подобного восприятия лежит представление о форме неба «как шатре, шалаше, палатке, куполе, который образует стены и крышу над полом-землей, поскольку при параллелизме микро- и макрокосма мир устроен по типу дома» [Брагинская, 1982. С. 207].

С состоянием небес в их суточном цикле: в дневной и ночной, в утренней и вечерней фазах – сопоставим потолок в былинной поэзии:

На небе солнце – и в тереме солнце, На небе месяц – и в тереме месяц, На небе звезды – и в тереме звезды, На небе зори – и в тереме зори: Всё в терему по-небесному. [Рыбников-2, 1990. С. 358]

Или:

Надьведёно же над ей-то (палатой. – Н. К.) было красно солнышко, Надьведёно над ей ведь был да млад светёл месец, Ище зори-ти были, звёзды частыя, Вся луна была над ей да поднебесная.

[Марков, 1901. С. 102]

В единую композицию с солнцем, луной, звездами, зорями, утренними и вечерними, подчас включается и «вся красота поднебесная» (о семантике этой эпической формулы см. подробнее: Криничная, 2011. С. 101–111).

Космогония, выраженная вербальными средствами, в интерьере крестьянской избы дублируется изобразительными мотивами. Так, например, в вельских и шенкурских деревнях Архангельской обл. экспедициями 60-80-х гг. XX в. были обнаружены росписи крестьянских изб, датированные концом XIX - началом XX в. и заключающие в себе, помимо прочего, космогонические, преимущественно солярные, знаки-символы. Речь идет прежде всего о вихреобразных или шестилепестковых розетках, о больших цветных (нередко красных) ромбах, о синих травных завитках или круговых цветочных гирляндах, нанесенных наряду с другими, в основном, растительными орнаментами, на потолке горницы, на подшивке свесов кровли либо свода балконного портика, над окном светелки и т. д. [Мильчик, 1991. С. 96, 99, 102-103]. К слову сказать, христианизированную трансформацию подобной «небесной» розетки можно увидеть в часовне Параскевы Пятницы (XIX в.), ныне хранящейся в Плесецком секторе Кенозерского национального парка [Шатковская и др., 2004. С. 108]. Однако в большинстве случаев до нас дошли лишь разрозненные фрагментарные сведения об аналогичных росписях. Символом солнечного/звездного неба служит и лепной узор потолка, раскрашенный в сине-желтый цвет. Он сохранился до наших дней в доме Ф. Ф. Прыгунова, построенном в поморском селе Верхняя Золотица в конце XIX в. [Пермиловская, 2005. С. 157]. Роспись потолка светлицы («вышки») в виде звездного неба зафиксирована в 20-е гг. XX в. в заонежской деревне Космозеро, в доме Сотниковых [Большева, 1927. С. 50]. «Палатное письмо имеет смысл: / Небесными кругами (курсив мой. – Н. К.) украшают / Подписчики в палатах потолки / Высоки...» - так расшифровывает смысл наиболее распространенных на подволоке росписей знаток традиционного русского быта А. Н. Островский. И действительно, розетки, круги («круговые цветочные гирлянды», «травные завитки») - устойчивые солярные знаки, которыми маркируется потолок крестьянской горницы, моделизируется ее небесный свод. «Система орнаментальных кругов в их мерном и повторном чередовании есть символически-художественное выражение чередующихся дней, повторяющихся восходов, течений и заходов солнечных», - отмечает исследователь крестьянского искусства В. С. Воронов [1925. С. 13]. Подобные круги, розетки, диски в посленеолитическом искусстве Европы являлись, по мнению А. Голана, символом солнца, сохраняя в ряде случаев свое прежнее значение символа неба и в эпоху бронзы [Голан, 1994. С. 22]. Все остальные мотивы декоративной живописи в деревенских хоромах можно, по-видимому, отнести к наглядному выражению «всей красоты поднебесной». В эту космогоническую композицию вплетаются изображения мифических растений. Их продуцирующая вегетативная сила символизирует неиссякаемое плодородие, плодовитость, непрерывный круговорот в природе и социуме. Заметим, что восприятие потолка в качестве домашнего небосвода характерно и для западноевропейского искусства. Об этом, в частности, свидетельствует описание верхней части палаты в древнем французском сказании о хождении Карла Великого в Иерусалим и Константинополь. Согласно этому сказанию, верх палаты представляет форму и образ неба, с солнцем, луной и звездами, которые загораются всякий раз в соответствии с временем года [Веселовский, 1884. С. 386].

Иногда знаки-символы «небес» как бы выносятся за пределы жилого пространства. Они оказываются уже снаружи, в экстерьере, раскрывая космогонический смысл верхнего яруса постройки. Многоцветная роспись наносилась на плоские поверхности, затянутые тесом: на фронтоны домов, на внутреннюю сторону обшивки свесов крыши, на фронтоны мезонинов, на обшивку нижней части мезонинов и балконов [Чижикова, 1970. С. 52; Дмитриева, 2006. С. 210-214]. Изображения звездного неба и солнца под крышей на фронтонах крестьянских домов еще недавно встречались в каргопольских и коневских деревнях [Пермиловская, 2005. С. 44-45]. В вельских и шенкурских деревнях попадались избы, на фронтоне которых, в центре, изображалась шестилепестковая розетка, аналогичная тем, которые были обычными в народном декоративном искусстве Восточной Европы, равно как и в искусстве древнего Средиземноморья [Голан, 1994. С. 23]. В рассматриваемой севернорусской традиции она нередко включалась в композицию, состоящую из четырех вазонов с цветущими растениями, расположенными по ее углам [Мильчик, 1991. С. 98]. Центральная розетка на фронтоне, по сути, дублирующая изображение на потолке и находящая соответствие в народной вышивке, также осмыслялась в качестве солярно-вегетативного знака-символа. Причем сами очертания фронтона воспринимались как небосвод. Одним словом, в росписи интерьера и экстерьера крестьянской избы фигурировали, помимо прочих образов, всё те же завитки травного орнамента (нередко синего цвета), всё те же розетки, шестилепестковые и вихреобразные, а также большие цветные, и прежде всего красные, ромбы - эквиваленты круговых форм [см.: Мильчик, 1991. C. 96, 98-991.

«Термин "небо" приобрел на Севере буквальный смысл и понимание. Потолок деревянного храма трактуется как картина подлинного неба», – пишет Т. М. Кольцова [Кольцова, 1989. С. 11. См. также: Гнедовский, 1974. С. 126, 129; Витухновская, 1981. С. 52-53; Фролова, 2008]. Сам каркас его пирамидальной конструкции, закрытый треугольными досками, напоминает солнце с расходящимися лучами. На голубом, иногда звездном, фоне, ассоциируемом с небесами, изображаются Христос, Богоматерь, апостолы, святые, херувимы, архангелы; на них сверху струится золотистый свет [Кольцова, 1993. С. 93-96; Шатковская и др., 2004. С. 57, 69-70, 73, 103, 108; Пермиловская, 2005. С. 44]. При подобном восприятии и наименование избяного бревенчатого потолка круглым [Сыщиков, 2006. С. 42], зафиксированное на Среднем Урале, выглядит отнюдь не случайным. В этих космологических представлениях не могла не проявиться память о древнем сводчатом потолке, некогда составляющем с крышей нерасчлененное единство [см.: Бломквист, 1956. С. 79–80; Бартенев, 1964. С. 236].

Космогонические элементы, со временем преодоленные в изображении «неба», локализованного внутри помещения, подчас сохраняются в наружной росписи церкви. Очертания звезд на голубом фоне нам доводилось видеть на главках каменных храмов и в росписи потолка церковного трехмаршевого крыльца деревянного храма в с. Лядины Каргопольского р-на Архангельской обл.

Такого рода декором, с одной стороны, маркировалась включенность постройки в мироздание; с другой стороны, это были знаки проявления макрокосма в микрокосме крестьянских хором и храмов, посредством которых человек приобщал себя к ритмам мироздания [см.: Рыбаков, 1975. С. 30, 41–42]. В результате наделенный символическим смыслом, а иногда и магическим значением, орнамент в архитектуре древности и сам по себе рассматривался как необходимый функциональный элемент здания [Иконников, 1966. С. 139].

Воспринимаемый в качестве небес, потолок сакрализуется. По свидетельству памятников древнерусской литературы, он, подобно иконе, может даже мироточить. Вот как об этом говорится в «Хождении купца Василия Познякова по святым местам Востока 1558–1561 гг.»: «<...> и в той кельи ис потолока исходит миро мяхко, яко мука ладанная, бело, и то миро дают старцы вместо мощей для благословения християном» [Хождение..., 1887. С. 61].

Локализованное в крестьянских хоромах и храмах «небо»-потолок в мифологическом сознании одухотворяется и персонифицируется. И тем не менее оно рукотворно. Доведя сруб до желаемой высоты, которая в жилом помещении на подклете колеблется, по карельским материалам, в пределах 3,2-3,75 м, а в некоторых топящихся по-черному избах достигает 4,2 м [Габе, 1941. С. 42], плотники укладывают подгнетный черепной венец из более толстых бревен, чем нижележащие. В качестве опоры для потолка в целом и для каждой из потолочин в частности они врубают параллельно переводинам пола несущий брус, выразительно названный матицей. Конструкция потолка с центральной балкой-матицей восходит по крайней мере к XVII в.: во всяком случае, такая традиция зафиксирована в 1622 г. неподалеку от Великого Устюга [Рабинович, 1975. С. 220-221].

Потолок/потолочины, как и пол/половицы или мост/мостовины, в мифологическом миро-

восприятии отождествляются. Не случайно в севернорусских говорах потолочины нередко называются половицами [СРГК и СО, 2002. С. 56] либо мостовичинами [Сыщиков, 2006. С. 44]. Соответственно в некоторых местностях потолок называют верхним полом [СРНГ, 1969. С. 160], а нижний ряд потолочин в двухслойном потолке - белым полом [Сыщиков, 2006. С. 43]. Мало того, в различных индоевропейских языках лексема потолок оказывается в едином семантическом поле вместе с однокоренными словами со значением «пол», «доска, половица», равно как и «земля», «плоскость» [Фасмер-III, 1987. C. 345]. В загадках же потолок и пол не только отождествляются, но и персонифицируются, наделяясь то зооморфным, то антропоморфным обликом: «Два быка бодутся, в одно место не сойдутся» [Мельц и др., 1961. № 428]; «Два братца видятся, а не целуются» [НА КарНЦ РАН. 142. № 338. – Медвежьегорск., 1980 г.]; «Дарья да Марья видятся, но не целуются» [Там же. № 55]; «Кум с кумой видятся, а близко не сходятся» [Мельц и др., 1961. № 429]. Показательно, что в некоторых загадках потолок и пол соответствуют небу и земле. Так, отгадкой к загадке «Два быка бодутся - вместе не сойдутся» [Митрофанова, 1968. С. 18. Ср. со с. 97] может служить и та и другая семантическая пара: потолок - пол, небо – земля. Соотнесенность потолка с полом представлена в некоторых приведенных загадках как кровное или духовное родство. В мифологических же рассказах взаимосвязь потолка и пола/моста обозначена посредством изображения синхронности происходящих в том и другом локусе мистических проявлений, определяемых в динамических и акустических категориях: «Вдруг в бане всё ходуном заходило, начали ворочать мост под ногами, на потолке (курсив мой. - Н. К.) тоже застучали» [НА КарНЦ РАН. 32. № 77. – Беломорск., 1937 г.]. Немаловажно, что потолок и пол соответствуют друг другу и в конструктивном отношении. В старинных избах используемые для потолочин горбыли, т. е. бревна, расколотые клиньями вдоль пополам, укладывают плоской стороной вниз, тогда как для половиц - плоской стороной вверх. Причем потолочины кладут длиной во всю избу или от задней стены – до матицы и от матицы - до передней стены [Бломквист, 1956. С. 78-79]. При этом, подобно всему потолку, одушевляется и персонифицируется каждая из потолочин, что подтверждается, например, загадками, бытовавшими в вологодских деревнях: «Сорок братьев на одном изголовье лежат»; «Сорок братцев на одной подушке спят» [Мельц и др., 1961. № 426-427]. Coгласно мифологическому мировосприятиию, такие «потолочины», абсолютно равные между собой, находятся в кровнородственных отношениях не только друг с другом, но и с «матицей»: «Семьдесят семь Семёнов - одна мать Матрёна» [Митрофанова, 1968. С. 97]. Сам технологический процесс символизирует такое единство. Уложив потолочины на матицу, плотники скрепляют их известными способами. Промазав щели между потолочинами глиной, строители заливают образовавшуюся поверхность раствором из глины и песка. Засыпав эту поверхность слоем листьев и мха, они наваливают на потолок слой земли. Последний, как и пол, может быть двойным. Чёрный потолок, изготовленный из массивных горбылей или бревенчатого наката, кладут на матицу и засыпают землей (матица остается снаружи) [Бломквист, 1956. С. 78–79]. В этом свете неудивительно, что латинск. tellus, однокоренное с русск. потолок, означает «земля, почва» [Фасмер-III, 1987. С. 345]. Чистый потолок подшивают снизу гвоздями к стенам и матице, которую закрывают тесом.

Знаковая сущность этой вполне материальной структурно-планировочной составляющей крестьянского жилища раскрывается в мифологических рассказах, верованиях, обрядах. В них потолок осмысляется не только как граница между мирами, но и как верхний предел пребывания человека на «этом свете». По-видимому, на потолок в свое время были отчасти перенесены мифологические представления о древнем покрытии жилища, которое было одновременно и крышей, и потолком. О тождестве их восприятия в фольклорном сознании свидетельствует, в частности, поговорка: «Всякая изба своим потолком крыта, своей крышей повершена» [Даль, 1990. С. 357].

Согласно поверьям, именно под потолком, в переднем углу, на иконе, задерживается на какое-то время душа, прежде чем вылететь из жилища, а вынутая из потолка потолочина или просто тесина (варианты: «три потолочины», «девятая потолочина») облегчает выход души из тела: «"А сделай, - говорит, - потолочину открой над ее (колдуньи. - Н. К.) кроватью, где она спит. И она недолго проживёт". И в действительности, значит, он потолочину открыл, когда она спала, и недолго она померла» [НА КарНЦ РАН. 136. № 178. - Прионежск., 1977 г.]; «Он (колдун. – Н. К.) умирал трое сутки, на крик кричал: ему не умереть было. Потом сказал кто-то, что надо три половицы (т. е. три потолочины. – Н. К.) с потолка вытащить. Вытащили - он и умер» [СРГК и СО, 2002. С. 56]; «Надоумили семейных вынуть девятую

потолочину (курсив в цитатах мой. – Н. К.) – и колдун умер» [Смирнов, 1922. С. 74]. Если ранее предполагалось, что через отверстие в потолке, семантически приравненное к потолочному дымоволоку и даже просто к отверстию для выхода дыма из древнего жилища, на небеса отправляется в соответствии с обрядом кремации душа каждого умершего сородича, то позднее, по мере трансформации этих представлений, такая участь постигает лишь душу колдуна. Эсхатологический мотив отделения души от тела сопоставим в рамках крестьянского микрокосма с универсальным актом ухода ее на небо. Соответственно сон, в котором привиделась упавшая потолочина, предвещает смерть: «А у меня - перед мужем (перед смертью мужа. - Н. К.) - так потолочина упала. Тоже во сне» [НА КарНЦ РАН. 109. № 65. – Беломорск., 1977 г.]. Характерно, что символика смерти - в данном случае смертельной опасности - сохраняется за потолочиной даже в частушке - жанре, как известно, позднем: «Пал, пал потолок, / Пала потолочина. / Уходи, моя милая, / Пока не колочена!» [Власова, Горелов, 1965. № 1872]. Аналогичную семантику имеют и половицы, связанные, однако, уже не с верхним, а с нижним миром.

Потолочина, как и половица либо мостовина, в народных воззрениях символизирует дорогу-судьбу того или иного члена семейно-родовой общины, живущей под одной крышей, а значит, и под одним потолком [ср. с поговоркой: «Под одним потолком жить, не руками разводить». – Даль, 1990. C. 357]. Именно поэтому потолочина часто используется в мантических обрядах. Так, например, считая «пёклом» - деревянной лопатой, которой сажают хлебы в печь, каждую из потолочин со словами «пришёл - вышел» или «молодец - вдовец», гадающая узнаёт, выйдет ли она замуж, а если выйдет, то за кого: за парня или за вдовца [Кофырин, 1900. С. 2]. Причем «пёкло» изображается как атрибут некоего синкретического существа, связанного, с одной стороны, с домашним очагом, а с другой - с лесом, деревом. Известна и иная версия гадания, где магическая роль приписывается потолку. Девушка моет одну из потолочин, под которой обычно спит. При этом она приглашает суженого-ряженого «на чистой потолок глядеть». Гадающая верит, что во сне увидит суженого, пришедшего смотреть на потолок [Смирнов, 1927. С. 56].

Согласно народному мировосприятию, каждая структурно-планировочная часть избы, в том числе и потолок, служит метонимическим эквивалентом всего жилища, являясь своего рода репликой целого. «Под чужой потолок

подведут и другое имя дадут», - говорят крестьяне, отдавая девушку замуж [Даль, 1990. С. 357]. При этом каждая структурно-планировочная составляющая соответствует определенной части человеческого тела (изначально - тела почитаемого животного либо плоти растения). В этом смысле потолок воспринимается мифологическим сознанием как основание черепа одушевляемого жилища, тогда как чердак и крыша - соответственно - как его череп и голова. Отсюда ведет начало традиция использования архитектурных категорий для характеристики состояния человеческой головы, в данном случае глупой или хмельной, что нашло свое выражение преимущественно в пословицах и поговорках: «Крышей покрыто, да потолка нет»; «Сверху покрыто, да не подволочено»; «У него под потолок подошло» [Даль, 1990. C. 357].

Одушевленность же жилища служит проявлением древних анимистических верований, согласно которым в каждой его части, равно как и в деревянных изделиях бытового назначения, продолжают обитать духи деревьев, срубленных для строительства избы либо для изготовления домашней утвари. Она же обусловлена и культом предков, начиная с тотемного, что, в частности, обнаруживается в обряде принесения строительной жертвы. Подобные верования соотносятся с рассказами крестьян о том, что кто-то, являясь по ночам, бьет палкой по потолку и стенам [Георгиевский, 1890. С. 733] и как бы учреждает свое господство в жилом пространстве, ограничивая его посредством своей динамической и акустической энергии как по вертикали (потолок), так и по горизонтали (стены). Признаки близкого присутствия некой мифической силы обнаруживаются и в звуках загадочного хождения по потолку (под ним в данном случае подразумевается поверхность этого покрытия, образующая пол чердака): «Я у Андрея жила. У них по потолку там ходило пугало <...>. Как токо вечер, и по потолку (курсив мой. – Н. К.) как будто там, прости Господи, леший ходит. Вот ходит и ходит, и колотит» [НА КарНЦ РАН. 184. № 65. -Пудожск., 1977 г.]. Номинация же «леший» может интерпретироваться как родовое понятие, обозначающее всех мифических существ. И тем не менее не исключено, что здесь используется понятие видовое. В таком случае под «лешим» подразумеваются духи деревьев, перешедшие из леса в жилище вместе с возведением сруба и теперь таинственным образом влияющие на судьбы его обитателей. Присутствием же в жилом пространстве мифического «мужика», возвышающегося до самого потолка

[НА КарНЦ РАН. 181. № 68. – Медвежьегорск., 1988 г.], подобно антропоморфному деревянному столбу либо мировому древу, подпирающему постройку, фактически маркируется все жилище.

Рассмотренные представления о потолке сообразуются с соответствующим воззрением на устройство Вселенной, где «на опоры (в центре мира или по четырем его углам) положен "потолок" в виде плиты или свода» [Брагинская, 1982. С. 207]. Вместе с тем потолок осмысляется как часть одушевленного, со временем антропоморфизированного существа, каким некогда воспринималась крестьянская изба в качестве уменьшенной копии одухотворенной Вселенной.

Литература

Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Изд. 2-е. М.: Языки славянской культуры, 2005. 224 с.

Бартенев И. А. Основы архитектурных знаний для художников. М.: Искусство, 1964. 243 с.

Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 3–458 (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. XXXI).

Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с.

Большева К. А. Крестьянская живопись Заонежья // Крестьянское искусство СССР. Ч. 1: Искусство Севера. Заонежье. Л.: Academia, 1927. С. 50–61.

Брагинская Н. В. Небо // Мифы народов мира: В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1982. Т. 2. C. 206–208.

Веселовский А. Н. И. Жданов. Из литературной истории русской былевой поэзии. Киев, 1881 // Журнал Министерства народного просвещения. 1884. Ч. 231. Февраль. С. 359–396.

Витухновская М. А. «Небеса» Заонежья: Классификация и ареалы // Местные традиции материальной и духовной культуры: Тез. докл. Петрозаводск: КФ АН СССР, Союз композиторов КАССР, 1981. С. 52–53.

Власова З. И., Горелов А. А. Частушки в записях советского времени / Изд. подгот. З. И. Власова и А. А. Горелов. М.: Наука, 1965. 496 с.

Воронов В. С. Народная резьба. М.: Госиздат, 1925. 34 с.

Габе Р. М. Карельское деревянное зодчество. М.: Гос. архитектурное изд-во Академии архитектуры СССР, 1941. 215 с.

Георгиевский М. Д. Из народной жизни // Олонецкие губернские ведомости. 1890. № 76. Неофициальная часть. С. 773–774. Вся статья: № 72–79.

Гнедовский Б. А. К вопросу о происхождении перекрытия «небом» в древнерусском зодчестве

// Культура средневековой Руси: Сб. статей в честь 70-летия М. К. Каргера. Л.: Наука, 1974. С. 126–130.

Голан А. Миф и символ. Изд. 2-е. М.: Русслит, 1994. 375 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. 318 с.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М.: Русский язык, 1990. Т. 3. 556 с.

Дмитриева С. И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом. М.: Наука, 2006. 286 с.

Иконников А. В. Эстетические проблемы массового жилищного строительства. Л.: Стройиздат, 1966. 459 с.

Кольцова Т. М. «Небо» и его росписи в деревянных культовых памятниках Русского Севера: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л.: Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 1989. 21 с.

Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера. Архангельск: РАН. Рус. геогр. об-во, Арх. филиал, 1993. 111 с.

Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда // Олонецкие губернские ведомости. 1900. № 134. Неофициальная часть. С. 2. Вся статья: № 100–138.

Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. СПб.: Наука, 2001. Т. 1. 584 с.

Криничная Н. А. «Всё в терему по-небесному...»: к семантике эпической формулы // Классический фольклор сегодня: Материалы конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. Б. Н. Путилова. С.-Петербург, 14–17 сент. 2009 г. СПб.: Дм. Буланин, 2011. С. 101–111.

Леписье Ж. Этимология русск. *потолок* // Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сб. ст. М.: Наука, 1971. С. 170–174.

Марков А. Беломорские былины, записанные А. Марковым с предисловием В. Ф. Миллера. М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1901. XIII, 618 с.

Мельц М. Я., Митрофанова В. В., Шаповалова Г. Г. Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков / Изд. подгот. М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 289 с.

Мильчик М. И. Дома с росписью мастеров Петровских в Поважье // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск: ПетрГУ, 1991. С. 90–103.

Митрофанова В. В. Загадки / Изд. подгот. В. В. Митрофанова. Л.: Наука, 1968. 255 с.

Научный архив Карельского научного центра РАН (в тексте – НА КарНЦ РАН). Фонд 1. Опись 1. Последующие цифры обозначают номер коллекции и номер текста в ней.

Пермиловская А. Б. Крестьянский дом в культуре Русского Севера (XIX – начало XX века). Архангельск: Правда Севера, 2005. 312 с.

Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка: В 2-х т. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1959. Т. 2. 416 с.

Рабинович М. Г. Русское жилище в XIII–XVII вв. // Древнее жилище народов Восточной Европы. М.: Наука, 1975. С. 156–244.

Равдоникас В. И. Старая Ладога (Из итогов археологических исследований 1938–1947 гг.) // Советская археология. 1949. XI. С. 5–54.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. 783 с.

Рыбников П. Н. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: В 3-х т. Изд. 3-е. Петрозаводск: Карелия, 1990. Т. 2. 640 с.

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 6-ти вып. (в тексте – СРГК и СО). СПб.: СПбГУ, 2002. Вып. 5. 664 с.

Словарь русских народных говоров (в тексте – СРНГ). Л.: Наука, 1969. Вып. 4. 357 с.

Смирнов В. Народные гаданья Костромского края (очерк и тексты) // Четвертый этнографический сборник: Тр. Костромского науч. об-ва по изучению местного края. Кострома, 1927. Вып. XLI. С. 17–91.

Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. М.: Цустран, 1922. 98 с.

Сыщиков А. Д. Лексика крестьянского деревянного строительства: Материалы к словарю. СПб.: СПбГУ, 2006. 292 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. / Пер. с нем. Изд. 2-е. М.: Прогресс, 1987. Т. III. 832 с.; Т. IV. 864 с.

Фролова Г. И. «Небеса» Заонежья: Иконы из собрания музея-заповедника «Кижи». Петрозаводск: Издательский центр музея-заповедника «Кижи», 2008. 166 с.

Хождение купца Василия Познякова по святым местам Востока 1558–1561 гг. / Под ред. Х. М. Лопарёва // Православный палестинский сборник. СПб., 1887. Т. VI. Вып. 3. С. 1–106.

Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Труды по знаковым системам: Семиотика культуры. Тарту, 1978. Х. С. 65–85 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 463).

Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища // Русские: Историкоэтнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одежды). Середина XIX – начало XX в. М.: Наука, 1970. С. 7–60.

Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. Изд. 3-е. М.: Учпедгиз, 1961. 403 с.

Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка: В 2-х т. М.: Флинта, Наука, 2010. Т. 2. 576 с.

Шатковская Е. Ф. и др. Кенозерский национальный парк: краткий путеводитель / Автор текста Е. Ф. Шатковская и др. Архангельск: М'арт, 2004. 168 с.

Элиаде М. Священное и мирское // Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Избр. соч. / Пер. с франц. М.: Ладомир, 2000. С. 251–356.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Криничная Неонила Артемовна

главный научный сотрудник, д. филол. н. Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: vmp@sampo.ru тел.: (8142) 562742

Krinichnaya, Neonila

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: vmp@sampo.ru

tel.: (8142) 562742

УДК 82.091: 821.161.1 «1920/1939» (480)

ОБРАЗНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ «РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ» В РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ФИНЛЯНДИИ 1920–1940-х ГОДОВ

Е. Г. Сойни

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Статья посвящена соотношению образов Финляндии и России в поэзии и прозе русских литераторов, живших в Финляндии 1920–1940-х гг. в приграничье. Исследуется эволюция темы границы в русской эмигрантской литературе. Делается вывод о нераздельном существовании образов Финляндии и России, «двух рядом стоящих планет» в русской прозе и поэзии Финляндии.

Ключевые слова: граница, проза и поэзия русской эмиграции, контактная зона, соотношение образов, диалог культур.

H. G. Soini. THE PARALLEL OF IMAGES OF «RUSSIA – FINLAND» IN THE LITERATURE OF RUSSIAN EMIGRATION IN FINLAND IN 1920–1940

The article is devoted to the ratio of images of Finland and Russia in the poetry and prose of Russian writers living in Finnish borderland in 1920–1940. We investigate the evolution of the boundary theme from the geographical to the spiritual dimension. The images of Finland and Russia have existed in the minds of Russian writers as inseparably as «two planets standing side by side».

 $Key\ words$: border, prose and poetry of Russian emigration, contact zone, ratio of images, cultural dialogue.

В любую политическую эпоху культурные связи между народами остаются наиболее ценными и устойчивыми. Особенно это ощутимо в контактных зонах, где происходит диалог культур, в результате которого появляются новые литературные и художественные произведения. Культура тяготеет к границам, к духовным и географическим одновременно. Знаковым становится сам переход границы. У литераторов он выражался по-разному. Географическая граница в поэзии и прозе, преображаясь, становится границей духовной, это и реальная русско-финляндская граница, и граница творения и небытия.

Еще в XIX в., например, в цикле стихотворений К. Случевского «Мурманские отголоски» на Севере сведена «граница родины с границею творения». Отсюда, по мысли поэта, остается один путь – в небытие. Но это небытие не будет раем:

...сюда пришла моя дорога! Скажи же, Господи, отсюда мне куда? [Случевский, 1988. С. 99]

Сюжеты стихотворений русских литераторов Финляндии, естественно, разворачиваются в месте их проживания, в приграничье, в так называемых контактных зонах. Карельский

перешеек и остров Валаам многие годы являлись именно такими, сначала в составе Российской Империи, а затем в границах Финляндии и СССР.

Тема русско-финляндской границы, появившись в стихотворении Александра Блока — «В дюнах» (1907) из цикла «Вольные мысли», положила начало традиции, особенно характерной для будущих русских писателей, живших в Финляндии.

...блуждая по границе Финляндии, вникая в темный говор Небритых и зеленоглазых финнов, [Блок, 1960. С. 306]

лирический герой встречает юную финскую деву. Она убегает, но герой надеется на будущую встречу:

...И пусть она мне крикнет: «Твоя! Твоя!»

[Там же]

В теме «охоты» на героиню, в чертах, роднящих героиню со зверем, исследователи находят влияние романа Кнута Гамсуна «Пан». Общими являются и борьба двух сильных личностей, «и само отождествление "северного" с "первозданно диким"» [Раудар, 1982. С.194], что верно для одной, сюжетной части стихотворения. «В дюнах» есть и политическое содержание (этого мнения придерживается финский исследователь П. Песонен) [Pesonen, 1977. S. 12], навеянное отнюдь не Гамсуном, и черты реального быта русских таможенников, над которыми иронизирует Блок:

И русская таможенная стража Лениво отдыхала на песчаном Обрыве...

Поэт высказывает свою точку зрения на отношение царской России к Финляндии:

Там открывалась новая страна,
Песчаная, свободная, чужая...
И было мне смешно смотреть на этих
Скучающих солдат в зеленой форме,
Лениво ограждающих рабов
От вольных или вольных от рабов...
На русский бесприютный храм, глядящий
В чужую незнакомую страну.
[Блок, 1960. С. 439–440]

Эти строки, содержащиеся в рукописи и в первых публикациях до 1912 г., позже в окончательном варианте 1915 г. были сняты, вероятно, из-за цензурных соображений. Блок пророчески пишет о «новой стране», хотя в 1907 г., как известно, Финляндия и Россия существовали в единых государственных границах. Поэт избегает оценок, сомневается, кто рабы, а кто воль-

ные, полагая, что в зависимости от обстоятельств те и другие могут меняться местами.

След блоковской поэзии заметен в финской лирике. На блоковских «Скифов» Ууно Кайлас отозвался стихотворением «На границе» («Rajalla») в сборнике «Сон и смерть» («Uni ja Kuolema») 1928 г.:

Tulkoot hurttina aroiltaan!

Mahtuvat multaan tänne.
[Kailas, 1966. S. 249]

(Пусть со степей идут варвары!
В нашей земле пусть улягутся.)

Стихотворение «На границе» бросило тень на имя Кайласа, создав поэту репутацию реакционера, но даже отрицательное восприятие «Скифов» доказывает, что к поэзии Блока финны не были равнодушны.

А лирический сюжет блоковского стихотворения «В дюнах» повторился в стихотворении «У последней черты» русского финляндца Ивана Ивановича Савина (Саволайнена) (1899–1927) – одного из талантливейших поэтов русского зарубежья, переехавшего в Финляндию в 1921 г.

Стихотворение «У последней черты» (1926) посвященно Ивану Бунину. В сборнике произведений И. Савина «Только одна жизнь» оно ошибочно датировано 1925 годом. (Прим. жены поэта Л. В. Савиной-Сулимовской [Савина-Сулимовская, 1988. С. 8–10].)

По дюнам бродит день сутулый, Ныряя в золото песка. Едва шуршат морские гулы, Едва звенит Сестра-река. Граница. И чем ближе к устью, К береговому янтарю, Тем с большей нежностью и грустью России «здравствуй» говорю. [Савин, 1988. С. 187]

И у Савина, и у Блока – образы золотого песка, моря, границы, и даже написаны эти стихи в одном и том же месте – в Дюнах, правда с разницей почти в двадцать лет. У обоих поэтов лирический герой находится у границы и описывает, что он видит «там». Но если у Блока «там» – это Финляндия, «новая страна» [в первоначальном варианте]: «песчаная, свободная, чужая...» [Блок, 1960. С. 439], то у Савина «там» – это Россия:

Там, за рекой, все те же дюны, Такой же бор к волнам сбежал, Все те же древние Перуны Выходят, мнится, из-за скал. Но жизнь иная в травах бьется, И тишина еще слышней, И на кронштадтский купол льется Огромный дождь иных лучей.

(C. 187)

Далее Блок увлекается темой «погони», от его лирического героя убегает финская девушка, а в стихотворении Савина улетает птица:

Черкнув крылом по глади водной, В Россию чайка уплыла – И я крещу рукой безродной Пропавший след ее крыла.

(C. 187)

Герой Блока уверен, что он догонит беглянку, герой у Савина уверен в обратном, что «след крыла» исчез навсегда.

В поэзии И. Савина гражданский пафос сочетается с тончайшей лирикой, причем отсутствует даже след какого-либо модного литературного влияния, отчетливо заметна «ориентация на классическую традицию» [Чагин, 2008. С. 338]. В сборнике «Ладонка», изданном в Белграде в 1926 г., почти все стихи – о пережитом в России. Родившийся в Одессе, Иван Савин не осознает Финляндию как родину (даже как родину своего деда), для него это одна из дорог, перекресток:

Мне недруг стал единоверцем: Мы все, кто мог и кто не мог, Маячим выветренным сердцем На перекрестках всех дорог. («Законы тьмы неумолимы...» С. 174)

А себя он ощущает «блудным сыном» России, «кротким иноком». Для поэта ласковые годы остались в России, теперь же русские звезды светят на «чужих небосводах» («России». С. 172).

Под чужим небосводом «Господь помогает сладить» поэту с безутешной думой, что он потерял и родину и любовь. Природа успокаивает поэта, утешая, что «не надо так много плакать», в его пейзажную лирику постепенно входит Финляндия. В стихотворении «Закат» (1924) появляется образ северного заката, «такого медлительного», какой не снился никому. Но этот закат «цветет».

В пейзажной лирике Ивана Савина обращают на себя внимание стихи о море. В них дает себя знать и происхождение рода Савина – Саволайнена от потомственных мореходов, и любовь русских поэтов к водной стихии вообще. Свет маяка напоминает поэту «изумрудную слезу», стекающую по скале, а лунный свет – «густое вино». Казалось бы, все прекрасно: остывает «палящий день», маяк открывает «круглые глаза», наконец, «густое лунное вино» льется с неба. Но в полночь никуда не деться от воспоминаний.

Ударю по забытым струнам, Забытым сердцем, как смычком. (С. 179) Море может подарить покой, но не может подарить забвения, ибо само море для поэта – это граница, это связь с минувшим, это – последняя черта.

В прозе Ивана Савина граница – это уже чисто духовный символ, не имеющий отношения к таможням, визам, паспортам.

В рассказе «Лимонадная будка» (1926) повествуется о жизни русского эмигранта музыканта Миши, не пожелавшего поменять свой статус, бросить музыку и ради куска хлеба идти работать на завод. И Миша, и лимонадная будка, где он жил, бездомны, поэтому, по мнению рассказчика, они всех понимают. «...Только потеряв свой край, свои поля, начинаешь понимать, что многоглагольна и чудесами вспахана земля Божия» (с. 138). Лимонадная будка, одушевленная автором, говорит по-русски, с финским акцентом, а Мишу местные мальчики встречали «радостными криками: Вэнэлайнен, Вэнэлайнен!» (с. 139) (venäläinen – русский). Сестра Миши убеждает брата, что пройдет лихолетье, Миша сможет поступить в консерваторию. Но Мише, осознавшему, что Бог, родина, музыка - все в душе, уже не надо ни дома, ни рояля: «Дорожить этим совсем не надо... этим, то есть родиной, домом и там еще... роялем. У меня - звезда светит» (с. 144). Миша умер с улыбкой на лице, успев, по мнению автора, познать радость общения с Богом, являющим себя в храме природы.

То, что это общение – единственная радость, доставшаяся эмигрантам, утверждают и валаамские монахи в очерках-рассказах Ивана Савина о Валааме: «Валаам – Святой остров» и «Валаамские скиты» (1926).

Для Савина Валаам – это очаг православия, «заброшенный в вековую глушь Финляндии» (с. 147). С одной стороны, монахи благодарны Финляндии: «Мощи не осквернены... церковные ценности не изъяты» («Валаам – Святой остров». С. 149), но с другой – в монастырь в Финляндии никто не хочет идти и богомольцев почти совсем нет.

Савин передает слова старого монаха: молодые могли бы прийти с юга, да граница закрыта, «а из здешних мало кто жить устает и к Богу приходит...» (с. 148). В очерке «Валаамские скиты» он пишет, что первое, о чем спрашивали Савина скитские отцы, – православный ли он, а узнав, что православный, иногда не могли сдержать слез: «Спаси Вас Бог. Забыты мы тут... Не из России ли? Как там? Господи?» (с. 155).

Часть очерка – трепетное описание северной природы. Единение «красоты и святости» притягивает автора, его удивляет «исключительный даже на Валааме покой» (с. 152).

Однако это уже Финляндия, ибо стиль летоисчисления в православном монастыре был не православным. Савин обращает внимание на то, что многие монахи «давно не ходят в храмы, "оскверненные" новым стилем, <...> служат они в лесу, повесив икону на сосне...» (с. 157).

В очерке Савин ставит ту же проблему, что и в рассказе «Лимонадная будка», – о родине и душе. Музыкант Миша был убежден, что дорожить надо не землей, а душой. Монахи-старостильники, встретившиеся автору очерка, на его вопрос, что будет с монастырем, если за приверженность к старому стилю их выгонят, отвечали: «Пусть гонят! <...> мы сами пришли сюда на остров не его богатства спасать, а душу свою спасти» (с. 157). Такая точка зрения могла убедить, утешить многих русских, живших в зарубежье.

Новое летоисчисление, принятое в монастыре, – не единственное, что указывало на финскую принадлежность Валаама в 1920–1930-х гг., когда его посетили русские писатели Борис Константинович Зайцев (1881–1972) и Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950). В путевом очерке «Валаам» Бориса Зайцева, написанном в 1936 г., автор не воспринимает Валаам как Финляндию. Даже лес на Валааме, по его словам, «не финский»: «Да, красота, а не лес. Такого я в Финляндии не видел» [Зайцев, 1936. С. 10].

Но замечает писатель и финские черты Валаама: казармы финских солдат, бритых монахов-финнов. Говорит он об этом мимоходом, не вдаваясь в детали: «<...> мимо жилья финских солдат спустились мы к озеру» [Зайцев, 1936. С. 63]. Внешность отца Лаврентия, «молодого, бритого, с нерусским акцентом» напоминает Б. Зайцеву «облик уже финского православия» [Зайцев, 1936. С. 21].

Иван Шмелев, автор «Лета Господня», впервые побывал на Валааме в 1897 г. в свадебном путешествии и тогда же написал свою первую книгу «На скалах Валаама». Вновь на Валаам писатель приехал через сорок лет, уже будучи автором «Солнца мертвых». Уже были написаны первые главы «Лета Господня» и повесть «Богомолье». Тот факт, что финны не разрушили православный монастырь, наполнил сердце писателя благодарностью к Финляндии. Он спокойно отнесся к тому, что Валаам стал относиться к новому государству, подчеркивая, что Валаам и Финляндию объединила сама природа. Парадоксально, что именно в этом случае певец православия в книге о православном монастыре не употребляет слово Бог, называя объединительницей природу: «Его не разрушают, не оскверняют, не взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он был в ее границах: природа их объединила» [Шмелев, 1936. С. 6].

В памяти писателя от первой поездки на Валаам осталось очень много, в том числе и финский полицейский надзор. Еще тогда, за сорок лет до второго посещения острова, писатель столкнулся с надзором финской полиции при регистрации: «Позвольте запишу ваше имязвание в гостиничную тетрадь, по полицейскому правилу... мы под финской полицией. Мы паспортов не смотрим, по виду верим... – говорит послушник» [Шмелев, 1936. С. 25].

Это воспоминание приводит Шмелева к выводу, что Валаам не был чужд финнам: «Помню сорок лет тому, "полицейский надзор" над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был: такой же, как и они - суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, - крестьянский». Валаам все-таки изменился, признается писатель. Перемена в том, что не видно России: «Да, стал другой немножко Валаам. Но жив и ныне. Раньше - жил Россией, душой народной. Ныне – Россия не слышна. Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиленья» [Шмелев, 1936. С. 6]. Но неизменным остался свет Валаама. И этот свет Шмелев сравнивает с маяком в надвинувшейся «ночи мира».

Как и Валаам, Карельский перешеек в начале XX в. был местом паломничества русских литераторов. Иметь дачи на Карельском перешейке до революции было престижно. После революции эти дачи для одних стали спасением, для других – гибелью. Еще в 1911 г. писатель Корней Иванович Чуковский, владелец одной из дач, назвал Куоккалу именно гибелью: «Куоккала для меня гибель. Сейчас здесь ровная над всем пелена снегу – и я чувствую, к[а]к он на мне. Я человек конкретных идей, мне нужны образы <...> а вместо образов снег» [Чуковский, 1991. С. 99].

Иное отношение к Карельскому перешейку было у русских литераторов, живших здесь постоянно. Одним из них был Вадим Даниилович Гарднер (1880-1956), уроженец г. Выборга, сын американского инженера Даниэля Томаса Гарднера и писательницы Екатерины Ивановны Дыховой. Вадим Гарднер жил в имении матери в Метсякюля на Карельском перешейке, откуда был вынужден переехать в Хельсинки из-за начавшейся в 1939 г. Советско-финляндской войны. В Петербурге и Москве вышли его первые поэтические сборники «Стихотворения» (1908) и «От жизни к жизни» (1912). Третий сборник поэта «Под далекими звездами» был издан уже в Париже в 1929 г. в издательстве «Concorde».

В сборнике «Под далекими звездами» стихи зрелого поэта о трагедии одиночества, о реалиях XX в., о перипетиях собственной судьбы. Но как бы трагично ни складывалась жизнь поэта, рядом с ним находилась боготворившая его жена Мария Францевна Гарднер (урожденная Череп-Спиридович). Уроженка Карельского перешейка, католичка по вероисповеданию, она до конца своих дней сохранила преданную любовь к России, куда ей уже не суждено было вернуться. Вадиму Гарднеру было с кем разделить свое одиночество: «И спасала только вера в вечную любовь» (с. 139). Образ Финляндии в соотнесенности с образом России - одна из центральных тем в творчестве Гарднера. Видоизменяясь, она появлялась во всех трех сборниках поэта. И хотя в первом сборнике поэт постоянно сетует, что он - южанин - живет на севере, «по ярости судьбы» [Гарднер, 1990. С. 36], северная студеная страна ему мила, и это его родная страна:

> Ты мне мила, суровая природа Финляндии, страны моей родной... «Финский сонет» [Гарднер, 1990. С. 25]

В «Лунной газэле» (1914 г.) из сборника «Под далекими звездами» Гарднер называет Финляндию «каменной», а свои стихи «не северными»:

В Суоми каменной, рунической Слагал не северные руны я. [Гарднер, 1990. С. 78]

В традиции русской поэзии Гарднер восхищается «каменной» Финляндией – финскими скалами. Но для поэта, живущего среди них, скалы – каждый раз разные, они меняют цвет:

Здесь живем меж камней разноцветных и скал, то нагих, то во мхи облаченных.

«Здесь живем меж камней...» [Гарднер, 1995. С. 62]

По мнению поэта, «сокровенное скал размышленье», «мудрость большой глубины» истолковать невозможно, но в камнях и скалах он видит

Мир забытых, но чудных сказаний... (С. 62)

Калевальской метрикой – четырехстопным хореем написано одно из ранних пейзажных стихотворений Гарднера «Волны мелки, лысы камни...» (из сборника 1908 г.), где есть строки об обнаженности камней: «даже мхом они не крыты», о суровой и безмолвной зелени можжевельника, о рокоте моря, похожем на волю северян:

Tex, чьи мысли так прозрачны, Чьи воленья так спокойны.

(C. 12)

В стихотворении «Начало осени в Финляндии», опубликованном в 1916 г. в «Русской мысли», осенний пейзаж передан через знаки крестьянского труда –

Из риги синий дым; снопы... еще снопы... (С. 58)

Живя в Метсякюля, на плодородной земле, поэт становится очевидцем и сенокоса, и сбора урожая, и сева озимых. Гарднеру близки образы финской народной поэзии, в его стихах звучит кантеле, а сосны и болота слагают свои «руны»:

И руны сосен и болот, И звуки кантеле старинной... «Из дневника поэта» [Гарднер, 1990. С. 124]

Пользуясь калевальским стихом, он пишет в 1932 г. свою руну об Илмаринене, одном из главных героев «Калевалы». Гарднер останавливает свой выбор на кователе Сампо и потому, что с этим героем связан образ огня, света, столь любимый поэтом, и потому, что Илмаринен – кузнец, кователь, человек труда:

В старой кузнице краснеет В очаге огонь ретивый, ... Алым блеском озаренный, Показался Ильмаринен. «Купол церкви православной...» [Гарднер, 1990. С. 130].

Илмаринен необходим Финляндии, чтобы рассеять «тучи серые <...> над Суоми», разогнать «чернокрылых ворон». «Огонь ретивый» в кузнице Илмаринена сливается в стихотворении с блеском от купола православной церкви:

Купол церкви православной Бледным золотом блистает Над туманным финским лесом. [Гарднер, 1990. С. 130]

«Алый блеск» Илмаринена и блеск «купола православной церкви» в стихотворении соединены, это два источника света, поддерживающие друг друга. А через пять лет в его «Сонете (обратном, нестрогом)» 1937 г. только одна звезда будет светить над черным лесом: «Вдруг засиявший теплый веры луч» (с. 46).

С началом советско-финляндской войны всем жителям Карельского перешейка пришлось срочно покидать родовые имения и уезжать в неизвестные уголки Финляндии. Многие хотели остаться. В разговоре с автором этих строк Мария Францевна Гарднер рассказывала, что русские жители Карельского перешейка

собирались с приходом советских войск остаться жить в своих домах, но уже на территории Советского Союза. Они знали о ссылках («Г.П.У. справляет шабаш свой» – писал Гарднер еще в 1928 г. в стихотворении «Наводнение 1924 г.» [Гарднер, 1990. С. 100]). Они были готовы ко всему, но не к переезду в Хельсинки. Оставаться в своих домах было запрещено [Гарднер, 1997]:

Мчит нас, мчит автобус. Все родное Все, что близко нам было, – вдали. «Едем мы. Позади нас пожары». С. 79

Поэт познает всю тягость «лямки беженца», предчувствуя, что жизнь в Хельсинки будет «не его жизнью»: «Вся эта жизнь не моя» [Гарднер, 1990. С. 126]. В 1942 г. поэт создает «Нюландский сонет» (впервые опубликованный лишь в 1987 г. в «Русской мысли» в Париже), где признается, что в душе все оборвалось, что не вызывают больше сочувствия ни «безмолвие камней», ни «закрытые сердца»:

О, Гельсингфорс, излюбленный ветрами, Ты мало, горделивец, мне знаком. По стогнам я твоим бродил пешком. Но ты с двумя своими языками Не близок мне; стеной они меж нами. [Гарднер, 1990. С. 111]

Оставляя Карельский перешеек, поэт понимает, что он теряет родину. В стихотворениях позднего Гарднера образ Финляндии-родины, созданный в сборнике 1908 г., превращается в образ Финляндии-чужбины: «Мы маемся тут на чужбине» («Твои неохватные дни...» [Гарднер, 1990. С. 143]). А родиной становится уже недосягаемая Россия:

В груди мы храним твою душу, Родимая наша страна. «России». С. 61

В «Алкеевых строках» 1943 г. поэт будет уже не Илмаринена, а славянского бога Сварожича молить «рассеять мрак финский»:

Сварожич мощный, щит и оплот славян, Рассей мрак финский, дай нам тепла опять. [Гарднер, 1990. С. 161]

В стихотворении «Здесь и там» Гарднер сравнивает зимнюю Россию и Финляндию, казалось бы, один и тот же ландшафт, один и тот же снег, так же дети катаются на лыжах и коньках, играют в снежки,

Но все эти шалости, игры – Забавы не русских детей. Не наши здесь деды морозы Хрустят под ногами ветвей... [Гарднер, 1990. С. 93] В чем разница между финской и русской зимой? Для поэта зима в России «как-то сказочней»:

И сказочней как-то в России Снегов голубое сребро. Мечтательней наши подростки, В них больше огня и души, Чем здесь в молчаливой Суоми, В болотной карельской глуши... [Гарднер, 1990. С. 94]

Именно в Финляндии во времена «распятой красоты» (с. 160) возникает подлинная любовь поэта к России, он пишет цикл стихотворений: «Я в Руси», «Святой Руси», «Грядущей Руси». И, как Алеша Карамазов у Достоевского, приемлет в России все:

Все приемлю и нежно люблю – Вот зачем о Руси я скорблю. [Гарднер, 1990. С. 72]

Ну а Финляндия? Она осталась «белозвездной вселенной» с «чуждыми душами». В 1942 г. Гарднер пишет «Октавы», в которых признается:

Мне север люб. Мила его природа, Но чужды часто души северян. [Гарднер, 1990. С. 158]

Несмотря на «чуждость» северян, Гарднер любил «воздух севера», «мир таинственных сказаний», «полночную Красоту».

И если бы не война 1939 г., не потеря дома на Карельском перешейке, не надорванные струны гарднеровской лиры, возможно, образ Финляндии, созданный поэтом, был бы более светлым, а сам Гарднер остался бы в истории русской поэзии певцом «разноцветного» гранита, сосен и моря – всего того, что он так любил в молодости.

Сотрудница Славянского отдела библиотеки Хельсинкского университета Вера Сергеевна Булич (1898–1954), так же как и Вадим Гарднер, оказалась после закрытия границы в собственном родительском доме на Карельском перешейке на территории другого государства. Культура Финляндии не была для нее чужой. Булич переводила с финского и шведского языков поэзию Катри Вала, Ууно Кайласа, Эдит Сёдергран, Элви Синерво, знала и любила творчество Эйно Лейно. «Поэт смирился со своей участью скитальца, - пишет о Булич исследовательница из Йоэнсуу Н. Башмакова, - и творит на стыке культур <...> она, пожалуй, единственная питала живой интерес к окружающей инородной культурной среде, включала ее органически в свое творчество» [Башмакова, 1992. S. 171-173].

Уже в первом сборнике «Маятник» (1934) появляется образ Финляндии, но лишь как фон, на котором разворачивается лирический сюжет ее стихотворений. В сборнике «Бурелом» 1947 г. почти все стихотворения связаны с прошедшими войнами. Поэтесса, для которой обе страны были родными, создает свои стихи-молитвы и за Россию, и за Финляндию – за «две рядом стоящие планеты»:

И знамением над зарею – Двух рядом стоящих планет Сверкает двойною игрою Апокалиптический свет. «Суровая зима». 1939–1941 [Булич, 1947. С. 32]

Образ Финляндии в этом «военном» сборнике не становится негативным. Но в стихотворениях о Хельсинки, о финской природе и финнах теперь постоянно присутствует «взгляд на восток» («Гельсингфорс на заре», «Папироса "Беломорканал"», «Эмигрант», «Бурелом»). Поэтесса включает в сборник и довоенные стихотворения 1930-х гг., написанные после «Пленного ветра», одно из которых – «Гельсингфорс на заре» (1938) – содержит вдохновенное живописание финской архитектуры и сюжет о чувстве Е. Баратынского к красавице Авроре Карамзиной, возникшем «под светом северных небес».

Осталось ли что-нибудь в Хельсинки в наследие от времен Баратынского и Авроры, задумывается поэтесса. Да, осталось. Сам простор утреннего города и «тот же взгляд – в разлуке – на восток» (с. 9).

Трагизм судьбы В. Булич проявился в стихах военного времени, в ее известном стихотворении «Бурелом», в цикле «Суровая зима». Поэтессе представляется свое поколение буреломом, а собственная душа – сиротой:

Броди, душа, по миру сиротой, И в дом чужой ты заходи с опаской. «Бурелом». 1944. С. 51

Но как бы ни хотела поэтесса не обольщаться чужой теплотой, тепло она находит именно в «чужом углу», ибо в своем – «тьма нежилая»:

Присядем, Муза, у огня, У жаркой деревенской печки. Не для тебя, не для меня Горят рождественские свечки. Из милости в чужом углу Мы приютились втихомолку...

(C.30)

На земле нет благополучия, но и звезды над головой – чужие, ведь родина – это «небо в знакомых звездах» («Родина». С. 59).

Поэтесса испытывает ненависть к войне, но к солдатам обеих воюющих сторон она относится по-матерински. Без злобы пишет В. Булич о финнах, рассматривающих фотокарточки двух девушек, подруг погибшего русского политрука.

Русских женщин красота нежна, Любовались финны-офицеры. «Папироса "Беломорканал"». С. 46

Финны для поэтессы – народ, судьба которого не менее трагична, чем судьба народа русского. «Трагична бывает судьба поэта. Достаточно вспомнить наши русские имена <...> Судьба финского поэта, может быть, трагичнее» [Булич, 1947. С. 5]. Поэтесса восхищается новаторством поэзии «пламеносцев» (Tulenkantajat) и той упорной волей, с которой они вели борьбу за утверждение своих идеалов и за свою собственную жизнь, проявляя «знаменитую национальную черту финского характера» [Булич, 1947. С. 6]. Возможно, у финских поэтов В. Булич училась преодолевать трудности. Стихи самой Веры Булич поддерживали во многих русских волю к жизни, оптимизм и надежду.

Русские поэты, жившие в Финляндии между двух войн, для кого Финляндия была действительно родиной, осознавали ее родной, но неласковой страной, а себя нелюбимыми детьми, пасынками.

Переход границы изображался в русской поэзии и прозе по-разному. Это было и реальное пересечение границы с ее таможенными правилами, полицейским надзором, проверкой паспортов, и духовный путь от разобщенности к синтезу, от географических границ к границам бытия, и поэтическая дорога от мира внешнего к миру внутреннему, от двух источников света к свету единому. Образы Финляндии и России, видоизменяясь, в сознании русских авторов, живших возле границы, существовали нераздельно, по выражению Веры Булич, как «две рядом стоящие планеты».

Литература

Башмакова Н. «Мы говорим на разных языках» // Slavica Helsingiensia 11. Studia. Russia Helsingiensia et tartuensia III. Helsinki. 1992. S. 171–173.

Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. 468 с.

Булич В. Бурелом. Гельсингфорс: [Б.и.], 1947. 70 с.

Булич В. Ууно Кайлас и Катри Вала // Русский журнал. Хельсинки, 1947. С. 5–10.

Гарднер В. У Финского залива. Избранная лирика / Сост.: Т. Пахмусс, Б. Хеллман; вступ. ст. Т. Пахмусс. Хельсинки: Гранит, 1990. 180 с. Гарднер В. Избранные стихотворения / Сост.: О. Б. Кушлина, П. Х. Тороп / Предисл. Д. М. Магомедовой. Заключение П. Х. Тороп. СПб.: Акрополь, 1995. 96 с.

Гарднер М. Ф. Запись беседы от 4 июня 1997 г. Хельсинки. Личный архив Е. Г. Сойни.

Зайцев Б. К. Валаам. Таллинн: Странник, 1936. 80 с.

Раудар М. Север и Скандинавия в лирике Блока // Скандинавский сб. Таллин: Ээсти раамат, 1982. Вып. 27. С. 182–198.

Савин И. Только одна жизнь. Нью-Йорк, 1988. Савина-Сулимовская Л. В. [Пометки на полях]. К читателям // Савин И. Только одна жизнь. Нью-Йорк, 1988. С. 8–10. Архив библиотеки Русского купеческого общества. Хельсинки.

Случевский К. К. Стихотворения. Поэмы. Проза / Вступ. ст. и примеч. Е. В. Ермилова. М.: Современник, 1988. 432 с.

Чагин А. И. Пути и лица. О русской литературе XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 600 с.

Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991. 545 с.

Шмелев И. С. Старый Валаам. Checoslovaguie. 1936. 160 c.

Kailas U. Runoja. Helsinki: WSOY, 1966. 260 s.

Pesonen P. Venäläiset Symbolistit ja Suomi // Kirjallisuudentutkijain Seuran vuoskirja. 1977. N 30. S. 1–16.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Сойни Елена Григорьевна

старший научный сотрудник, д. филол. наук Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: soini@krc.karelia.ru

тел.: (8142) 781886

Soini, Helena

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: soini@krc.karelia.ru tel.: (8142) 781886 УДК 811.311

НАСЛЕДИЕ САВОЛАКСОВ В ТОПОНИМИИ КАРЕЛИИ*

Д. В. Кузьмин

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Саволаксы – одна из народностей финского этноса. В статье предлагается анализ ряда саволакских топонимных моделей, ареал которых распространяется на территорию современной российской Карелии, что может свидетельствовать о притоке сюда восточнофинского населения из Финляндии с территории Саво.

Ключевые слова: топонимия, антропонимия, этническая история.

D. V. Kuz'min. SAVONIAN HERITAGE IN THE TOPONYMY OF KARELIA

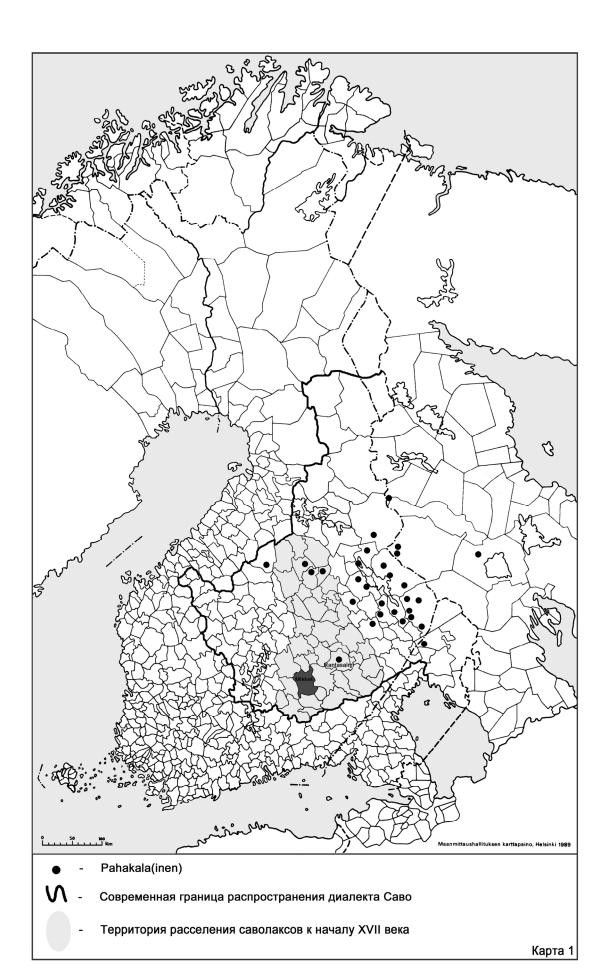
Savonians are one of the ethnic groups of Finns. The paper presents an analysis of several Savonian toponymic models, which range covers the territory of modern Russian Karelia. This range may indicate the influx of the Eastern Finnish population from the territory of Savonia (Finland).

Key words: toponymy, anthroponymy, ethnic history.

Саволаксы являются одним из ответвлений древней корелы, связь с которой они стали постепенно утрачивать после передачи Швеции трех карельских погостов (Саволакс, Яски и Эвряпя) согласно условиям Ореховецкого мирного договора 1323 г. Переселение древних карелов с территорий, прилегавших к Ладожскому озеру, началось в начале второго тысячелетия н. э. С этого времени можно говорить и о начале формирования племени саволаксов [Pirinen, 1988a. S. 15]. Главной причиной переселения карельского населения на будущие южносаволакские территории - окрестности озера Саймаа – была пушная промысловая деятельность, которая активизировалась на рубеже тысячелетий в связи с усилением спроса на пушнину [Pirinen, 1988b. S. 356]. В конце Средних веков северная граница расселения саволаксов проходила

приблизительно по северной границе современного прихода Миккели, расположенного в юго-восточной части Финляндии (карта 1) [Soininen, 1961. S. 31]. Однако уже в середине XVI в. усиление налогообложения и похолодание климата, прирост населения и практикуемое саволаксами подсечное земледелие стали теми причинами, которые вызвали активное освоение ими обширных территорий к северу, западу и востоку от своих коренных территорий [Jutikkala, 1958. S. 98-99]. При этом современные северосаволакские территории, с которыми граничит Беломорская Карелия, были заселены ими не ранее первой половины XVII в. Так, например, на территории финляндской провинции Кайнуу, непосредственного соседа западных частей карельского Беломорья, еще в середине XVI в. не было постоянного населения, а многие ее современные поселения ведут свой отсчет только с начала XVII в. [Keränen, 1986. S. 345, 391].

^{*} Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 11-34-00337а2.



Вопрос о продвижении саволаксов на территорию Карелии до сих пор специально не ставился, поскольку в распоряжении исследователей не было надежного дистрибутирующего материала. Исследования в области топонимики предоставляют в наше распоряжение такой материал. В статье предлагается анализ нескольких выявленных нами саволакских топонимных моделей, ареал которых распространяется на территорию Карелии, главным образом в Беломорскую Карелию, и может, таким образом, свидетельствовать о притоке сюда восточнофинского населения.

1. Pahakala. Примером освоения Карелии с территории финляндской Северной Карелии, которая граничит с современной российской Средней Карелией, может быть лимнонимная модель Pahakala(lampi) (букв. плохая рыба), которая фиксируется в российской Карелии в 4 местах: это три небольших озера Pahakala в окрестности деревень Чиассалми, Реболы и Короппи, располагавшихся в Средней Карелии, а также озеро Pahakala в районе бывшей деревни Тетринаволок, находившейся на югозападе Беломорской Карелии.

Очертания ареала и его плотность на разных участках указывают на то, что данный тип наименования появился именно в финляндской Северной Карелии (карта 1), т. е. на территории распространения северо-восточных саволакских говоров финского языка.

Финляндский исследователь Э. Кивиниеми предполагает, что основанием номинации объектов данного типа могла стать скудность водоемов с названием Pahakala рыбой. Однако информанты на территории Финляндии отмечают, что некоторые из озер рассматриваемого типа являются рыбными, что заставляет усомниться в предложенной интерпретации. В карельском языке, например, слово paha используется в значении «маленький, незначительный», таким образом, можно предположить, что основанием номинации озер мог стать небольшой размер обитающих в них рыб. Подтверждением этого может быть сведение об озере Pahakalainen с территории бывшего карелоязычного прихода Корписельга в Финляндии, в котором, по словам информаторов, ловился только окунь незначительного размера [NA].

Поскольку модель Pahakala выступает в Карелии и Финляндии в наименовании небольших по размеру озер, а также фиксируется на достаточно ограниченной территории, данный тип не может быть древним в ареале своего распространения. В связи с этим Э. Кивиниеми считает, что данная модель могла появиться не более двух веков назад [Kiviniemi, 1990.

S. 215]. Впрочем, в одном из документов 60-х гг. XVI в. с территории прихода Рантасалми, находящегося в Пиен-Саво (букв. Малое Саво), упоминается название *Pahankalan randa* [Alanen, 2006. S. 115]. Таким образом, данная фиксация свидетельствует о том, что модель существовала уже в XVI в., кроме этого, она указывает, на наш взгляд, и на возможную территорию появления самой модели.

Нет сомнений, что в Карелию тип был перенесен новопоселенцами из финляндской Северной Карелии. Судя по ареалу, модель не проникла вглубь территории Карелии, а сконцентрировалась в приграничье. Это ареал согласуется, например, с зафиксированным в начале XX в. в юго-западной Беломорской Карелии родовым преданием о заселении деревни Тетриниеми, находившейся в Контокской волости. Согласно ему, предки рода Богдановых переселились на рубеже XVIII-XIX вв. из Нурмеca [Engelberg, 1912. S. 102; Itkonen, 1928. S. 1], который располагается как раз на территории финляндской Северной Карелии и где, как свидетельствует картотека ономастического архива Финляндии, тип Pahakala фиксируется в топонимии указанного населенного пункта.

Требует комментариев вопрос об этнических истоках населения, которое могло перенести данную модель с территории современной Финляндии в российскую Карелию. Из истории известно, что этот регион входил до заключения Столбовского мирного договора в состав Карельского уезда и был заселен преимущественно карелами. Однако после событий середины XVII в. большая часть карельского населения покинула эту территорию, переселившись в Россию. Таким образом, если бы тип был продуктивен в тот период истории в среде карелов, то стоило бы ожидать более многочисленных фиксаций модели в российской Карелии. Однако здесь тип малопродуктивен. В связи с этим можно полагать, что названия озер Pahakala могли появиться в северной части бывшего Карельского уезда уже после событий исхода карелов с родовых территорий, т. е. с приходом сюда восточнофинского населения из Саво. В самой Финляндии тип был, по всей видимости, продуктивным непродолжительное время, поскольку не получил широкого распространения за пределами территории северо-восточного саво.

В то же время нельзя исключить, что распространение модели связано не только с отселением восточнофинского населения, но и с возможным переселением к соплеменникам в Россию отдельных представителей или какой-то группы карельского населения, которая

могла усвоить данную модель от саволаксов. При этом переселение уже не носило массового характера и датируется периодом не ранее последней четверти XVII в.

2. -vesi. Интересный, хотя и не бесспорный пример проникновения саволакского населения на территорию Карелии отражает топонимическая модель с детерминантом -vesi 'вода', широко представленная в топонимии саво (карта 2). Данная модель используется для называния озер, причем таких, которые являлись на ранних этапах истории важными водными магистралями [Hakanen, 1989. S. 55].

Данный тип уходит своими корнями в Средние века. При этом первые фиксации относятся к коренной территории средневековой корелы в окрестностях Выборга. В документе Ореховецкого мирного договора 1323 г. упомянуты два названия рассматриваемого типа — Ylävesi и Suomenvesi [Кочкуркина и др., 1990]. Документ указывает также на то, что это территории традиционного карельского землепользования, поэтому в действительности возраст топонимной модели может быть и более древним.

Иначе говоря, можно предположить, что модель могла родиться в древнекарельской среде на северо-восточном побережье Финского залива. В одном ряду находится упомянутое в одной из новгородских берестяных грамот, датируемой рубежом XIV–XV вв., озеро Коневые воды, которое без сомнения является переводной калькой карельского названия Orihvesi с территории Иломанского погоста Карельского уезда. Здесь же, а также на промысловых карельских территориях, отошедших в 1621 г. Швеции, фиксируются и другие названия рассматриваемого типа: ср. Rikkavesi (XV в.), Puruvesi (XV в.), Kallavesi (1461 г.) и др.

Стоит, однако, отметить, что модель все же слабо представлена на коренных карельских территориях в Приладожье. Возможно, что рассматриваемый тип на -vesi к моменту заключения Ореховецкого мирного договора еще не получил широкого распространения, и тем самым после передачи Швеции трех карельских погостов Яски, Саволакс и Эвряпя функционирование модели и ее распространение происходило уже в среде формирующегося саволакского населения.

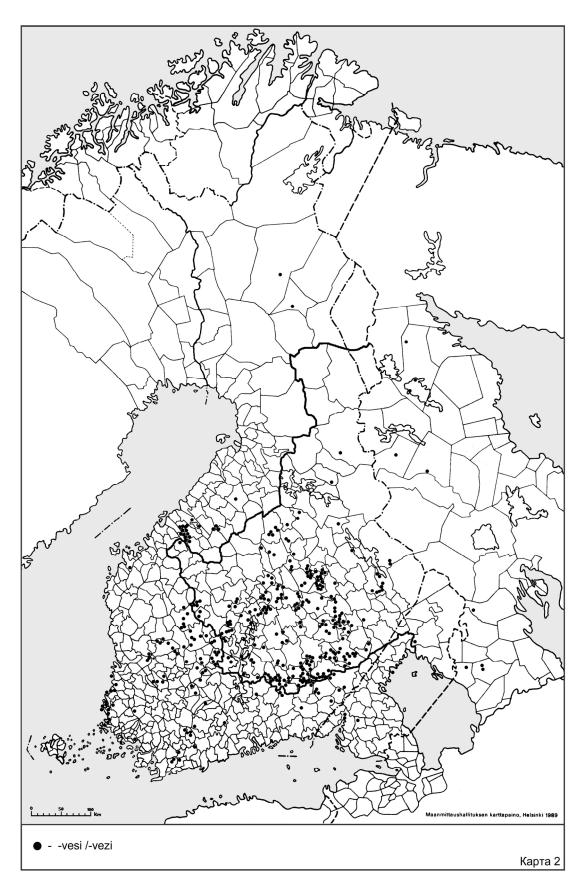
Современное распространение модели практически полностью вписывается в границы бытования диалекта саво. На мой взгляд, модель набирает популярность в Саво, а также в северных частях бывшей губернии Хяме, граничащей с губернией Саво, начиная с конца XV в. и распространяется оттуда с оттоком населения на новые места проживания. Своего

же расцвета модель достигает, по всей видимости, к середине XVI в.

К концу XVI – началу XVII в. модель теряет уже свою популярность в среде саволакского населения, о чем свидетельствует топонимия с территории северного Саво, например, Кайнуу, где тип на -vesi имеет единичные фиксации. Тем не менее модель продолжает использоваться для наименования новых объектов и после середины XVI в. В качестве примера можно привести название озера Kiuruvesi в Центральной Финляндии, которое в его современном написании фиксируется только с 1625 г., хотя в документах 1546–1562 гг. оно известно еще как Kiuru Jerffwi [Suomalainen paikannimikirja, 2007].

Подтверждают высказанную мысль и данные с территории Карелии. В современной Карелии модель имеет, на мой взгляд, именно саволакские корни, хотя, как уже отмечалось выше, сама модель изначально может являться карельской по происхождению. В топонимии российской Карелии известно 9 названий, которые содержат детерминант -vesi/-vezi. Из них четыре названия зафиксированы в топонимии ливвиковского ареала в Южной Карелии: ср. озера-ламбины Buoluvezi (Topocosepo), Soudovezi (Keckosepo), Ristuvezi (Кукойваара), Kalavezi (Сяпчезеро), и пять - в Беломорской Карелии, главным образом в ее северных частях, ср. Liinavezi (Пизьмагуба), Suovesi (Костамукша), Halkivesi (Кестеньга), Niskovesi (Кукасозеро) и Valaisvesi (Валасрека). На то, что название на *-vezi* могло быть перенесено с территории современной Финляндии, указывает, на мой взгляд, и наименование деревни Kukoinvuaru у ливвиков, поскольку детерминант -vuaru со значением 'возвышенность' не свойствен в целом ливвиковской топонимии и может быть свидетельством того, что ее основатели могли быть переселенцами как из Саво, так и из Корельского уезда.

Кроме этого, известно два названия на -vesi/-vezi с карелоязычной территории финляндской Рая-Карьяла: ср. часть Ладожского озера Laččuvezi (Пелдойне) и озерко Lähdevesi (Алатту). Как и на территории Финляндии, модель выступает на севере Карелии в наименовании частей крупных водоемов, таких, как, например, Топозеро и озеро Нюк. В то же самое время на юге Карелии у ливвиков она представлена в наименовании относительно небольших озер-ламбин. Модель, по всей видимости, является в топонимии Карелии достаточно поздней, поскольку известно, что саволаксы начинают активно осваивать территории к северу и востоку от своей прародины, начиная, главным образом, с XVII в., таким образом,



и распространение названий на *-vesi* в Карелии может быть увязано с этим периодом истории. Кроме этого, известно, что основной

этап освоения северных частей Беломорской Карелии начинается только на рубеже XVII–XVIII вв. Так, например, Кестеньга упомянута

новообразовавшимся однодворным поселением в 1679 г., в то время как двудворная деревня Валасрека появляется впервые в документах только в 1723 г.

В то же время нельзя исключить возможности появления названий на территории карельского Беломорья и в более раннее время. Так, документ 1626 г. сообщает, что из Кексгольмского лена (Корельского уезда) пришли на север Беломорской Карелии, на Топозеро, где располагались деревни Кестеньга и Валасрека, четыре брата-крестьянина, которые являлись шведскими подданными. Через два года эти «немчины» явились в Колу с просьбой крестить их в православие. Власти велели переправить беглецов к Белому морю в Кереть. В том же 1628 г. царь потребовал отдать «выходцев» шведам [Жуков, 2003. С. 100–101]. Однако неизвестно, был ли этот приказ выполнен.

Предания о заселении некоторых деревень, а также немногочисленные исторические документы, в которых упоминаются поселения, в топонимии которых зафиксированы названия с детерминантом -vesi, также могут быть использованы в качестве свидетельства прихода населения с территории Финляндии. Так, например, в 1763 г. в деревне Пизьмагуба проживал Петр Фофанов, который прибыл с территории Шведского государства и принял православие [Pöllä, 1995. S. 172]. Согласно родовым преданиям, которые были зафиксированы в XIX в. в деревне Костамукша, представители всех трех коренных родов этой деревни переселились на рубеже XVII-XVIII вв. с территории Финляндии: Ватанены (упом. в 1679) из местечка Leppävirrat [Itkonen, 1928. S. 1], по другой версии из lisalmi [Juvelius, 1888. S. 65]; оттуда же родом были Ругоевы [Juvelius, 1888. S. 65]. Родиной жителей с фамилией Пекшуевы (упом. в 1679-м) упомянуто Kiuruvesi [Juvelius, 1888. S. 65]. Все населенные пункты, о которых идет речь в преданиях, находятся в Центральной Финляндии, на территории бытования диалекта саво, и в топонимии этих мест тип на -vesi известен.

3. Hoikka-. Следующий пример отражает противопоставление топонимных основ hoikka-(кар. hoikka 'узкий') и kaita- (кар. kaita 'узкий') в названиях узких по форме озер и представляет собой так называемую ареальную семантическую оппозицию, когда одна и та же идея выражается разными этноязыковыми коллективами по-разному.

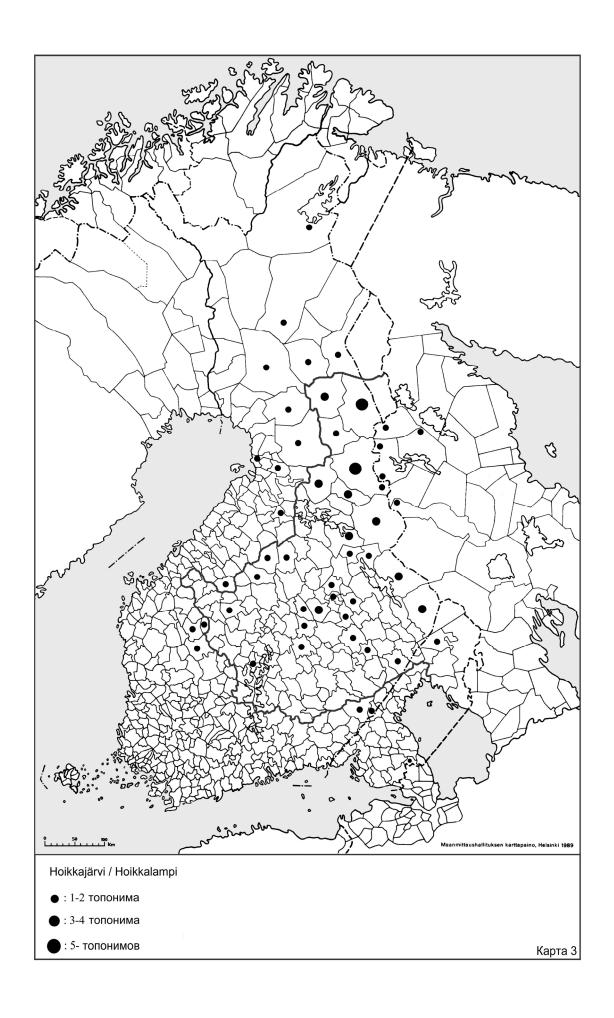
На карте видно, что модель hoikka- широко бытует в ареале Саво, практически вписываясь в границы последнего (карта 3). Особенно продуктивна она, судя по густоте сетки названий Hoikkajärvi и Hoikkalampi, в восточном Кайнуу. Можно полагать, что именно отсюда модель проникла на восток, в Беломорскую Карелию, где представлена шестью фиксациями: в деревнях Кандонаволок, Регозеро, Лапукка, Войница, Хиетаярви и Минозеро. Все они группируются на самом западе беломорского ареала и неизвестны за пределами этой территории. Все остальное Беломорье, а также карельские территории к югу от него, вплоть до Приладожья, используют в названиях узких озер модель Kaitajärvi. Исходя из этого, можно полагать, что тип hoikka- в западной Беломорской Карелии может быть связан с саволакскими корнями и противостоит собственно-карельской модели kaita-.

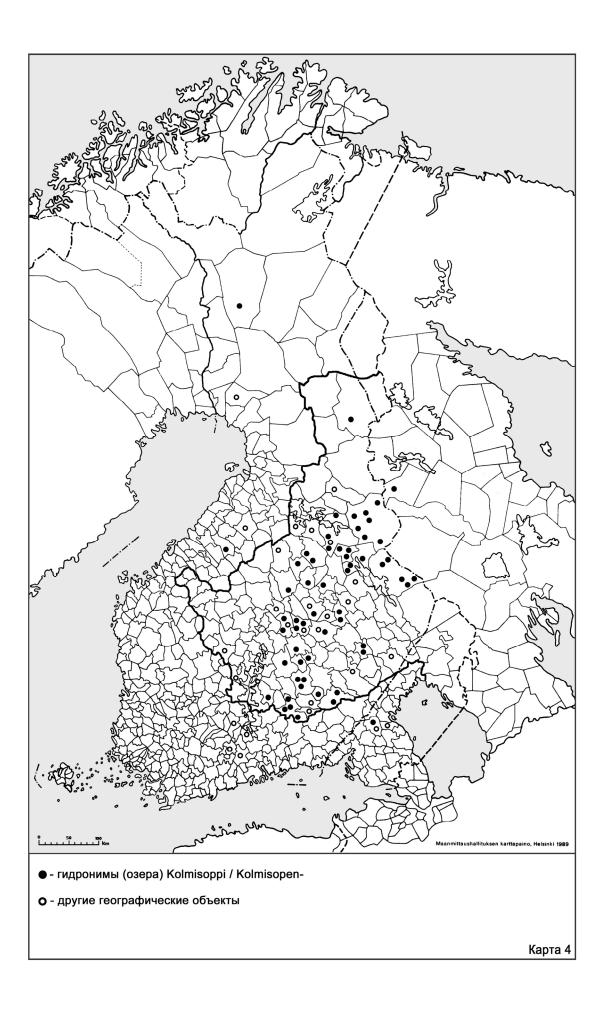
Карта Клаеса Клаессона 1650 г. по территории Кайнуу и смежных районов Беломорской Карелии позволяет высказать некоторые соображения о хронологии данной саволакской модели в западном Беломорье. Дело в том, что на ней отмечено озеро под названием Hoika jerfui (*Hoikkajärvi) в окрестностях беломорской деревни Лапукка [КА, МН 107/2 D 3/1]. Следовательно, уже в середине XVII в. модель была известна в Беломорье и не могла, видимо, появиться здесь раньше второй половины - конца XVI в., когда, как известно, начинается освоение Кайнуу со стороны Саво [Räisänen, 1990. S. 107]. Таким образом, ареал гидронимной модели Hoikkajärvi объединяет Беломорскую Карелию с восточной Приботнией, позволяя предполагать единые истоки модели и, соответственно, населения.

4. Коlmisoppi. На территории Восточной Финляндии хорошо известна также лимнонимная модель *Kolmisoppi*. При этом ее распространение четко ограничено границами бытования говоров диалекта саво (карта 4), что свидетельствует о том, что модель названия имеет саволакские корни.

Топоним *Kolmisoppi* восходит к сложному по структуре слову со значением 'треугольный или с тремя углами'. Во всех случаях речь идет об объектах, которые по форме напоминают треугольник, что подтверждают как объяснения информаторов, так и форма самих объектов.

В Карелии зафиксировано только одно название рассматриваемого типа – это озеро *Коlmisoppi* в окрестностях деревни Контокки. При этом присутствие его в западной части Беломорской Карелии укладывается в рамки единого с Финляндией ареала. Таким образом, оно имеет те же истоки, что и соответствующие названия в Кайнуу и финляндской





Северной Карелии (район озера Пиэлинен), и не противоречит предположению о появлении названий в результате отселения населения из Саво. Выше уже было отмечено, что саволаксы начинает осваивать территорию Кайнуу со второй половины XVI в., при этом основная масса населения переселяется туда на протяжении XVII в. [Räisänen, 1990. S. 107]. Именно к этому времени можно отнести и появление названия в окрестностях деревни Контокки.

Подтверждением этого может быть записанное в деревне Контокки предание, согласно которому род Петровых переселился в Беломорскую Карелию из Финляндии. В Контокках Петровы традиционно проживали в части деревни с названием Mäkkälä. Согласно данным топонимического архива Финляндии, основа mäkkäфиксируется в топонимии Финляндии единожды в приходе Рантасалми в Пиен-Саво (ср. мыс Mäkkälänniemi). Таким образом, можно предположить, что именно представители рода Петровых могли принести некогда данное наименование при переселении в Карелию.

5. Hietajärvi/Hietalampi. Следующий пример представлен топонимной моделью Hietajärvi/Hietalampi (песчаное озеро или песчаная ламбина). Апеллятив hieta со значением 'песок или мелкий песок' является западнофинским по распространению, в то же время он фиксируется ограниченно и на территории бытования восточнофинских саволакских говоров [SMK]. Помимо финского, апеллятив hieta известен также карельскому и ижорскому языкам [SSA], где, как и в восточнофинских говорах, больше все же распространен апеллятив hiekka с тем же значением.

Данный тип названий является достаточно древним, поскольку встречается уже в одном из описаний границы между Новгородом и Швецией на Карельском перешейке в 1400 г. (ср. *Hetajärfwij* < **Hieta-*) [Finlands medeltidsurkunder, 1910. S. 485].

Картографирование модели показывает (карта 5), что большинство названий на *Hietajärvi/Hietalampi* в Финляндии, так же как и в предыдущих случаях, находится на территории бытования саволакских говоров.

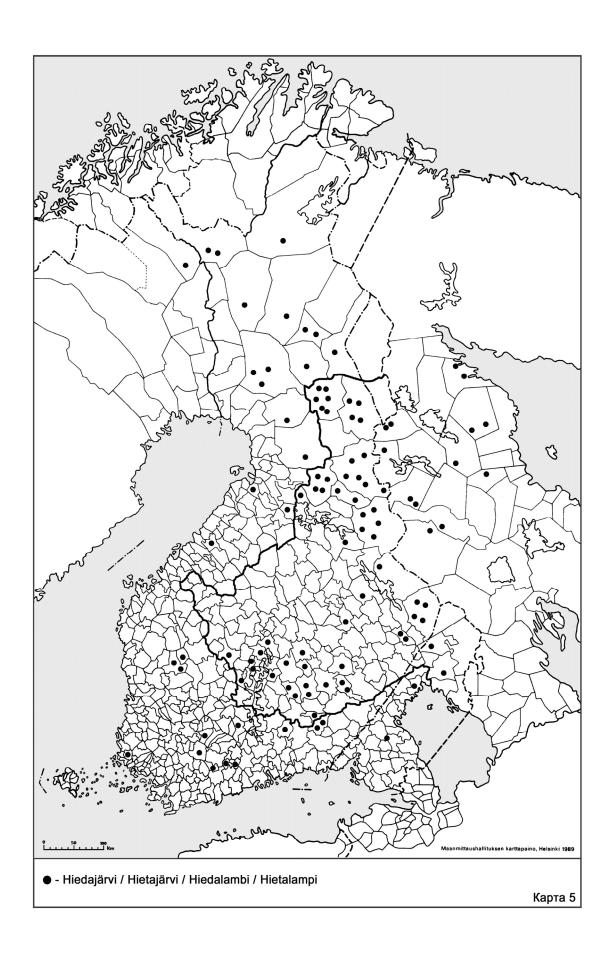
Вероятно, с миграционной волной из южного Саво тип распространяется позже в современную финляндскую Северную Карелию, а также далее на север Финляндии. Нам в данном случае наиболее интересны опять же названия на пограничной с Беломорской Карелией территории современной финляндской губернии Кайнуу. Судя по распространению названий на карте, данный тип наименования проникает в западные части Беломорской Карелии, а также на

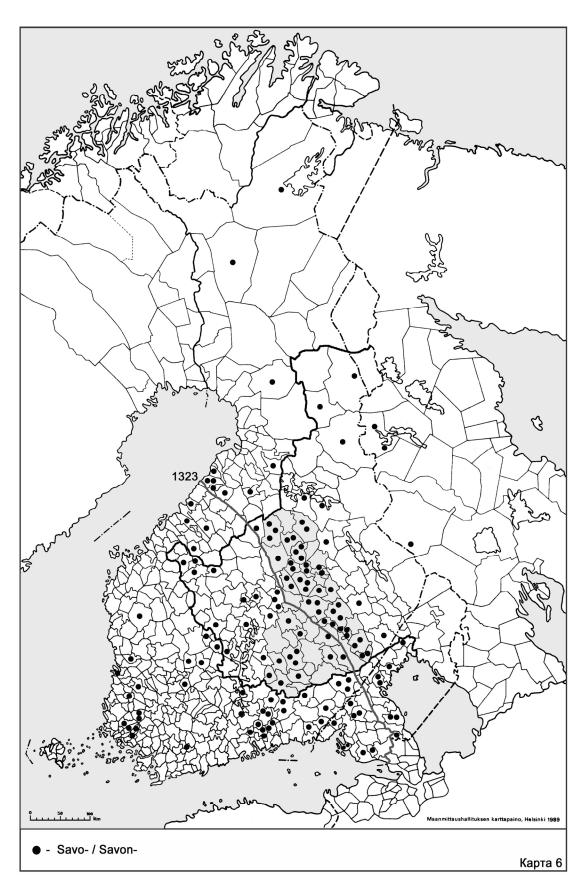
северные территории бывшей Олонецкой губернии именно отсюда. В Кайнуу в приходе Кухмо названия с атрибутом *hieta*- фиксируются, например, на уже упомянутой карте Клаеса Клаессона 1650 г. (ср. Hetaj. и Hetajerfui) [KA, MH 107/2 D 3/1]. Таким образом, так же как и модель hoikka-, тип на hieta- уже в середине XVII в. был известен на сопредельной с Беломорской Карелией территории и, как уже указывалось, не мог появиться здесь раньше конца XVI – начала XVII в. Здесь стоит упомянуть, что Кайнуу было заселено, главным образом, в процессе освоения его двумя колонизационными потоками: из Южного Саво, где, как упоминалось, модель могла появиться, а также из Похьянмаа [Kettunen, 1947. S. 81].

Следует, однако, иметь в виду, что апеллятив hieta известен и карельскому языку, что в принципе не исключает возможности появления, по крайней мере, ряда названий на Hietajärvi /Hiedalambi в среде карельского населения. Основа hieta-/hieda- относительно рано фиксируется и на территории Карелии. Об этом свидетельствует, например, название острова Хедостров (*Hiedasuari) в Онежском озере, упомянутое в документе XVI в. в районе Челмужей [МПИК, 386]. Кроме Челмужей основа hieta-/hieda- выступает также в названиях трех островов Белого моря (ср. Хедостров в окрестностях Кандалакши, Поньгомы и Унежмы). Появление двух последних названий можно отнести, по всей видимости, к периоду не позднее XV-XVI вв., после которого побережье Белого моря стало активно осваиваться русскоязычным населением.

С другой стороны, тип *Hietajärvi/Hietalampi* имеет на родовой карельской территории единичные фиксации, что может, на наш взгляд, свидетельствовать о том, что модель все же была перенесена как в Приладожье, так и в современную Карелию с запада (т. е. с саволакских территорий).

Подводя итог, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление в топонимии Карелии всех рассмотренных топонимных типов может быть увязано с освоением данного региона выходцами из Саво. Хотя обозначенные саволакские модели разновременны по происхождению, все они, на мой взгляд, не могли распространиться в топонимии Карелии раньше начала - середины XVII в. «Лакмусовой бумажкой» может быть в данном случае сопредельная с карельским Беломорьем территория Кайнуу, поскольку многие поселения здесь, как отмечалось выше, рождаются только к началу XVII в. К этому периоду истории соответственно необходимо привязывать и распространение саволакских типов в российскую Карелию.





Подтверждением этого может быть также распространение топоосновы savo(n)- «саволакс(кий)». В Карелии зафиксировано три на-

звания данного типа: ср. покос Savonurmi в Кибошнаволоке в Ребольской волости, а также скала Savo(n)kallivo и мыс Savoniemi в Толлореке

и Войнице в Беломорской Карелии. В основе данного названия в Войнице мог закрепиться и антропоним, поскольку в документе 1678/79 г. в Войнице упоминается род Савуевых [Pöllä, 1995. S. 84] (ср. кар. Savo(i) – рус. Савва, греч. Sabbas). Отметим при этом, что мыс находится непосредственно в деревне Войница. Тем самым полуостров Savoniemi мог быть местом жительства/однодворной деревней представителей этого рода.

Распространение названий на savo(n)- в Финляндии характеризует, по моему мнению, этническую ситуацию рубежа XVI-XVII вв. (карта 6). Ареал свидетельствует о том, что саволакская экспансия на север не перешла еще северных пределов Губернии Саво того времени. Тем самым можно предполагать, что современное Кайнуу было в тот период истории промысловой территорией, главным образом, карелов, а также финского населения Приботнии. Карта также показывает, что Пиен-Саво было некогда тем регионом, где происходило активное карело-саволакское контактирование. Отметим также, что согласно записанным в Беломорской Карелии родовым преданиям, часть населения, переселившегося в Карелию из Финляндии, была родом именно из Пиен-Саво.

Литература

Жуков А. Ю. Управление и самоуправление в Карелии в XVII в. Великий Новгород: НовГУ им. Я. Мудрого, 2003. 256 с.

Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные известия о карелах. Петрозаводск: Карелия, 1990. 42 с.

Материалы по истории Карелии XII–XVI вв. Петрозаводск, 1941. 386 с. (в тексте – МПИК).

Alanen T. Pien-Savon maantarkastusluettelo vuosilta 1562-64 / Toim. T. Alanen. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. 115 s.

Engelberg R. Kansantietoja Pohjois- ja Itä-Suomesta ja Venäjän-Karjalasta. Helsinki, 1912. 102 s.

Finlands medeltidsurkunder. 1400. Helsingfors, 1910. 485 s.

Hakanen A. Liekovesi ja Hauhajärvi // Sananjalka 31. 1989. 55 s.

Itkonen T. I. Karjalaiset // Suomen suku. II osa. Helsinki: Otava, 1928. S. 1–71.

Jutikkala E. Suomen talonpojan historia. Il painos. Turku: SKST, 1958. 480 s.

Juvelius J. W. Muistoja Pohjoisen Venäjän Karjalan muinaisuudesta. Helsinki: SKS, 1888. 65 s.

Kansallisarkisto (Национальный архив Финляндии) (в тексте – КА, последующие буквы и цифры обозначают номер дела).

Keränen J. Uudisraivauksen ja rajasotien kausi // Kainuun historia. Kajaani: Kainuun Sanomain kirjapaino OY, 1986. S. 203–597.

Kettunen L. Savolaismurteiden synty ja levinneisyys // Savon historia. I osa. Esihistoria ja keskiaika. Kuopio: Savon Sanomain kirjapaino OY, 1947. S. 65–82.

Kiviniemi E. Perustietoa paikannimistä. Helsinki: SKS, 1990. 215 s.

Nimiarkisto (Kotus. Helsinki) (в тексте – NA).

Pirinen K. Savonhistoria II: 1 Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534–1617. Pieksämäki: Kustannuskiila Oy, 1982. 270 s.

Pirinen K. Sukunimet keskiajan asutussuhteiden ilmaisijoina II // Sukuviesti 6. Helsinki, 1988a. 15 s.

Pirinen K. Savon keskiaika. Savonhistoria I. Toinen, kokonaan uudistettu laitos. Kuopio: Kustannuskiila Oy, 1988b. 356 s.

Pöllä M. Vienan Karjalan etnisen koostumuksen muutokset 1600–1800-luvulla. Helsinki: SKS, 1995. 172 s.

Räisänen A. Zur Entstehung des Namengutes in der Einöde Kainuus // Namenkunde in Finnland. Pieksämäki: Studia Fennica 34, 1990. S. 91–108.

Soininen A. M. Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa. Historiallisia tutkimuksia. Helsinki: Suomen historiallisen seuran julkaisuja LVIII, 1961. 31 s.

Suomalainen paikannimikirja. Jyväskylä, 2007. 500 s.

Suomen murteiden kokoelma (Kotus. Helsinki) (в тексте – SMK).

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. I. Helsinki: SKST 556, 2001. 469 s. (в тексте – SSA).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Кузьмин Денис Викторович

научный сотрудник, к. филол. наук Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: kusmiccu@hotmail.com

тел.: (8142) 781886

Kuz'min, Denis

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: kusmiccu@hotmail.com tel.: (8142) 781886 УДК 809.454 (084.4)

ВЕПССКИЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕКОТОРЫХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ СЮЖЕТАХ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАРТАХ ALFE: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КОНТАКТЫ

Н. Г. Зайцева

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье содержатся некоторые размышления по поводу группы терминов земледельческого характера, представленной на картах Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков (Atlas Linguarum Fennicarum = ALFE). Как показывает анализ, в именовании таких понятий, как «подсека», «борона», «сноп», «навоз, помет», «молотить» и некоторых других, вепсский язык, в противовес, например, карельскому, примыкает к юго-западной прибалтийско-финской зоне в союзе с эстонским языком и юго-западными финскими диалектами, свидетельствуя о раннем проявлении элементов земледелия у вепсского населения и в связи с этим отчасти проливая свет на северные границы древневепсского расселения.

Ключевые слова: лингвистическая география, атлас, прибалтийско-финские языки, вепсский язык, языковые контакты.

N. G. Zaitseva. VEPSIAN MATERIALS IN SOME HUSBANDRY-RELATED PLOTS IN ALFE LINGUISTIC MAPS: TRADITIONS, INNOVATIONS, CONTACTS

The paper communicates some thoughts about the group of husbandry-related terms from maps of the Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Analysis shows that in the naming of concepts such as «slash-and-burn», «harrow», «sheaf», «manure, dung», «thresh», and some others the Vepsian language, in contrast, for instance, to the Karelian language, adjoins the south-western Balto-Fennic zone in union with the Estonian language and south-western Finnish dialects, indicating elements of husbandry had appeared among Vepsian people quite early, and thus throwing some light upon the northern boundaries of the Old Vepsian settlement range.

 $K \, e \, y \, w \, o \, r \, d \, s$: linguistic geography, atlas, Balto-Fennic languages, Vepsian language, language contacts.

Лингвистические атласы могут быть посвящены какой-то одной проблеме, которая решается путем представления ее средствами лингвистической географии, могут быть многоплановыми, комплексными, дающими информацию о разных сторонах материальной и духовной культуры народов, интересных для различ-

ных научных дисциплин. Такого рода атласом является Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков [Atlas Linguarum Fennicarum = ALFE: см. Карта-основа 2, на которой проиллюстрированы современные ареалы расселения прибалтийско-финских народов. Все карты, использованные в данной

статье, подготовлены сотрудницей Научно-исследовательского центра (НИЦ) языков Финляндии Аннели Хяннинен], который создавался в течение почти двух десятков лет международным коллективом авторов из Финляндии, Эстонии, Карелии. Весь труд включает в себя три тома, которые вышли в 2004, 2007 и 2010 гг. Главным редактором всей работы был профессор Туомо Туоми из Финляндии, а каждый том имел собственного редактора: І том редактировал профессор Сеппо Сухонен из Финляндии, II том – профессор Тийт-Рейн Вийтсо из Эстонии, III том – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН В. Д. Рягоев. В первом томе сосредоточены карты, посвященные различным важным явлениям окружающей жизни: страны света, именования различных отрезков времени и дней недели, ориентация в пространстве и т. д., во втором - карты, посвященные анатомии и физиологии человека, его интеллектуальной деятельности, терминологии родства, животному и растительному миру, названию оттенков цветовой гаммы т. д., в третьем, представляющем особый интерес для этнологов, - карты, посвященные развитию терминов земледелия, животноводства, охоты, ремесел, домашнего хозяйства, средств передвижения и т. д.

Несмотря на то что целью лингвистического атласа является нанесение на карты языковых явлений, а географические реалии на нее не наносятся, материалы любого лингвистического атласа, несомненно, могут свидетельствовать о том, насколько ландшафтные реалии влияют на расселение людей, на расположение этнических сообществ и даже на формирование традиционных занятий и, таким образом, на распространение языковых явлений. Например, большие водоемы, с одной стороны, разъединяли людей, с другой стороны, соединяли, так как появлялись другие возможности для общения, другие магистрали для путей передвижения и языковых и культурных контактов. Это исключительно наглядно демонстрируют карты атласа. В качестве одного из примеров можно привести географические рефлексы по распределению слов kesä и suvi, обозначающих понятие «лето». Они характеризуют исторические морские контактные зоны: весь эстонский ареал и прибрежный юго-запад Финляндии с лексемой *suvi* противостоит остальной прибалтийскофинской зоне с лексемой kesä [см. карта «Лето (kesä/suvi)»; см. также ALFE, 2004. С. 303].

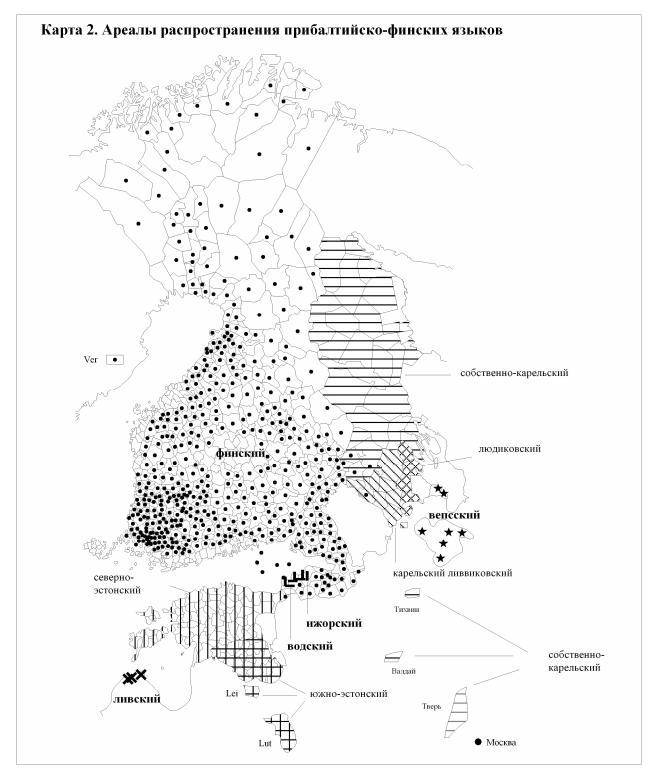
Если бы была возможность совместить лингвистические карты с их географическими реалиями, то можно бы проследить воздействие некоторых ландшафтных, административных и исторических факторов на распространение именно языковых явлений. Для возможности привлечения их к сопоставлению при исследовании к первому тому ALFE приложены карты диалектных ареалов, границ водных бассейнов, карты с нанесением на них постоянных поселений Финляндии XV в., монастырей в Средние века, крепостей в 1540-е гг., границ по Ореховецкому миру (1323 г.), по Тявзинскому миру (1595 г.), по Столбовскому миру (1617 г.) [см. ALFE, 2004. С. 456–464], которые также наложили свой отпечаток на развитие диалектных ареалов.

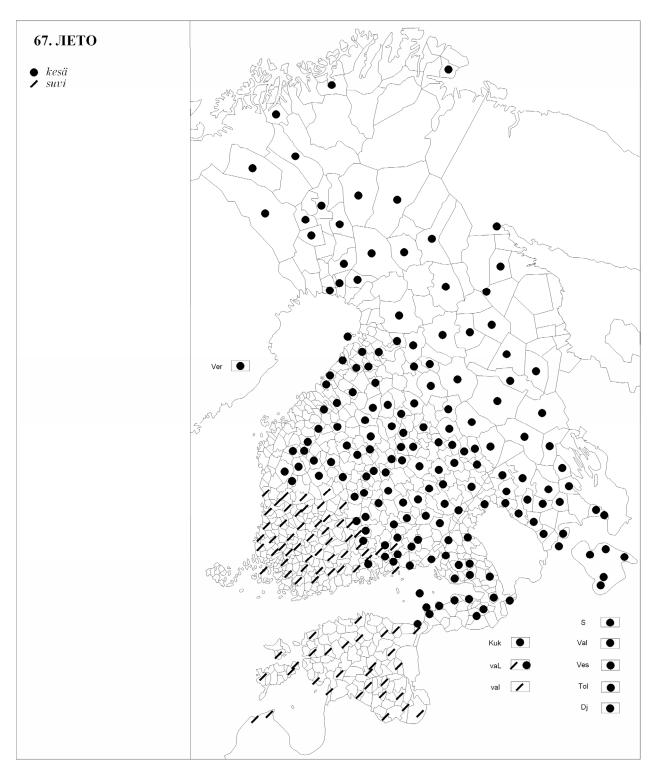
Как известно, влияние ландшафтных и географических факторов особенно наглядно проявляется в топонимике. Так, например, география распространения топонимов, сложившихся на основе прибалтийско-финской лексемы *пііпі* «липа», подсказала И. И. Муллонен идею о сельскохозяйственных приоритетах создателей названной топонимной модели [Муллонен, 2010. С. 17] вопреки уже бытующим в науке утверждениям об их главным образом промысловом характере жизнедеятельности. Исходя из ареала бытования данной топоосновы, отражающей реальные границы территории произрастания дерева, она пришла к выводу, что продвижение на север населения (в данном случае речь идет, прежде всего, о сложении северной границы вепсов), которое свою жизнедеятельность обеспечивало сельскохозяйственными занятиями, было проблематичным. В этом случае северная граница исторической вепсской территории накладывается на северную границу бытования топонимов с основой niini/-nin' «липа». Именно липа, как известно, является на севере маркером наиболее пригодных для земледелия земельных участков. Исходя из этого, автор идеи делает предположение о земледельческом характере вепсской традиционной культуры.

В этой связи отметим, что третий том ALFE содержит некоторое количество карт, посвященных земледельческим терминам, подтверждающим высказанную идею. Моменты подсечного земледелия, которое было своеобразной прелюдией к переходу на серьезные занятия земледелием, вепсами, как показывает материал, были освоены в полной мере [ALFE, 2010. С. 66], поскольку во всех диалектах без исключения функционирует лексема *kas'k* «подсека», свидетельствуя о ее правепсском наследовании. Этимологи, в свою очередь, полагают, что она является древним индоевропейским заимствованием [*hçaz-g(h)- <*hçes-«гореть»: Koivulehto, 1986. S. 171; SSA-I, 323; ALFE, 2010. С. 64-66], пришедшим именно

через распространение земледелия. Причем, войдя в прибалтийско-финские языки, данная лексема семантически разветвилась, приобретя ряд конкретных значений, которые также были обращены отчасти к подсечному земледелию. Вырубка лесов для занятий земледелием истощала лесной фонд, и земледельцы вынуждены были возвращаться к заброшенным подсекам, поросшим молодым лиственным ле-

сом, и таким образом слово *kaski*, обозначавшее первоначально «лес для сжигания», приобрело значение «молодой лиственный лес», а также «березовая ветвь» и «молодая береза» (последнее значение получило широкое распространение особенно в западных говорах Финляндии и эстонском языке), иллюстрируя возможности появления и развития семантических инноваций [ALFE, 2010. C. 63].





Сам термин kas'k в вепсском языке стал частью некоторых сложных слов, например, palo/kas'k «сожженная подсека», rebei/kas'k «костер для сжигания кострики». Лексема rebei/kas'k, несомненно, вносит элемент дальнейшего продвижения в фазах земледелия, более глубокого внедрения их в быт народа, о чем свидетельствует и возникновение их связи с народными поверьями. Как полагает исследователь вепсской мифологии И. Ю. Винокурова,

первая часть названного сложного существительного **reboi**(/kas'k) «лисица» использована не случайно: лексема *reboi* выступает здесь как символ огня, который характеризовал подсечное земледелие. Лисица символизировала огонь и у некоторых иных народов, например, у карелов, финнов, русских. Причем, по мнению И. Ю. Винокуровой, у русских этот мифологический образ может иметь прибалтийско-финское происхождение [Винокурова, 2006. С. 127–129].

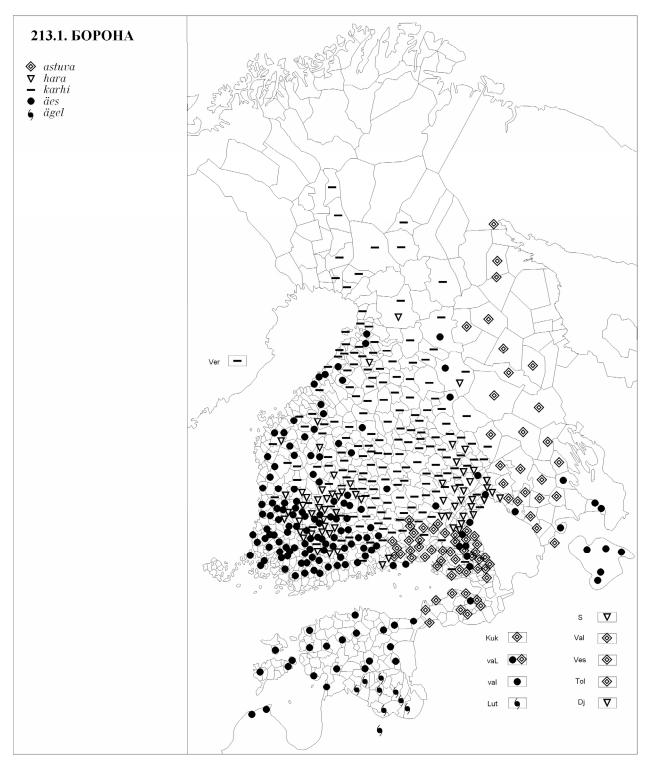
На вепсской почве, как впрочем и в родственных языках, возникли и иные лексемы, которые тесно связаны с подсечным земледелием. Это, прежде всего, термин palo «пожога; подсека» и разного рода сложные слова, в которых palo выступает в качестве определения видов работ или орудий труда, используемых при обработке подсеки, напр.: palo/kas'k «сожженная подсека», palo/pud «недогоревшие деревья на подсеке», palo/adr «соха, которую использовали на подсечном поле», palo/liib «хлеб, выращенный на подсеке», palo/nagriž «репа, выращенная на подсеке», palo/püuvaz «лен, выращенный на подсеке», palo/rugiž «рожь, выращенная на подсеке» и т. д. [см.: СВЯ, 1972. С. 398], характеризуя развитие подсечного земледелия. Слово palo легко объяснимо: это отглагольное существительное, происшедшее от исконного прибалтийско-финского глагола * $pala\delta ak$ [ср. вепсское palada «гореть». См.: SSA-II, 1995. S. 298] > существительное palo «сжигание; пожога; подсека». В этой связи интересно отметить, что суффикс отглагольного существительного -о в слове palo, продуктивный во многих родственных языках и некогда активно используемый в словообразовательной системе вепсского языка (напр., tego «действие, поступок» < tehta «делать»; pago «бегство» < pageta «быстро убежать, исчезнуть» и т. д.), стал восприниматься в нем сегодня неким анахронизмом и, к сожалению, практически не поддается возрождению в настоящее время - время воссоздания вепсской письменности и создания литературных традиций его языка. Причем это произошло достаточно давно, поскольку характерно для всех диалектов вепсского языка. Поэтому и понятие «пожар», которое также было предметом внимания коллектива создателей ALFE и которое в большинстве языков обозначается именно лексемой palo (или tuli/palo), в вепсском языке не имеет соответствия, а также и собственного наименования, называясь русским заимствованием požar [ALFE, 2004. C. 107].

С точки зрения истории развития земледельческой терминологии для вепсского народа интересны языковые и этнографические сюжеты, связанные с понятием «борона», обладающим в прибалтийско-финском регионе несколькими именованиями: äes, karhi, hara, astuva. Наиболее широко среди названных терминов представлена лексема äes, функционирующая в вепсском языке и сейчас в форме ägez. Она является наиболее древней и, по предположениям этимологов, обладает балтийскими корнями < ekĕcios, akĕcios «борона» [SSA-III, 2000. S. 494]. Анализ материалов атласа (автор комментариев по понятию Т. Туо-

ми) показывает, что в эстонском регионе, кроме того, известны разновозрастные заимствования данной лексемы [в нем функционируют и более поздние заимствования ägel, ägli < < латвийское egle «ель»; см. по этому поводу также Vaba, 1977. S. 113], на основании которых можно судить о мотиве происхождения именования бороны в балтийских языках: это были сучья ели, используемые для разрыхления и покрытия семян землей. В этом случае очевидно, что слово было заимствовано вместе с назначением предмета, поскольку прибалтийскофинские языки уже обладали собственным древним наименованием ели [kuusi: SSA-I, 1992. S. 460].

В карельском языке лексема äes употребляется не столь часто: при сборе материала она была отмечена лишь в одном ливвиковском пункте, а также в двух людиковских, где они могут являться вепсским наследием. На ее месте в большинстве карельских говоров выступает более поздняя лексема astuva [< древнерусск. *остень~остен* «шип, острие»: Фасмер-III. С. 165; ср. также русское диалектное остень «игла, жало, острие, острый шип, острый наконечник трости»: Даль-3. С. 321; см. также SSA-I. S. 87]. Лексема astuva (astiva, astivo, astova, astoin) в данном случае является своеобразным маркером всей карельской территории, объединяющим язык в единое целое [карта «Борона»; см. также ALFE, 2010. С. 67]. Отметим, что лексема astuva характерна и для всех тверских говоров карельского языка [см. о переселении карелов, напр., Karjala..., 1998. S. 327], свидетельствуя о довольно раннем ее происхождении и, в свою очередь, углубляя возраст и лексемы *äez~ägez*.

Все наречия карельского языка в данном случае противостоят вепсскому языку. Последний выступает как язык юго-западной группы в союзе с эстонскими диалектами и западными финскими диалектами, свидетельствуя на уровне лексики о большей древности сельскохозяйственных занятий у вепсов. В этом случае любопытен факт определенного единения вепсских и эстонских диалектов, которые, по мнению авторов атласа, имеют под собой определенную почву, и одна из задач, заложенная еще при разработке вопросника, заключалась отчасти именно в выяснении положения южноэстонских диалектов и вепсского языка в прибалтийско-финской языковой семье [ALFE-I, 2004. C. 17]. Таким образом, вепсский материал по именованию понятия «борона» занимает более древнюю позицию по отношению ко всему карельскому языку в целом.



В атлас было включено понятие «сноп», при сборе материала по которому составители атласа предложили ограничиться одним формативом LYHDE [ALFE, 2010. С. 96]. Как показал материал, в вепсском языке данный форматив не представлен. На его месте выступает русское заимствование snap (< русск. сноп). Термин lyhde, по представлениям исследователей, самостоятельно развился на прибалтийско-финской почве и этимологически связан с

лексемами типа liuhtoa «махать, взмахивать», liuhta «метла, метелка, веничек» [SSA-II. S. 116]. Он обозначает не только сноп, но и многие другие связанные пучки. Вполне определенно можно сказать, что данный форматив не является достаточно древним в культуре земледелия, поскольку его следов нет не только в вепсском, но и в эстонском (наиболее древнем земледельческом народе), водском, ливском языках, т. е. лексема LYHDE, избранная для

атласа в качестве форматива, оказалась не столь удачной. Вполне возможно, что значительно больше сведений принес бы сбор вариантов именований самого понятия «сноп», который мог бы расширить объем историко-языковой информации. Кроме того, подчеркнем, что вепсская лексема snap по своему вокализму, т. е. по представительству в первом слоге гласного a (snap) на месте русского o (сноп) отражает древнерусское состояние вещей, свидетельствуя о довольно раннем возрасте заимствования [см., напр., Kalima, 1919. S. 47].

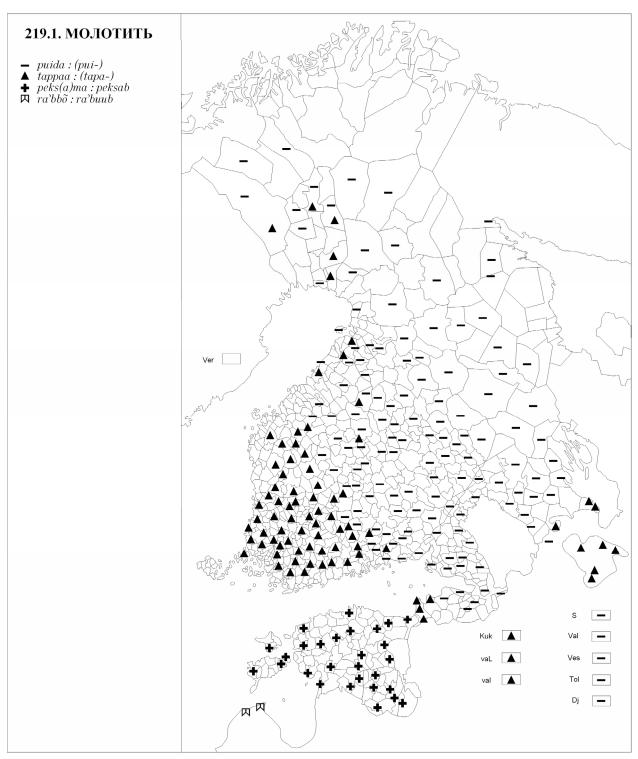
В земледельческой терминологии исключительно важными были именования понятия «навоз, помет», ставшие также предметом внимания авторов атласа. Сама идея по удобрению почвы остатками жизнедеятельности животных говорит о следующей, более продвинутой фазе земледелия. В основном, как показывает этимологический анализ лексем sonta, höšte, tade со значением «навоз, помет» [см. ALFE, 2010. С. 163], они обладают прибалтийско-финскими корнями. Вепсский язык не имеет названных соответствий и стоит особняком; в нем функционирует встречающаяся только у вепсов лексема here, которая включается этимологами в словарное гнездо *hieroa* «тереть, натирать, растирать» [SSA-I. S. 160]. И. И. Муллонен высказала мысль о связи вепсского here с ливвиковскокарельским hieru «деревня, село», что, на наш взгляд, в семантическом аспекте является исключительно перспективной идеей. У населения, живущего подсечным земледелием, не было оседлых населенных пунктов. Оно передвигалось в поисках лесов по подготовке земель для занятий сельским хозяйством. Как пишет в атласе автор комментариев по названному понятию А. Хяннинен, об этом есть некоторые упоминания еще в налоговых книгах XV в. [ALFE. 2010. С. 65; см. также Sirelius, 1919. S. 244]. Когда стало укореняться стремление к оседлости, к строительству жилья, тогда возникла необходимость использовать одни и те же земельные участки, удобряя их. Появляются поселения, которые на вепсской почве, например, при их именовании могли обладать среди прочих апеллятивом tanh, tanaz «двор» [ср. поселения средних вепсов (Бабаевский район, Вологодская область): Aksin/tanaz; Marku/tan(h), Virah(n)/tan(h)]. Данный апеллятив - это «память об однодворной деревне, включающей в себя крестьянский двор с принадлежащей ему землей» [Муллонен, 1994. С. 107]. В современных вепсских говорах tanh/tanaz - это «двор для скота» в отличие от «теплого зимнего помещения для скота» - lävä, где зимой навоз не могли хранить в большом количестве, выбрасывая его для временного хранения (особенно зимой) именно во двор. Видимо, в прежние времена наличие построек для скота, а также хранение в них естественного удобрения в постподсечный период для земледельцев было не менее важным, чем само жилье. Лексема tanh/tanaz, имеющая германские корни < *tanxu- «твердо утоптанное место перед домом; огороженная дорога, выгон, место для скота» [SSA-III. S. 267], по кругу своих значений в языке-источнике отвечала данным требованиям при наименовании места поселения. По этой же семантической модели могла возникнуть и карельская лексема hieru, которую можно объединить с лексемой hieroa «тереть, натирать» и с вепсским словом here «навоз, помет», т. е. здесь налицо подобная же семантическая связь, как в случае с лексемой tanh~tanaz: жилое место (подворье, поселение) < где утоптана < и унавожена земля. Названная лексема может стоять в ряду слов, у которых в ливвиковском наречии карельского языка форма номинатива и основа имени совпадают и оканчиваются на -и, как, например, čирри «угол», lükkü «счастье» и т. д. Для карельского языка исторически был характерен переход a>u в форме номинатива, однако косвенные падежи сохраняли в своем составе -а-[например, akku «женщина»: генитив aka-n]. Лексема *hieru*, по всей видимости, является более поздней по происхождению, возникшей во время активных карельско-вепсско-ливвиковских контактов. Любопытно отметить, что следы подобных контактов, отразившиеся даже в заимствовании вепсским языком грамматического показателя причастия прошедшего времени -nuhu (ei sanuhu «не получили»; ср. карельско-ливвиковское ei saanuh), удалось обнаружить также, например, при исследовании категорий вепсского глагола и истории происхождения их показателей, что отразилось в формировании куйско-войлахотских говоров средневепсского диалекта, территория распространения которого находится в Бабаевском районе Вологодской области, на границе с Карелией (см. Зайцева, 2002. C. 106, 234).

На наш взгляд, семантическая связь лексем *here* и *hieru* выглядит вполне убедительной и вносит еще один нюанс в карельско-вепсские взаимоотношения.

Хотелось бы остановиться еще на одном важном моменте, имеющем отношение к обработке продуктов земледелия, – понятии «молотить». Оно обладает в прибалтийско-

финском регионе несколькими именованиями, наиболее древние из которых *tappaa*, *puida*, *peksma*. Как свидетельствует анализ [ALFE, 2010. С. 100–102], наиболее древней из перечисленных является лексема *tappaa*, представленная и во всем вепсском регионе (*tapta*). Последний выступает здесь в одном ряду с юго-западной финской диалектной зоной, противостоя всем карельским наречиям, где функционирует более поздняя лексема

puida [см. карта «Молотить»]. Вторичные значения, которые появились впоследствии у лексемы tappaa в прибалтийско-финских языках, прежде всего связанные со значением «убить, убивать», постепенно вытеснили ее семантику, связанную с сельским хозяйством, т. е. семантику «молотить». Однако вепсский язык сохранил ее первоначальное значение, связанное с земледелием, во всех диалектах до нынешнего времени.



Таким образом, карты ALFE, посвященные земледельческим сюжетам, объединяют вепсский язык с эстонским и юго-западным финским регионом, свидетельствуя о довольно раннем возникновении элементов земледелия у вепсов, что убедительно подтверждают отдельные важные с точки зрения названной семантики термины, их возраст и распространение. Вепсский народ на более раннем этапе, нежели, например, карелы, освоил некоторые важные предметы и явления земледельческого обихода.

Литература

Винокурова И. Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов. Петрозаводск: ПетрГУ, 2006. 447 c.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М.: Типографии А. Семена, 1863-1866.

Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972. 746 с. (В тексте – СВЯ).

Зайцева Н. Г. Вепсский глагол. Сравнительносопоставительное исследование. Петрозаводск: Периодика, 2002. 287 с.

Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 156 с.

Муллонен И. И. Формирование диалектной карты карельского языка в контексте карело-вепсского контактирования // Karelia Written and Sung. Representations of Locality in Soviet and Russian Contexts / Edited by Pekka Suutari and Yri Shikalov. Aleksanteri Series 3/2010. Jyväskyväskylä, 2010. C. 16-28.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. М.: Прогресс, 1964-1973.

Atlas Linguarum Fennicarum, 1-3 // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 800. Helsinki, 2004-2010 (в тексте - ALFE).

Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919.

Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. Toimittaneet Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 705. Helsinki, 1998.

Karjalan kielen sanakirja, I-VII // Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 5. Helsinki, 1968-2005 (в тексте -

Koivulehto J. Pinta ja rasva // Virittäjä, 90. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Helsinki, 1986.

Ruoppila V. Kalevala ja kansan kieli // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 245. Helsinki, 1967.

Sirelius U. T. Suomen kansanomaista kulttuuria. Esineellisen kansantieteen tuloksia, I. Helsinki: Otava, 1919. Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja, I-III // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 556. Helsinki, 1995-2000 (в тексте - SSA).

Vaba L. Läti laensõnad eesti keeles. Valge. Tallinn, 1977.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Зайцева Нина Григорьевна

зав. сектором языкознания, д. филол, наук Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910 эл. почта: zaitseva@sampo.ru

тел.: (8142) 781886

Zaitseva, Nina

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: zaitseva@sampo.ru

tel.: (8142) 781886

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ. РАЗМЕЖЕВАНИЕ И КОНТАКТИРОВАНИЕ «СВОИХ» И «ЧУЖИХ»

УДК 94 (970.22)

SEARCHING BACK THE OLD BORDER. THE BORDER BETWEEN RUSSIA AND SWEDEN IN THE EARLY MODERN PERIOD

Jukka Kokkonen

University of Eastern Finland

The eastern border of Finland is at present the longest of all the borders between member states of the European Union and Russia, and certain parts of it represent one of the oldest national borders to be found anywhere in Europe, dating from the peace treaties of Täyssinä and Stolbova in 1595 and 1617, respectively. One notable border in Europe that is older is that between England and Scotland, the first known mention of which is in documents from around 1237.

In Early Modern times – from the first half of the 16th century to the Age of Revolutions – this eastern border served as the dividing line between the realms of Sweden and Russia, and its actual location varied with time on account of wars between these two nations and the peace treaties that followed them.

In the discussion below we will examine the early history of the border mainly in terms of two questions: What physical form did the border take on in the Early Modern period, and was it guarded, and if so, for what reason?

Key words: eastern border, emigration, border, cross-border trade, borderlands, border control, plague, Early Modern times.

Юкка Кокконен. ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРАНИЦЫ. ГРАНИЦА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В наши дни восточная граница Финляндии – самая длинная из всех между странами Европейского Союза и Россией, а ее отдельные части представляют собой один из старейших государственных рубежей в Европе, возникший в результате Тявзинского и Столбовского мирных договоров 1595 и 1617 гг. соответственно. Более древней в Европе является граница между Англией и Шотландией, впервые упоминаемая в документах, датируемых примерно 1237 г. В начале Нового времени – с первой половины XVI в. до эпохи революций – эта восточная граница служила разделительной чертой между шведской и российской державами, а ее фактическое местоположение менялось в связи с войнами между этими двумя государствами и следовавшими за ними мирными договорами.

В статье исследуется ранняя история этой границы, исходя, главным образом, из двух вопросов: Как была оформлена граница в начале Нового времени, и охранялась ли она, а если охранялась, то в каких целях?

Ключевые слова: восточная граница, эмиграция, граница, трансграничная торговля, приграничье, пограничный контроль, чума, начало Нового времени.

From ancient marker stones to a modern border

It must be said from the outset that we should approach our topic by forgetting completely the connotations attached to modern state borders. Nowadays the boundaries between sovereign states are in the nature of precise demarcation lines that are frequently manned by border patrols and customs officials, but in the Middle Ages and Early Modern times countries were separated from one another by borderlands or border zones that were often highly indeterminate in character. This was the case with the border in the north between Sweden and Muscovy, or Russia, which could be described most appropriately as a «sieve-like frontier». An official boundary existed in the form of a series of border posts or markers and had been ratified in treaties and by the certain religious rite*, but even so it allowed the free passage of people and goods in both directions.

The oldest known political division connected with the territory of present-day Finland and the country's eastern border was that agreed upon in the Treaty of Pähkinäsaari (in Finnish, Russ. Oreshek, but at first Schlüsselburg (German), Swed. Nöteborg) in 1323. The purpose of this treaty was above all to ensure freedom of international trade on the River Neva, but it also served as a guarantee that no new fortresses would be built in Karelia (following the construction of the castle at Vyborg by the Swedes in 1293) [Korpela, 2006. P. 456-457; 2007. P. 49]. A further detail in this agreement was the drawing of a boundary between the spheres of interest of the King of Sweden and the Prince of Novgorod, but the question of how this boundary was decided upon is something that has occupied scholars for centuries. The current understanding of the situation is that the boundary was defined precisely in the area where settlement was densest, i.e. from the Gulf of Finland coast to Särkilahti on Lake Saimaa, but for the stretch between Särkilahti and the termination of the line on the coast of the Gulf of Bothnia the extant copies of the treaty mention only five points about a hundred kilometres apart that define its course. There was, in fact, no need to establish a denser system of boundary markers, as the whole area was extremely sparsely inhabited at that time. In addition, modern interpretations of the early boundary are inclined to the view that there were two boundaries in the northern parts of the area, so that the western boundary of Novgorod was located at the Gulf of Bothnia while the eastern boundary of Sweden was around Kandalaksha on the White Sea. Thus, the northern regions - more or less the area referred to nowadays as Northern Finland – were used jointly by both parties. It should be mentioned in passing that a similar border arrangement was concluded between Norway and Novgorod in the far north in 1326 [Katajala, 2006. P. 90–92, 102–103].

The next east-west agreement regarding the border within the present-day area of Finland was concluded in 1595, but a great deal had happened by that time. In the first place the Principality of Muscovy, in the process of gathering together the lands inherited from the state of Kievan Russia, had overthrown the power of the mercantile state of «Great Novgorod» (Russ. Veliky Novgorod) during the 1470s (first in 1473 and then finally in 1478). At the same time, Muscovy had taken upon itself the border disputes and territorial claims that Novgorod had pending with Sweden. Secondly, Sweden had broken away from the Medieval power complex known as the Union of Kalmar in the early 1520s to become a sovereign state ruled over by the Vasa dynasty and had begun to expand its territories considerably from 1560 onwards. Colonial settlement in the area of Finland had spread beyond the border of the spheres of interest as laid down in the Treaty of Pähkinäsaari during the Late Middle Ages and Early Modern times, and this had resulted in conflicts and punitive raids on both sides, culminating in three wars between Sweden and Muscovy (Russia), in 1495-1497, 1555-1557, and 1570-1595.

^{*} By kissing the Holy Cross of Christ (Russ. *krestnoe tselovanie*). It was a scary religious ritual, where a person, who swore incorrectly, endangered his salvation hereafter. In Russia, official governmental contracts and private contracts, such as wills, were confirmed with kissing the Cross. Even the Peace Treaty of Täyssinä between Sweden and Russia on May 18th 1595 was first sealed and signed and, after that, confirmed by kissing the Cross [Almquist, 1907. P. 12–14; Ahnlund, 1956. P. 68–69; Flier, 2006. P. 388].

In early times the eastern border had been marked only at its most significant points, generally within reach of major thoroughfares, so as to make it quite clear to passers-by where the border ran in the district and what usufructuary rights existed there. Most of the markers were natural features that stood out in the landscape, such as rock faces, large boulders, bodies of water (rivers, lakes, springs or pools), watershed areas and sometimes even peatlands. All these were highly suitable for the purpose as they couldn't be interfered with by human action (i.e. moved or destroyed). The least suitable in this respect were trees, as they could relatively easily be removed, but sometimes these, too, had to be made use of if there was nothing better available [Kokkonen, 2010b. P. 136].

The Treaty of Täyssinä, signed in 1595, led to a change in this practice, in that the boundary began to be marked in the terrain in the form of lines joining the markers. It is known, for instance, that corridors were cleared through the forest on the Karelian Isthmus by cutting down the trees and other vegetation to make these lines as clearly visible as possible [Katajala, 2010a. P. 191]. A crucial ideological change had also taken place prior to the Treaty of Täyssinä, in that both Sweden and Russia had adopted the new concept of national territory that assumed that a state had a certain geographical extent marked by its boundaries, and that this was a sovereign territory, i.e. the lands, waters and resources within these boundaries were to be immune from all forms of external interference. These lands and boundaries were regarded as «sacred», and the inhabitants began to speak of their «fatherland». At the same time the people who had been born and lived within the borders of a country came to be regarded more firmly than ever as the «subjects» of a certain king ordained by God, and had certain duties that they were required to perform for their king and also certain rights. Thus, borders gained a far greater significance than heretofore. They were to be maintained as they stood, or preferably extended, but under no conditions should they be retracted.

A long «border line» (Swed. *gränslinje*) or «border alley» (Swed. *gränsallé*) – a border in the modern sense – arose as a result of the adjustments following the Treaty of Stolbova (1617), when Russia ceded the province of Käkisalmi (Finn. *Käkisalmen lääni*, Russ. *Korela uezd*, Swed. *Kexholms län*) and the area of Inkerinmaa (Engl. *Ingria*, Finn. *Inkeri, Inkerinmaa*, Swed. *Ingermanland*) to Sweden. An opening several hundred kilometres in length was cut through the forests early in the 1620s

from the point at which the border left the Gulf of Finland to its end point on the shore of Lake Ladoga at the latitude of modern-day North Karelia. At the same time this border began to be drawn as a continuous line on maps, as it now had a concrete existence. Also, more attention began to be paid to the physical maintenance of the border, the checking of the route and removal of tree growth from the clearing under the supervision of Swedish and Russian border commissars. This was the procedure at least in the 1620s, 1650s and 1660s, the manual work being done by «borderland peasants» from both sides, i.e. gränsebönder, as these inhabitants of the nearby areas were referred to in the Swedish documents of the time [Kokkonen, 2010b. P. 137].

At the latitudes of present-day Northern Finland, however, the eastern border remained anything but a distinct feature for a very long time. Demarcation of the border in the late 1590s. following the Treaty of Täyssinä, came to an end around Alakitka in the parish of Kuusamo on account of a dispute between the Swedish and Russian border commissars, and its course north of this point was defined only by the general outlines laid down in the treaty itself, and, of course, by the usufruct practices of the inhabitants on both sides. The official, ratified location of the border in the areas north of Kuusamo was resolved only in 1833, when the boundary between the province of Oulu in the Grand Duchy of Finland and the gouvernement of Arkhangelsk in Imperial Russia was finally defined - and then only after more than ten years of work [Kokkonen, 2010b. P. 140].

Where it had been laid down in the treaties of Pähkinäsaari (1323), Täyssinä (1595) Stolbova (1617) that the border should take account of natural markers in the terrain, local land use practices and regional administrative units (e.g. provincial boundaries), later decrees regarding the border took on quite a different character. Under the Treaty of Uusikaupunki (Swed. Nystad), concluded in 1721, the border was to be a much straighter line that simply cut through villages, individual farms, parishes and local entities without paying any attention to local or regional conditions, not to mention private rights of ownership. One consequence of this was that the subsequent Treaty of Turku (Swed. *Åbo*) in 1743 gave rise to a peculiar «no-man's land» close to the area of the present-day town of Savonlinna which remained beyond jurisdiction of both Sweden and Russia right up to the incorporation of Finland into the Russian Empire in 1809 [Katajala, 2010b. P. 94-96].

Patrolling the border

Although the eastern border developed and altered both ideologically and physically in Early Modern times, it was a long time before it came to be patrolled in any regular fashion. The only permanent border guard station on the northern boundary between Sweden and Russia in the 17th century was at Rajakontu in Salmi on the eastern shore of Lake Ladoga, the point at which it was crossed by the militarily and economically important road between the Swedish province of Käkisalmi and the Russian district of Olonets [Kuujo, 1963. P. 107; Kokkonen, 2010. P. 169]. Otherwise neither party had any need for constant supervision of the border or the traffic crossing it. There were various reasons for this. In the first place, the border was exceedingly long and the majority of it passed through «wilderness», so that any attempt at patrolling would have been a severe drain on a country's finances, and indeed impossible to accomplish in any comprehensive manner given the resources and equipment of the day. In any case, there was no patrol system at any other land boundary in Europe at that time. Where there were patrols, they were usually restricted to cases of acute need, and generally to places which were significant thoroughfares in terms of either the volume of traffic or military strategy. Otherwise borders were mainly patrolled at times of war or the threat of war, and occasionally on account of raiders. The earliest recorded instance of patrolling in a border region in Finland is from the Middle Ages, when inhabitants of areas on the Gulf of Bothnia coast are believed to have seen it necessary to mount a patrol on Lake Oulujärvi [Luukko, 1954. P. 719-720]. The reason for this was that colonization from the west had penetrated beyond the agreed demarcation line between the spheres of interest of Sweden and Novgorod, giving rise to conflicts and to forays or raids across the border.

There were many people, however, who crossed the border simply for the purposes of trade. The importance of such trading is shown by the fact that the treaties between Sweden and Russia regularly guaranteed subjects of both countries the right to trade in the other, although admittedly on certain specified conditions: (1) trading was permitted only in places intended for that purpose (in towns or at market places), (2) customs dues should be paid to the Crown on all goods, and (3) persons crossing the border should possess the necessary document, a passport or the like. In practice, however, both people and goods moved back and forth across the border without any formalities, and

smuggling and other unauthorized movements were everyday occurrences [Kokkonen, 2010a. P. 169; 2010b. P. 151].

In the spirit of its 18th-century mercantilist economic policies, the Swedish Crown tightened its grip over commercial contacts across the eastern border, establishing «border customs houses» (Swed. gränstullkammare) at strategic points to improve its supervision of trade and traffic and to exact customs dues. The first of these was set up at Lappeenranta in 1723, and the network was then expanded northwards from the beginning of the following decade, to Kajaani, Kitee and Pielisjärvi. As a result of the border arrangements required at the time of the Swedish-Russian war of 1741-1743, new customs houses were opened in the south-east of Finland, at Ahvenkoski, Keltti, Loviisa, Mikkeli, Puumala and Rantasalmi. The north of the country nevertheless remained without any permanent border control point for some time, presumably until the customs house at Kuusamo was opened in the 1770s. Finally, at the very end of the period of Swedish rule, a further customs house was opened at Anjala [Kokkonen, 2010a. P. 169-170]. It should also be mentioned that customs and supervision arrangements on the Russian side of the border had been stepped up in the second half of the 17th century, when a customs station was built at Paanajärvi, which was one of so-called «the seven parishes, or pogosty, of Lapland», and lay on the important trade route from the coast, or *Pomorye*, of the White Sea to Sweden and its significant market towns on the coast of the Gulf of Bothnia. At the same time the collecting of customs dues was intensified at all points where trade took place on the border with Sweden [Tšernjakova, 1995. P. 1361.

The prevention of smuggling at the local level was the responsibility of separate officials, known as "border riders" (Swed. *gränseridare*), in addition to whom small parties of armed soldiers would be sent out from time to time to assist the actual customs officials if the situation in connection with the charging of customs dues or the confiscation of goods threatened to become violent. Serious acts of violence were sometimes perpetrated on the Swedish customs officials by the Russians as well. Cases of smuggling or evasion of customs dues on the Swedish side were heard in separate "border customs courts" (Swed. *gränstullrätt*) [Kokkonen, 2010a. P. 170].

Apart from traders, others who would have crossed the border were those seeking to emigrate, who may be classed into four groups. Firstly, there were those who were leaving in search of work or a better livelihood. Those

moving to Russia were often attracted by the metalworking industries (mines and ironworks) of Olonets, or from the beginning of the 18th century onwards by the metropolis of St. Petersburg, founded in 1703. Secondly, there were various criminals, tramps and vagabonds who were escaping from justice or the prospect of imprisonment. It was often possible for these people to continue their wandering life by moving to another country. The third group consisted of those fleeing from their obligations to the state, principally either the payment of taxes conscription (Swed. utskrivningar), recruitment as an infantryman in their country's army. Finally the fourth group consisted of those who were fleeing from religious discrimination or persecution in their own country. Especially important in this connection was the flood of emigration to Russia on the part of the Orthodox population of the easternmost areas of Sweden, the province of Käkisalmi and the area of Inkerinmaa, during the 17th century. There was a similar migration of the Old Believers (Russ. raskolniki) from Russia into Sweden from the 17th and 18th centuries onwards, but the numbers involved were fairly small.

Finally it should be mentioned that no official right to migrate from one country to another existed in the Early Modern period, and that both Sweden and Russia maintained a tight hold on their subjects and forbade them to leave the country. Anyone who did so without permission was referred to in the administrative documents as a "deserter" (Swed. *förrymd, rymling, rymmare*, Russ. *begly* > Karelian *biegla*). The ruling classes realized how important their subjects were to them as farmers and as workforce, as taxpayers and as soldiers [Kokkonen, 2010b. P. 142–146].

Soldiers holding back the plague

In the early 1770s the eastern border was closed entirely to passenger and goods traffic for a time, as part of a major operation which was the first of its kind in that area. Similar measures had admittedly been resorted to in 1740 and 1763, but on a much smaller scale [Halila, 1954. P. 399; Kokkonen, 2010a. P. 171]. The reason for this tightening of security was an outbreak of plague in Russia. It had first appeared in the country's southern neighbour, the Ottoman Empire, and had spread via Ukraine to Poland and to Moscow in the summer of 1770. Conditions were favourable for the advance of this greatly feared disease, as Russia was at war with the Ottoman Empire for the period 1768–1774. It is estimated that between 52 000 and 100 000 persons died of the plague in Moscow alone [Alexander, 1980. P. 101–124; Melikishvili, 2006. P. 24–26]. According to other estimates the death toll is between 60 000 and 100 000 lives. In October of 1771, the death toll in Moscow stood at 17 651, but January of 1772 only at 330. In November of 1771 Empress Cathrine II already announced that the Moscow plague epidemic was over [Melikishvili, 2006. P. 26].

News of the presence of the plague in Russia spread rapidly from St. Petersburg to Stockholm through diplomatic channels, and, fearing that it could be brought to their country by a ship, the Swedes stepped up their inspections of shipping in autumn 1770. The traditional means of defence against the plague, as implemented in earlier times elsewhere in Europe, chiefly in England, Austria, Switzerland and the Mediterranean, were to impose periods of quarantine on those arriving by sea or deny them entry to the country entirely and to patrol or close all land boundaries. Sweden had similarly mounted a military guard (Fr. cordon sanitaire) on its border with Denmark in the early 1710s in order to secure it against the plague [Persson, 2001. P. 73-74, 276-284, 428; Kallioinen, 2005. P. 183-184], and it now adopted the same tactics, with a military system for closing its eastern border in 1770-1772 that extended from the land boundary at the Kymi River in the south-east to Kuusamo in the north. This came to be known as the «Plague Chain» (Swed. Pest-Cordon). The person appointed towards the end of 1770 to command this operation in Finland was Field-Marshal Augustin Ehrensvärd (1710–1772), better known for the construction of the fortress of Sveaborg (Finn. Viapori) off the coast of Helsinki.

A gradual withdrawal of the Plague Chain was commenced in spring 1772, when information reached Sweden from St. Petersburg that the plague was no longer regarded as a threat in Russia. Indeed, rumours began to spread in autumn of that year that the border guards had been removed completely, but in the event supervision was maintained until the end of the year, largely for foreign policy reasons. King Gustav III of Sweden had accomplished a reform of the Constitution in August 1772 and was afraid that Russia might interfere militarily in these affairs. This was conceivable, as Prussia, Denmark and Russia had agreed in autumn 1769 that the smallest alteration to the Swedish Constitution would be a sufficient reason for declaring war and had mentioned in passing the possibility of dividing the Kingdom of Sweden up between them. In the end, the King's fears of a Russian intervention proved unfounded, but tension on the border did not abate until 1774 [Suolahti, 1991. P. 281-311; Kokkonen, 2010a. P. 171].

Literature

Ahnlund N. Den svenska utrikespolitikens historia. I: 1. Tiden före 1560. Stockholm: Norstedt, 1956.

Almquist H. Sverge och Ryssland 1595–1611. Tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Uppsala, 1907.

Alexander John T. Bubonic Plague in Early Modern Russia: Public Health and Urban Disaster. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1980.

Ellis Steven G. Tudor Frontiers and Noble Power: The Making of the British State. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Flier Michael S. Political ideas and rituals // The Cambridge History of Russia. Vol. 1: From Early Rus' to 1689 / Ed. Maureen Perrie. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Halila A. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia V. Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1721–1775. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta, 1954.

Kallioinen M. Rutto & rukous. Tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa. Keuruu: Atena, 2005.

Katajala K. The Origin of the Border // Vid Gränsen: Integration och identitet i det förnationella Norden / Ed. Harald Gustafsson & Hanne Sanders. Centrum för Danmarksstudier 10. Göteborg: Makadam i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, 2006. P. 86–106.

Katajala K. Viipurin Karjala rajamaakuntana: Viipurin läänin historia 1534–1617 // Viipurin läänin historia III: Suomenlahdelta Laatokalle / Ed. Yrjö Kaukiainen. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino Oy, 2010a. P. 11–216.

Katajala K. Zwischen West und Ost. 800 Jahre an der Ostgrenze Finnlands // Kirchliche Zeitgeschicte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft. Grenzen als Barrieren – Grenzregionen als Chancen. Das Beispiel Karelien / Ed. Danny Schäfer. Vol. 23, No. 1/2010b. P. 81–110.

Kokkonen J. Itäraja ja sen valvonta // Suomalainen sotilas [2]: Hakkapeliitasta tarkk'ampujaan / Ed. Jukka Partanen. Helsinki: Karttakeskus, 2010a. P. 168–175.

Kokkonen J. Überlokale Kontaktflächen der Grenze. Die nördlichen Grenzgebiete zwischen dem Schwedischen Reich und dem Grossfürstentum Moskau im 17. Jahrhundert // Kirchliche Zeitgeschicte. Internationale Zeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft. Grenzen als Barrieren – Grenzregionen als Chancen. Das Beispiel Karelien / Ed. Danny Schäfer. Vol. 23, No. 1/2010b. P. 134–157.

Korpela J. Pähkinäsaaren rauhan raja // Historiallinen Aikakauskirja / Ed. Pirjo Markkola. Vol. 104, No. 4/2006. P. 454–469.

Korpela J. The Formation of Medieval Karelia // The Flexible Frontier: Change and Continuity in Finnish-Russian Relations / Ed. Maria Lähteenmäki. Aleksanteri Series 5/2007. Helsinki: Aleksanteri Institute, 2007. P. 42–69.

Kuujo E. Raja-Karjala Ruotsin vallan aikana. Joensuu: Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, 1963.

Luukko A. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia II. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin keskiaika sekä 1500-luku. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta, 1954.

Melikishvili Alexander. Genesis of the Anti-Plague System: The Tsarist Period // Critical Reviews in Microbiology. Vol. 32 (2006). P. 19–31. URL: http://cns.miis.edu/antiplague/pdfs/melikishvili.pdf (Viewed 28.3.2011).

Persson Bodil E. B. Pestens $g\Delta ta$. Farsoter i det tidiga 1700-talets Sk Δne . Studia Historica Lundensia 5. Lund: Nordic Academic Press, 2001. Dissertation.

Suolahti G. Elämää Suomessa 1700-luvulla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 544. Jyväskylä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1991 (2. ed.).

Tšernjakova I. Venäjän Lapin pogostan ja Suomen asukkaiden väliset kauppakontaktit 1600-luvulla // Rajamailla I (1994). Studia Historica Septentrionalia 26 / Ed. Kyösti Julku. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1995. P. 133–136.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Юкка Кокконен

научный сотрудник проекта (канд. наук) Университет Восточной Финляндии ПЯ 111, 80101 Йоэнсуу эл. почта: jukka.kokkonen@uef.fi тел.: +358 13 251 2463 Jukka Kokkonen

Project researcher (PhD)
Karelian Institute
University of Eastern Finland
Box 111, 80101 Joensuu, Finland
e-mail: jukka.kokkonen@uef.fi
tel.: +358 13 251 2463

УДК 947 (470.22)

СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЙ КАРЕЛИИ (XII—XVIII ВЕКА)

А. Ю. Жуков

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Три периода истории Приладожской Карелии в виде административных областей Корельской земли Великого Новгорода – Корельского уезда России – Кексгольмского лена Швеции обнаруживают эволюционную преемственность в системах расселения и административно-территориальном устройстве. Приладожская Карелия составляла отдельную административную единицу и всегда делилась на две части к югу и к северу от реки Вуокса. Расселение жителей Приладожья следовало природным (сельскохозяйственным и промысловым) условиям территории. Первоначальная племенная разбивка карелов воплотилась в приходское разграничение, из него в XIII–XV вв. строилось административно-территориальное деление на погосты: церковь – приход – погост. В XVI в. в погостах возникли новые приходы, которые в XVII в., уже при власти Швеции, образовали и новые погосты. Эта система в XVIII в. перешла в имперский этап истории, дожив до 1765 г.

Ключевые слова: Корельская земля, административное деление, природные условия, территориальное разграничение, приход, община, самоуправление, политико-правовая система.

A. Yu. Zhukov. SETTLEMENT SYSTEM AND TERRITORIAL ADMINISTRATIVE DIVISION IN THE LADOGAN KARELIA (12th-18th CENTURIES)

Three periods in the history of the Ladogan Karelia in the form of administrative regions of the Korela Land of the Great Novgorod – the Korela Uezd (district) of Russia – the Keksholm Län of Sweden demonstrate an evolutionary continuum in the systems of settlement and territorial administrative arrangements. Ladogan Karelia constituted an individual administrative unit, always divided into two parts – south and north of the Vuoksa River. People settled in the Ladoga area following the natural (agriculture- and trades-related) features of the territory. The original tribal division of Karelians transformed into distinctions among parishes, which later, in the $13^{\text{th}}-15^{\text{th}}$ centuries, served as the basis for the administrative division into pogosts: church – parish – pogost. In the 16^{th} century new parishes emerged in the pogosts to form new pogosts later on, in the 17^{th} century – under Swedish rule. In the 18^{th} century this system moved on into the imperial phase of the history, and persisted until 1765.

Key words: Korela land, administrative division, physico-geographical features, territorial demarcation, parish, commune, self-government, political and legal system.

За свою многовековую историю Карелия как область расселения карелов несколько раз меняла государственную принадлежность своей основной, наиболее заселенной части. Речь идет о бассейновой территории западного и северо-западного Приладожья. Вначале Приладожье инкорпорировалось в Новгородскую республику (Великий Новгород); с 1478 г. оно вошло в Россию вместе с другими новгородскими землями; в 1611-1710 гг. состояло провинцией Швеции, затем вновь вернулось России; в 1918-1940 гг. являлось губернией Финляндской республики; наконец, с 1940 г. стало частью СССР, а с 1991 г. - Российской Федерации. Можно предположить, что за это время и система расселения, и административнотерриториальное деление этой приграничной области заметно разнились, коренным образом изменяясь от этапа к этапу. Так ли это? Сравнительно-исторический анализ по теме поднятых вопросов в историографии отсутствует. Проведем его применительно к первым шести векам ее истории на сохранившихся материалах XIII-XVIII вв.

Коренные земли древнекарельской народности в первой половине II тыс. н. э. находились в западном Приладожье и на Карельском перешейке. Река Вуокса четко делила приладожскую Карелию на две части: ближняя к Новгороду половина называлась Передней Корелой*, а бассейн северо-западного Приладожья составлял Заднюю Корелу. Видимо, данное первичное «догосударственное» деление возникло около середины XII в., когда летописи стали сообщать о совместных военно-политических предприятиях Новгорода и карелов,поскольку границы погостов XIII-XV вв. уже не соответствовали этому изначальному «административному» делению [Жуков, 2008. С. 8-9]. Тогда же, продвигаясь вдоль границы со шведскими владениями в Финляндии и перейдя Беломорский водораздел, карелы приступили к освоению севера и востока территории нынешней Карелии.

Стихийно складывавшаяся система расселения карелов была поддержана Новгородской вечевой республикой, что поначалу выразилось в создании первых церковных приходов, образовавшихся в ходе Крещения карелов в 1227 г. [Лаврентьевская..., 2001. Стб. 449]. Приходские священники подчинялись новгородскому архиепископу – ведущему лицу новгородской государственности. Складывавшие-

ся приходы соответствовали системе расселения карелов в главных районах их тогдашнего проживания от северо-восточного побережья Финского залива Балтики и Сайменских озер до Салми и Суоярви в северном Приладожье. По новгородской традиции эти сельские районы назывались погостами, их именование включало название приходской церкви и наиболее заселенной местности, в которой она и стояла. Например, южный погост на этнической границе с приневской ижорой именовался Васильевским Ровдужским, так как именно в местности «над озером над Ровдою» (ныне оз. Раздольное) находилась церковь во имя св. Василия Кесарийского [Переписная..., 1852. C. 76-120].

Состоявшая из погостов административная область Корельская земля в целом оформилась в годы обострения новгородско-шведского военно-политического противостояния на рубеже XIII-XIV вв. Тогда шведам удалось захватить юг Карельского перешейка и карельское Саво. Закрепила власть шведской короны здесь крепость Выборг (1294/95 г.) [Новгородская..., 2000. С. 327]. В 1310 г. у ладожского устья реки Вуоксы Новгород также поставил свою крепость Корелу - административный центр всей Приладожской Карелии [Новгородская..., 2000. С. 92-93, 333]. Status quo узаконил новгородско-шведский Ореховецкий мир 1323 г.: по его условиям три западнокарельских погоста Яскис, Эйрепяя и Саволакс признавались за Швецией, а Приладожье – за Новгородом [Кочкуркина и др., 1990. С. 42–43].

Центральный из приладожских Воскресенский Городенский погост с городом Корела и с церковью во имя Воскресения Христова объединял земли нижней Вуоксы. При этом на юге, в Передней Кореле, погост достигал Святозера (Пюхяярви, ныне оз. Отрадное), гранича здесь с Михайловским Сакульским погостом, на севере - с Богородицким Кирьяжским (центр в Куркиёки), на северо-западе же, у границы со Швецией, Городенский погост достигал другого Пюхяярви: «волостка Нивкола на Тюрье над озером над Святым» [Писцовая..., 1987. С. 109]. Здесь же, в Пюхяярви, сходились земли погостов Городенского, Кирьяжского, Никольского Сердовольского (центр в местности в Сердоволи) и Ильинского Иломанского (ныне Иломантси, Финляндия) [Переписная..., 1852. C. 33-37, 51-53, 55, 57-58, 62-63, 67, 69-70, 128-133, 143-156 и др.]. Наконец, на самом востоке Корельской земли находился Воскресенский Соломенский погост, с центром на Соломяне (Салми) и землями по берегу Ладоги от Ууксу до Погранкондуш, а на севере у

^{*} Здесь и далее курсивом выделены взятые из источников XV–XVII вв. подлинные названия политико-административных территорий, их центров и поселений, а также исторические наименования географических объектов.

погоста имелся анклав деревня Кайбальской наволок на сердовольском оз. Суоярви (ныне Кайпа, район г. Суоярви). Но между Ууксу и Кайпой лежали сердовольские земли. Данное расселение также маркировалось «святым» способом: на юге территорию Салми от Сердовольского погоста отделяло оз. Пюхяярви (севернее Ууксу), а южнее Кайпы разграничение погостов шло по озерам Исо-Пюхяярви и Пиен-Пюхяярви.

Таким образом, шесть из семи погостов приграничной Карельской земли разграничивались между собой «святыми межами», - и не случайно. Дело в том, что данные топонимы Пюхя (Святой) не имеют никакого отношения к христианскому пониманию святости: у прибалто-финнов понятие пюхя означало табуированную границу, которую нельзя пересекать соседям. Так, государственная граница 1323 г. на севере прошла именно по р. Пюхяйоки, отделявшей в Восточной Приботнии земли карелов и финнов. И внутри Корельской земли гидрообъекты на Пюхя- размежевывали различные группы самого карельского народа, соответствуя системе расселения древних карелов. И. И. Муллонен нашла аналогичные карельским «святые межи», отграничивавшие центральный вепсский Важинский погост на Свири от всех соседних вепсских погостов: Олонецкого, Пиркинского, в Ярославичах, Оштинского, Остречинского и Шуйского [Муллонен, 2002. С. 145-152]. В целом здесь проявился восходящий к первобытным временам способ разграничения, который новгородские церковные и государственные власти вполне учли и включили его в собственную систему приходского и административного деления. В административно-государственном строительстве Великий Новгород опирался на уже имевшуюся систему расселения племенных групп прибалто-финнов, в том числе приладожских карелов. А система эта с самого начала была привязана к природным условиям, прежде всего к наличию пригодных к сельскому хозяйству земель (пашня, подсека, сенокос) и промы-

Число перечисленных выше 10 приграничных карельских погостов новгородского Приладожья и шведского Карельского перешейка не оставалось неизменным уже в новгородский период истории. В Новгороде в слоях 1396–1422 гг. была найдена грамота на бересте № 248, в которой «корила погоская, Кюлолаская и Кюриеская» жалуется на грабеж их владений вторгнувшимися шведами [Арциховский, Борковский, 1963. С. 72–73]. В Новгородской первой летописи под 1396 г. сообща-

ется о том же вторжении: «Немци... (т. е. шведы. – А. Ж.) повоеваша 2 погоста: Кюрьескыи и Кюлоласкый, и церковь сожгоша», а новгородский князь Константин Белозерский вместе с карелами отбил это нападение [Новгородская..., 2000. С. 387]. Наконец, в переписи Корельского уезда 1500 г. в данном районе находим только Кирьяжский погост, а деревни в Кюлолакше входили в него в составе Куласской перевары (общины), без собственной [Переписная..., 1852. С. 120-124]. церкви Итак, обнаруживается четкая зависимость административного деления от церковно-приходского устройства. По конец XIV в. каждой из церквей - на Кирьяже и в Кюлолакше - соответствовал отдельный погост. Так как даже к 1500 г. кюлолакшане не возобновили сгоревшую церковь, то Кюлолакшский погост исчез с административной карты Корельской земли, остался лишь Кирьяжский. По принципу церковь - приход - погост и развивалось в дальнейшем все административно-территориальное устройство Приладожской Карелии.

Материалы переписи Корельского уезда 1500 г. [Переписная..., 1852] ясно показывают неизменность к 1500 г. низовой структуры административного деления и системы расселения. Но зато Москва переустроила коренным образом владельческо-податную структуру Приладожья. Ранее Великий Новгород отдал здешние государственные земли под управление и взятие податей архиепископу (вдоль государственной границы со Швецией и административной черты с Обонежской Карелией) и наместникам князей, служивших республике «мечом». Иван III преобразил их или в государевы поместья (на западном пограничье), или приписал в управление своим наместникам Корельского уезда.

В основе системы расселения лежало землевладение крестьянских общин: «перевар» и «волостей» на государственных землях и вотчин («волостей», «боярщин») карельской знати (своеземцев) и местных монастырей. Анализ их месторасположения показывает, что каждая из этих единиц почти всегда не составляла какой-то компактный район, наоборот, их деревни были разбросаны по разным местам погоста, а иногда даже находились в разных погостах. На материале финляндской губернии Северной Карелии (т. е. северо-запада бывшего Корельского уезда) финский исследователь Веййо Салохеймо (Veijo Saloheimo) смог идентифицировать здешние карельские деревни «образца» 1500 г. с ними же, но в XVII-XVIII вв.; правда, в его таблицах даны не первичные карельские, а только поздние финнизированные названия деревень, которые сгруппированы по финляндским приходам [Saloheimo, 1971]. Наши разыскания также выявили «предков» приладожских селений XX в. в деревнях, существовавших при власти Великого Новгорода [Жуков, 2003. С. 105-107, 113-114]. В целом система расселения не изменилась принципиально за последние пять столетий: по-прежнему наиболее заселенными являются берега Ладоги, а район к северу от линии Вяртсяля - Суйстамо заселен редко. Схожесть карельских названий образца 1500 г. с современными доказывает, что в подавляющем большинстве случаев нынешние приладожские поселения являются прямыми потомками старинных карельских деревень; их названия финнизировались, но смогли сохранить свои карельские основы.

Используя наименования деревень и местностей, проведем анализ дальнейшей эволюции системы расселения и административнотерриториального деления Приладожской Карелии в XVI-XVIII вв. Ведущим для нас станет сравнительно-исторический метод и археографическая методика обработки архивных и опубликованных текстов XV-XVII вв. Палеографический анализ представлен различными вариантами написания одних и тех же названий. Прежде всего, привлечем источники переписного характера середины - второй половины XVI в., начиная с Писцовой книги Корельского уезда 1568 г., от которой, к сожалению, сохранилась только перепись Передней Корелы и Соломенского погоста Задней Корелы [Писцовая..., 1987. С. 52–178].

По сравнению с 1500 г., к середине XVI в. появились новые приходы внутри старинных погостов. Центральный Воскресенский Городенский погост, кроме приходской городской Воскресенской церкви, теперь имел еще и сельскую церковь во имя св. Николая. К сожалению, перепись 1568 г. не сообщает нам о ее местонахождении, предположительно она находилась в Ряжеле, став центром собирания будущего погоста шведских времен Räisälä (в том числе земель на Тивре - Tiuri). К северу от оз. Узервы (Вуоксы) появился Введенский приход в волостке Коврола (ныне Севастьяново -Kirkko-Kaukkola); в ее состав входили и земли из будущих шведских погостов Тивральского (дер. Гитола) и Елгинского (на оз. Тюрья -Тюрьянъярви). Елгинский погост начал выделяться из состава Городенского погоста уже к 1568 г., так как своеземцы поставили здесь, в волостке на Тюрье, Преображенскую церковь.

В соседнем с Городенским Сакульском погосте шли те же процессы. Уже перепись 1500 г. делит погост на две части, описывая большин-

ство его деревень следующим образом: у Сванского озера (оз. Суходольского) и у Святого озера (оз. Пюхяярви – Отрадное) с его Святской переварой. К 1568 г. на Пюхяярви появились Покровская и Святониколаевская церкви, обозначая начало концентрации земель будущего Святозерского погоста шведских времен. И наоборот, в самом южном Сакульском погосте не выделились районы с новыми церквами, поэтому в XVII в., при шведской власти, погост так и остался единым. Другая судьба ждала восточный Соломенский погост: хотя к 1568 г. здесь также не появились церкви по окраинам, но своеобразие Салми заключалось в наличии Суоярвского анклава на севере, и при шведах в XVII в. этот анклав выделился в самостоятельный Сувозерский погост.

Церкви ставились жителями за свой счет, они же содержали священника и причт. Наличие новых церквей указывает на достаток и неплохую демографическую ситуацию, которые зависели от внутренней и внешней политики. Но как раз в середине XVI в. разразилась очередная война со Швецией, а с 1564 г. царь Иван IV Васильевич Грозный развязал опричнину. Приграничный Корельский уезд оставался в Земщине, и он так пострадал и обезлюдел от безудержного роста налогов и бегства спасавшихся от них жителей [История Карелии..., 2001. С. 110, 136-137], что царю пришлось организовать «обыски» - разбирательства о размерах и причинах запустений, с составлением на их основе новых Платежных книг. Так, сведения о Платежной книге Задней Корелы (не ранее 21 марта 1571 г.) [Самоквасов, 1909. Ч. 1. С. 35-37] дополняют несохранившуюся часть Писцовой книги 1568 г. Уточненная в результате «обысков» Платежная книга Ф. В. Калитина 1570-х гг. описывает уже весь Корельский уезд [Самоквасов, 1909. Ч. 2. С. 372-396]. Источники середины XVI в. показывают неизменность административно-владельческого членения приграничного Корельского уезда: он по-прежнему делился на 7 погостов, в Задней Кореле основой деления остаются общины-перевары. Политика Москвы в отношении административного деления уездов была консервативна.

Как видим, наличие новых церквей и приходов и складывание из них новых волостей (будущих погостов) никак не отразилось ни в переписи 1568 г., ни в платежных книгах. Между тем приведенные данные о погостах Передней Корелы доказывают наличие этих новых волостей, по крайней мере, в виде приходов. Но имеется источник о приходах и в Задней Кореле. Речь идет об «Обыске опустевших крестьянских жеребьев в переварах черносошных крестьян Кирьяжского

погоста Вотской пятины» Ф. В. Калитина от 21 марта 1571 г. [Самоквасов, 1909. Ч. 2. С. 59-125]. На первый взгляд, деление Кирьяжского погоста оставалось таким же, как в 1500 г., - это перевары Казимирова, Кюлажская, Петкольская, Кирьяжская, Соральская в Ыломанском погосте, Лаппилажская и Сосковская, Сосковская (делилась на Лапинскую и Сосковскую половины), Островская, Кокольская, Очелажская, Кезвалаская; владения своеземцев; вотчины монастырей: Пречистинского Коневского монастыря, Ивановского из Корелы-города монастыря и Никольского монастыря. Но «Обыск» 1571 г. подписали священники: 1–2. Соральский Егорьевский за себя и за Мегельского Никольского попа; 3. Тервозимский Преображенский; 4. Кирьяжского погоста Рождества Пречистой; 5. Иванский (Рождества Ивана Предтечи); 6. Ильинский Кирьяжского погоста; 7. Евгинской выставки Кирьяжского погоста Рождества Пречистой Богородицы; 8. Успенской Пречис-Богородицы выставочный священник; 9. *еще один* священник [Самоквасов, 1909. Ч. 2. С. 125]. Повсюду в России священники входили в волостное самоуправление, являясь наряду со старостами волостей ответственными перед властями лицами. Выставочными же назывались церкви, которые на первых порах строились и содержались главной церковью погоста, а затем, окрепнув, составляли самостоятельные приходы и центры полноценных волостей. Так, Кондопожская Успенская церковь была выставочной от Виданской церкви св. Николая, поэтому уже в XVI в. Никольский Шуйский погост состоял из Виданской волости (по нижнему течению р. Шуи) и Кондопожской волости, земли которой лежали вдоль берега Онежского озера до Деревянного [История Петрозаводска, 2008. С. 15]. Итак, к 1571 г. в Кирьяжском погосте имелись волости с центрами при церквах: два прихода в Куркиёки, приходы на о. Соролансаари, в Микли, на п-ове Терву, Ильинский и еще один неизвестный приход, а также два прихода с выставочными церквами.

Напомним, что в волостке На Тюрье Городенского погоста местные своеземцы поставили Преображенскую церковь. Но, оказывается, кирьяжцы ясно обозначили свои претензии на эти же земли, построив там собственный выставочный Богородицкий храм. Эта приходская борьба за земли завершилась тем, что в XVII в. на Тюрьенъярви образовался самостоятельный Елгинский погост. Еще одну выставку с Успенской церковью мы идентифицируем с будущим Тиврольским погостом. Здешние земли также принадлежали чересполосно Городенскому и Кирьяжскому погостам, так что

оба погоста имели деревни В Гитоле над озером Гиярвом (Хийтола). Неподалеку стояло селение Веяла (на Veijalanjärvi). Известно, что 29 мая 1599 г. епископ Корельский и Орешковский Сильвестр поставил в попы Веяльской выставочной церкви св. Николая Афанасия Яковлева сына: «совершил есми в попы Никольского Кирьяшского погоста в выставку Веялу к церкви и ко престолу к Николе чюдотворцу в свою епископью» [Материалы..., 1941. С. 378-379]. Обратим внимание на смену престольного почитания в Веяльской выставке (будущем Тивральском погосте) – св. Николай, а не Успение Богородицы. И в центре погоста в Куркиёки вместо Богородицкой и Ильинской церквей, оказывается, стоял храм во имя св. Николая, в связи с чем и весь погост-район был назван Никольским Кирьяжским. Очевидно, такая ситуация сложилась в результате шведской оккупации Корельского уезда 1581–1597 гг.

Наконец, мы можем только предположить, что в 1571 г. церковь во имя Иоанна Предтечи окормляла прихожан будущего Угменского погоста (в Укуниеми). В анализ не «встроились» Иванский и еще один священник. В этом нам совершенно не помогут ни русские, ни тем более шведские переписные книги, составленные во время оккупации. Так, Переписная книга Кексгольмского лена (оккупированного шведами Корельского уезда) 1590 г. – Manttaledh aff Kexholms Lhänn pro Anno 1590 – представляет только три погоста - Кирьяжский, Сердовольский и Иломанский, членение которых идентично русскому административно-владельческому [Manttaledh..., 1987. делению C. 265-282]. Впрочем, деление погостов Корельского уезда на выставки зафиксировал более поздний источник из архива Посольского приказа - «Список» русско-шведской границы от 3 августа 1621 г. [РГАДА, ф. 96, оп. 3, д. 94, л. 27-46].

«Список» фиксирует следующее деление. От Погранкондуш Соломенский погост Кексгольмского лена Швеции граничил с погостами и волостями Новгородского уезда России – с Олонецким погостом и с его Тулмозерской волостью; потом граница отмежевывала эту волость от кексгольмских Шуйстамской выставки (Suistamo) и деревень Кайбонаволок и Гулсюла (Кайпа и Хюрсюля); затем со стороны Швеции шла Шуезерская выставка (Suojarvi), которая граничила с Сямозерской волостью Олонецкого погоста и с Селецким погостом и с его Порозерской (Поросозеро) и Вонгозерской волостями (Селецкий погост входил в округ Лопских погостов Новгородского уезда); наконец, с Селецким погостом и с Ребольской волостью Кольского уезда граничил Иломанский погост.

Можно с уверенностью сказать, что именно успехи в деле церковно-приходского строительства в XVI в. внутри Корельского уезда появление новых церквей и приходов - привели в 1610-х гг. к созданию новой системы погостов Кексгольмского лена Швеции. Но при этом сохранилась территориальная целостность бывшего Корельского уезда, название которого просто заменилось на шведское (Kexholms lähn). Осталось неизменным и самое первое и устойчивое деление Приладожской Карелии (Корельского уезда) на две половины: теперь Передняя Корела стала называться Южным Кексгольмским леном (Kexholms Södre lähn), а Задняя Корела получила название Северный Кексгольмский лен (Kexholms Nårre lähn). Административным центром оставался служить город Kexholm, который в русских источниках XVII в. именовался по-прежнему городом Корелой.

С 1630-х гг. Кексгольмский лен вместе с бывшими Орешковским, Ивангородским, Копорским и Ямским уездами стали одним Ингерманландским генерал-губернаторством с центром в Нарве. Но следует напомнить читателю, что и во времена Великого Новгорода области расселения прибалтийских финнов на северо-западе республики не входили в Новгородскую землю, заселенную по преимуществу русскими, а составляли отдельные Корельскую, Ижорскую и Водскую земли. Именно из этих земель и образовались вышеназванные уезды, выделенные в 1500 г. из первичного Новгородского уезда и названные так по городам на их территориях. Поэтому шведское Ингерманландское генерал-губернаторство, по существу, следовало многовековому опыту российской государственности по вычленению земель прибалтийских финнов в административные общности.

Шведы не выдумали и нового низового разграничения: подобно московским властям конца XV в., они восприняли и местный принцип административного деления, выработанный еще во времена Великого Новгорода: церковь – приход – погост, и само название низовой единицы – pogost. При этом «pogost»-ом они назвали не только центральные волости погостов новгородских и московских времен, но и появившиеся за XVI в. выставки, которые обозначали административную сущность окраинных приходов. По Кексгольмскому лену данное низовое административно-территориальное деление фиксируют шведские переписи и примыкающая к ним документация переписного характера.

Уже первая шведская Переписная книга 1618 г. (названа финскими архивистами

«Käkisalmen läänin maakirja 1618») фиксировала сразу 14 погостов Задней Корелы, которые возникли в результате членения четырех ее погостов «образца» XV-XVI вв. на выставкиволости [Käkisalmen..., 1987]. В данном источнике нет переписи погостов Передней Корелы. Более информативна «Kexholms läns Jordebok 1631» - перепись «Кексгольмского лена» 1631 г. В ней отсутствует только перепись бывших города Корелы с Городенским погостом и Сванского Волочка, но впервые описан новый Святозерский погост (Pyhäjerffnoj Pogost) [Kexholms..., 1987]. В основном переписи фиксируют ситуацию в статике. Динамику передает иной шведский источник от 1 сентября 1635 г., в русском профессиональном переводе Посольского приказа от 23 октября 1635 г. это «Именная роспись беглых крестьян Корелы и Корелского уезда». В Росписи показано почти все административно-территориальное деление Кексгольмского лена с 1620-х по 1635 г.: хотя в ней по-прежнему нет Кексгольма (Корелы) и Räisälä, но уже присутствует Тайпальский посад (бывший Сванский Волочок) [РГАДА, ф. 27, оп. 1, д. 18, л. 428-550].

Наконец, 14 погостов бывшей области Задней Корелы названы Подсиверскими погостами. Так их именует очередная шведская перепись 1637 г., написанная по-русски: «Лета 7146-го году или 1637-го году книги окладные Корелского уезда Потсиверских погостов» [Поземельная..., 1991. С. 458]. Этимология данной номинации достаточно прозрачна. Уже перепись 1500 г. называет многие деревни, расположенные севернее центров их погостов (волостей, перевар), по модели «деревня [такаято] под Сивериком». Так что 14 Подсиверских погостов суть погосты в бывшей Задней Кореле, расположенные к северу от центра всего лена города Кексгольма (Корелы). Даже здесь новые шведские подданные смогли использовать старинный местных способ географической номинации. Для доказательства приведем и написанную по-русски челобитную крестьян «Корельского уезда всех Подсиверных 14 погостов» шведской королеве Христине от 3 сентября 1641 г.: просят освободить их от налогов, так как «все до тла озябло» и в прошлом году был неурожай и хлеб закупают со шведских «Орешка, с Канец, с Дудорова, с Ореховского уезда да с Выбора и с Выборского уезда»; «Писана ся наша мирская челобитная на всею миру в Кирьяшском погосте» [Карелия в XVII в., 1948. С. 45-46]. Карелы по-прежнему упорно использовали сложившиеся в России наименования, хотя все эти земли являлись территорией Швеции.

«Роспись» 1635 г. распределила беглецов не просто по погостам, но внутри последних еще и по годам бегства (с 1620 по 1635 г.) и карельским деревням. Археографическая методика и палеография позволяют идентифицировать искаженные двойным переводом названия деревень с русскими переписями XV-XVI вв. Источник зафиксировал 1690 случаев бегства жителей лена в Россию, из которых 1103 (65 %) случаев представляли собой бегство целыми семьями. Из последних в 413 случаях значится их количественный состав (среднестатистически -4,61 человека). Столь низкий показатель объясняется тем, что 35 % составляли семьи из 2-3 человек, т. е. молодые семьи. Если принять во внимание и детей в остальных бежавших семьях (760 случаев бегства «с семьей»), то можно уверенно констатировать: Кексгольмский лен покидала значительная, наиболее молодая, активная и репродуктивная в ближайшем будущем часть карельского общества [РГАДА, ф. 27, оп. 1, д. 18, л. 428-550]. На их места шведские помещики переводили в основном финнов, а карелы становились этническим меньшинством в Приладожской Карелии.

Произведенный анализ источников показывает, что шведское низовое административнотерриториальное деление полностью проигнорировало бывшее административно-владельческое членение Корельского уезда на «волости», перевары, почтовые ямы, поместья и вотчины; вместо них появились шведские ленные владения и поместья. Если раньше наблюдалась сильная чересполосица земель погостов, так что их деревни могли находиться в одном районе или наоборот, в другом погосте, то теперь деление стало более строгим. При шведах старые и новые погосты наконец обрели четкие границы и все находившиеся в их пределах поселения были приписаны именно к данным погостам. Так что в шведское административно-территориальное деление вошла уже каждая деревня: деревня - церковь - приход – погост, чего раньше не наблюдалось изза исторически сложившейся при власти Новгорода и Москвы административно-владельческой чересполосицы.

В качестве комментария к данному выводу приведем слова Веййо Салохеймо к публикации упомянутой выше Окладной («Поземельной») книги 1637 г.: «Принципы налогообложения, отразившиеся в Поземельной книге, соблюдались в Карелии вплоть до 1765 года, примерно 130 лет, несмотря на происходившие политические и административные изменения» [Поземельная..., 1991. С.3]. Иными словами, данную шведскую систему восприня-

ла Российская империя, используя ее вплоть до Третьей ревизии времен Екатерины II.

Суммируя материал исследования, перейдем к выводам. За первые семь веков «письменной» истории Приладожской Карелии система географического расселения в принципе не изменилась, поскольку с самого начала была привязана к природным условиям (наличие пригодных к сельскому хозяйству земель и промыслов). Наиболее заселенными являлись берега Ладоги, а район к северу от линии Вяртсяля – Суйстамо был заселен редко. Но с 1620-х гг. этнический состав жителей стал изменяться: на смену бежавшим карелам пришли финны. Административно-владельческая структура времен Великого Новгорода не перешла полностью в московский период истории Приладожья, поскольку часть земель сменила владельцев. Но при этом переварыобщины и вотчины карельских своеземцев и монастырей остались с прежним составом деревень и в прежних границах. В шведский период истории корпус владельцев полностью обновился, многие жители бежали и поэтому состав и границы владений резко изменились.

Наиболее последовательно эволюционное наследование различимо в административнотерриториальном устройстве Приладожской Карелии. Территории Корельской земли, Корельского уезда и Кексгольмского лена практически совпадали, карельское Приладожье всегда делилось на две половины - области к югу и к северу от р. Вуоксы: Передняя Корела (Южный Кексгольмский лен) и Задняя Корела (Северный Кексгольмский лен = Подсиверные погосты). Границы погостов начинали складываться еще в дохристианское время как границы различных племенных групп карелов. Затем это разделение поддержало церковно-приходское разграничение на приходы. Административно приходы составляли погосты: одна церковь - один приход - один погост. В XVI - начале XVII в. уже внутри погостов образовались новые приходы-выставки. Именно данное церковно-приходское деление и было положено шведами в основу своей системы разграничения на pogost-ы, но при этом те погосты, в которых не имелось к 1620-1630-м гг. новых приходов (Сакула, Салми), остались в своем прежнем неделимом качестве. Старые и новые погосты обрели четкие границы, территориально объединявшие все деревни по принципу: деревня - церковь - приход - погост. Сложившаяся в 1637 г. низовая административно-территориальная система после 1710 г. без особых изменений влилась в Российскую империю и просуществовала в ней вплоть до 1765 г.

Источники и литература

Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.). М.: Наука, 1963. С. 65–120.

Жуков А. Ю. Приладожье в 1500 году // Вуокса. Приозерский краеведческий альманах, 2002–2003. Вып. 3. СПб.; Приозерск: МП Комплекс, 2003. С. 104–114.

Жуков А. Ю. Формирование границ Карелии: крестьянское освоение территории и государство XII– XVII вв. // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов / Гуманитарные исследования. Вып. 1. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2008. С. 7–19.

Жуков А. Ю., Кораблев Н. А., Макуров В. Г., Пулькин М. В. Ребольский край. Исторический очерк. Петрозаводск: Техцентр RISO, 1999. 21 с.

История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.

История Петрозаводска: власть и горожане. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2008. 375 с.

Карелия в XVII в.: Сб. документов. Петрозаводск: Госиздат K-ФССР, 1948. 443 с.

Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные известия о карелах. Петрозаводск: Карелия, 1990. 140 с.

Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. І. М.: Языки славянской культуры, 2001. 734 стб.

Материалы по истории Карелии XII–XVI вв.: Сб. документов. Петрозаводск: Госиздат К-ФССР, 1941. 440 с.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. 356 с.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. Т. III. М.: Языки славянской культуры, 2000. 692 с.

Переписная окладная книга по Новугороду 7008 г. Вотской пятины. Корела с уездом // Временник императорского Московского о-ва истории и древностей российских. М., 1852. Кн. 12. Материалы. С. 1–188.

Писцовая книга Водской пятины 1568 г. // История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1987. Т. I. С. 52–178.

Поземельная книга Кексгольмского лена 1637 г. // История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1991. Т. II. С. 43–734.

Российский государственный архив древних актов (в тексте – РГАДА).

Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства. М., 1909. Т. 2. Ч. 1. С. 35–37; Ч. 2. С. 372–396.

Якубов К. К. Россия и Швеция в первой половине XVII в. Сборник материалов, извлеченных из Московского Главного архива Министерства иностранных дел и Шведского Государственного архива и касающихся истории взаимоотношений России и Швеции в 1616–1651 гг. М., 1897. 284 с.

Kexholms läns Jordebok 1631 // История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1987. Т. I. С. 288–567.

Käkisalmen läännin maakirja // Там же. С. 283–387. Manttaledh aff Kexholms Lhänn pro Anno 1590 // Там же. С. 265–282.

Saloheimo V. Pohjois-Karjalan asutusmuodot 1600-luvulla. Kylä- ja pitäjäkartat. Joensuu: Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, 1971. Sarja A. N:o 1. 275 s.; N:o 2. 187 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Жуков Алексей Юрьевич

зав. сектором истории, к. и. н. Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910 эл. почта: Zhukov A@Sampo.ru

тел.: (8142) 526184

Zhukov, Alexey

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: Zhukov_A@Sampo.ru tel.: (8142) 574387 УДК 940

НАСЕЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ И РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Е. Ю. Дубровская

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье освещены этнические аспекты взаимоотношений военнослужащих и жителей Великого княжества Финляндского в заключительный период финляндской автономии и во время российской революции 1917 г. Проанализированы взаимные представления, контакты и противоречия, возникавшие между военными и гражданским населением. Это открывает перспективы для изучения проблем политической культуры, военной антропологии, влияния военного фактора на жизнь населения «своей» / «чужой» территории, какой воспринималась Финляндия в Российской империи.

Ключевые слова: Первая мировая война, российская революция, 1917, военнослужащие, гражданское население, образы, контакты, противоречия.

E. Yu. Dubrovskaya. POPULATION OF FINLAND AND RUSSIAN SERVICEMEN: PROBLEMS OF MUTUAL PERCEPTION DURING WORLD WAR I

The paper throws light upon the ethnic aspects of relations between Russian servicemen and inhabitants of the Grand Duchy of Finland in the final period of Finland's autonomy and during the Russian revolution of 1917. The notions of each other, contacts and contradictions between military men and civil population are analyzed. This opens prospects for the study of political culture and military anthropology problems as well as the impact of the military factor upon the way of life in "Our" / "Their" territory as Finland was perceived in the Russian Empire.

Key words: World War I, Russian Revolution, 1917, servicemen, civil population, images, contacts, contradictions.

Проблема взаимоотношений российских военнослужащих и населения Финляндии как в заключительный период финляндской автономии, так и во время Гражданской войны 1918 г. в ставшем независимым финляндском государстве продолжает привлекать внимание исследователей. На формирование образа автономного в составе Российской империи Великого княжества и представлений российских

военнослужащих о его жителях, прежде всего, повлияла динамика отношения населения к меняющемуся характеру имперского присутствия на этой северо-западной окраине страны в годы Первой мировой войны.

Период 1914–1918 гг. был для России не просто временем внешнего военного противостояния. Война оказала существенное влияние на внутреннюю политику империи, повысив

конфликтность политических, экономических, социальных и этнических отношений. В новейшей историографии подчеркивается качественно новый характер войны, которая потребовала «тотальной» мобилизации внутренних ресурсов для ведения внешних военных действий [Сенявская, 1999; Асташов, 2003; Новикова, 2008].

Великое княжество Финляндское оказалась именно тем регионом на рубежах воюющей империи, где на фоне отсутствия собственно военных действий образовались многочисленные внутренние «фронты». Первая мировая война в Финляндии – это масштабное испытание на прочность как царской империи последнего периода ее существования, так и традиционных методов управления центра зависимыми территориями [Соломещ, 1992; Черняев, 1993; Кетола, 1994; Колоницкий, 2001; Westerlund, 2001; Новикова, 2002; Клинге, 2005; Правилова, 2006; Luntinen, 2008; Юссила, 2009].

Милитаризация внутренней жизни Российской империи в период мировой войны была связана с централизацией внутреннего управления, вызвала конфронтацию между гражданской и военной администрацией, содействовала перенесению образа внешнего врага во внутренние отношения между национальностями государства. Наиболее ярко это проявилось в распространении германофобии. Качественно новый характер войны разрушал традиции имперской политики и уклад имперской жизни. Но особенно неоднозначным оказалось влияние войны на судьбу западных окраин в силу их стратегического положения в зоне противоборства воюющих империй, существовавшей системы «деконцентрированного» управления (вплоть до статуса автономии, как в случае Финляндии), наконец, культурной инаковости, ставшей ведущим фактором в конструировании образа врага в период войны.

В данной работе ставится задача исследовать, как складывались взаимные представления финляндцев и российских военнослужащих в годы Первой мировой войны. Это открывает перспективы дальнейшего изучения роли военного фактора в истории России начала XX в. и исследования особенностей восприятия российских военнослужащих гражданским населением империи. Противопоставление военных себя финляндцам в рамках дихотомии «мы – они» и аналогичное обособление гражданского населения от «человека с ружьем» – представителя чужой культуры – интересно с точки зрения исследования этнических стереотипов, формировавшихся как у военных

и членов их семей, так и у жителей гарнизонных городов Финляндии [Дубровская, 2008].

Обращает на себя внимание весьма острая проблема контактов российских военных с населением Финляндии во время Первой мировой войны. Долгое время российские историки обходили молчанием вопрос о противоречиях, возникавших между военнослужащими и гражданским населением, и о представлениях, складывавшихся у них друг о друге.

Наиболее обстоятельное исследование истории российской армии и флота в Финляндии за более чем вековой период вхождения Великого княжества в состав Российской империи принадлежит П. Лунтинену [Luntinen, 1997]. Монография его соотечественницы О. Каремаа освещает, в частности, восприятие финляндским обществом российского административного и военного присутствия в бывшем Великом княжестве в 1917–1918 гг. [Кагетаа, 1999]. Одни историки в соответствии с давней финляндской традицией продолжают называть события зимы – весны 1918 г. «освободительной войной», другие считают войной гражданской или «борьбой классов» [Manninen, 1993; Вихавайнен, 2009. С. 14-24].

Накануне Первой мировой войны основная расстановка сил участников назревавшего в Европе вооруженного противостояния была известна уже многие годы, поэтому Россия заранее стремилась упрочить свою безопасность на финляндском направлении. Однако средства, которыми решалась эта задача, раздражали финнов, и в столкновение стали приходить интересы национального развития Финляндии, с одной стороны, и закономерности имперского развития России, подкрепленные военностратегическими и экономическими потребностями империи, с другой [Расила, 1996].

Документы из фондов российских и финляндских архивов, современные исследования по истории российской армии и флота в Финляндии позволяют по-новому взглянуть на круг вопросов, связанных с восприятием рядовыми и офицерами населения княжества – финнов и шведов, проследить за отношением армейцев и флотских чинов к деталям быта и иным аспектам гражданской жизни.

В то же время материалы, обнаруженные в Архиве фольклора Финского Литературного Общества (собрание памятников устной традиции «1918»), дают возможность увидеть российских военных глазами финляндцев, как правило, их младших современников, правда, почти через полувековую толщу времени [SKS KRA]. Эти воспоминания, собранные в 1966 г. в рамках правительственного проекта и объеди-

ненные в коллекцию документов о событиях Гражданской войны в Финляндии, наиболее подробно изучены исследовательницей У.-М. Пелтонен [Peltonen, 2003]. Они привлекались и при подготовке итоговых публикаций по проекту канцелярии Государственного совета Финляндии «Людские потери в Финляндии. 1914–1922» [Venäläissurmat, 1/2004; 2/2004].

Неизменным пунктом предлагавшегося плана для рассказа о событиях, предшествовавших 1918 г., был вопрос о «русских войсках, периоде войны и русской революции». Однако при всей привлекательности этого источника, практически не вводившегося в научный оборот российскими исследователями, приходится учитывать то обстоятельство, что он создавался много позже описываемых событий, когда Финляндия уже прошла через горький опыт войн со своим восточным соседом, и в обществе сформировалась определенная «традиция рассказывания» о «России и русских». Воспоминания о тогдашнем негативном отношении к военным и особенно об участии (своем или своих близких) в акциях «сопротивления завоевателям» применительно к периоду Первой мировой войны нередко содержат преувеличения.

Наряду с множеством свидетельств мемуарного характера, авторы которых делают акцент на явных недостатках русских военных (пьянство, лень, зависть, неблагодарность и т. п.), немало и таких, которые рисуют их образ положительным. Ниже на них остановимся особо.

Столица Великого княжества Финляндского Гельсингфорс (Хельсинки), как и российская столица, был городом, населенным людьми разных национальностей. Помимо русских среди мигрантов из России встречались уроженцы Прибалтийских губерний, поляки, евреи, татары, цыгане, немцы и др., прибывшие сюда вместе с российскими войсками. Русские составляли наиболее многочисленную этническую группу. В конце XIX в. русский православный приход в Гельсингфорсе насчитывал до полутора тысяч чел., в 1910 г. - 2406 чел., из которых «постоянными» местными прихожанами были 513 чел., а 1899 чел. не являлись гражданами Финляндии. В 1900 г. в Великом княжестве Финляндском было 6 тыс. чел. русских, преимущественно живших в Гельсингфорсе и Выборге, что составило не более 0,22 % всего населения Финляндии [Koukkunen, Kasanko, 1977. S. 17; Turpeinen, 1984. S. 27].

Конкретной реальностью периода наступления имперской власти на автономные права Финляндии стал роспуск финляндских нацио-

нальных войск. Задачи защиты территории княжества отныне должны были выполнять исключительно российская армия и флот. После ликвидации национальных вооруженных сил Финляндия в 1905 г. была включена в состав Петербургского военного округа. На ее территории происходило развертывание 22-го армейского корпуса, численность которого первоначально предполагалось довести до 14 тыс. человек. К началу войны она составила 35–40 тыс. человек. Корпус располагался вдоль южного побережья Финляндии [Ошеров, Суни, 1986. С. 63; Соломещ, 1992. С. 20; Расила, 1996. С. 136].

Численность российских подданных в Финляндии к лету 1917 г. достигла 200 тыс. чел., включая 125-тысячный личный состав армейских частей и подразделений, прежде всего, дислоцированного в Финляндии 42-го армейского корпуса, войск пограничной стражи и кораблей Балтийского флота, базировавшихся на финляндские порты [Luntinen, 1997. S. 342; Närhi, 1997. S. 171–172, 180]. Миф финляндцев, представлявший присутствие российской армии и флота в княжестве накануне и в годы Первой мировой войны чуть ли не «оккупацией» Финляндии, находит себе как подтверждение, так и опровержение в воспоминаниях современников.

Региональная политика самодержавия в своем стремлении к политической и экономической интеграции страны вынуждена была учитывать своеобразие Финляндии, этой пограничной территории на северо-западном рубеже империи. На практике это ставило военные власти перед необходимостью знакомить как «традиционного» новобранца, так и призывника-резервиста из российской глубинки с пусть даже самыми общими сведениями об автономной Финляндии, «национальной окраине», которой суждено было стать местом прохождения службы для тысяч рядовых и их офицеров.

К началу Первой мировой войны командование русскими войсками в Финляндии не могло ограничиваться публикацией специальной литературы, информировавшей высший офицерский состав об естественно-географических и тактических особенностях ведения боевых действий на территории княжества. Предпринимается попытка подготовить «Краткий очерк истории Финляндии и нынешнего ее устройства», рассчитанного на унтер-офицерский состав. Автором такого обзорного очерка, изданного ротапринтным способом, стал ротмистр Ильин [КА, д. 17247, л. 1–24]. К сожалению, точное время его написания установить

не удается, однако упоминание автором Законов о равноправии русских в Финляндии 1910 и 1912 гг. свидетельствует в пользу того, что очерк был подготовлен незадолго до начала Первой мировой войны.

Подготовка текста, обнаруженного среди документов коллекции «Русские военные бумаги» в Национальном архиве Финляндии, была продиктована необходимостью дать служившим здесь унтер-офицерам некоторые общие представления о Великом княжестве. Автор остановился на таких мало- или совсем неизвестных прибывавшим из России военным вопросах, как население края в древности, период шведского владычества, присоединение Финляндии Россией в результате наполеоновских войн, автономные права Великого княжества в составе Российского государства, административное устройство Финляндии, обязанности Императорского Финляндского сената и сейма, судебная система, городское самоуправление, церковь, высшие и средние учебные заведения, и даже перечислил действовавшие здесь секты.

Примечательны содержащиеся в очерке Ильина упоминания об этнических аспектах жизни сопредельных территорий. Сведения эти различны по характеру - от простой фиксации этнонимов периода средневековья («полудикое финское племя "ямь"» и «полудикое финское племя "кареллы"») до суждений о типичных свойствах тех или иных народов, и прежде всего, о ближайшем этносе-соседе - о финнах. Приводимые им оценки мало отличаются от тех, что встречаются в многочисленной литературе по «финляндскому вопросу», издававшейся накануне войны и изобиловавшей ссылками на враждебное отношение финляндцев к русским, к Православной церкви, к представителям русской армии и власти, к эмблемам имперской власти и пр. Н. Вальтер, в частности, по пунктам перечислял «отрицательные стороны финской жизни», что должно было, по мысли автора, привести читателя к негативному ответу на вопрос «Вправе ли финляндцы гордиться своей культурой перед русским народом?» [Вальтер, 1913. C. 253].

Ротмистр Ильин, сообщая служившим в Великом княжестве унтер-офицерам о «культуре шведов в Финляндии» в период шведского владычества, отметил: «шведы все же старались привить культуру финнам: распространяли христианство, вводили некоторый порядок в управление народа, издавали законы, устраивали суды и т. д., но при этом обставляли дело так, что финны всегда и во всем зависели от своих культурных завоевателей». Из очерка чи-

татели узнавали, что «Швеция, бывшая могущественным государством, не могла хладнокровно смотреть на усиление нашей родины» и тогда «Император Петр Великий решил снова отобрать от Швеции старинные русские земли» [КА, д. 17247, л. 3].

Однако Ильин подчеркивал, что окончательный переход бывшей шведской окраины под власть России, предоставленные ей автономные привилегии, а также «дарование Финляндии прав иметь собственную монету и собственные войска» не снискали «искренней признательности» жителей княжества [КА, д. 17247, л. 3].

Специальный параграф «Неблагодарность финляндцев» повествует о том, что, несмотря на оказанные милости, они притесняли немногочисленное русское население края и не предоставляли ему «никаких прав в то время, когда сами пользовались всеми правами внутри Империи», и не желали «пойти навстречу требованиям правительства, предъявляемым финляндцам для общего с империей блага» [КА, д. 17247, л. 3].

В 1885 г., установив памятники в честь одержанных ими «частичных побед над русскими войсками» во время русско-шведской войны 1808-1809 гг., «...финляндцы, - пишет автор, - бросили оскорбительный вызов всем русскими людям и возмечтали о самостоятельном государстве, внушая всем, что Финляндия связана с Россией лишь в лице Монарха, что она не есть Россия, а отдельное государство, состоящее в унии (в союзе) с Россией». Об этом Ильин упомянул в разделе «Заблуждения финляндцев» [КА, д. 17247, л. 7], где пояснил причины их недовольства деятельностью генерал-губернатора Н. И. Бобрикова – ревностного проводника централизаторской политики имперской власти - из-за его стремления объединить Финляндию с Империей.

В развернувшихся «боях за память» о последней русско-шведской войне 1808-1809 гг. [Витухновская, 2007] гражданская администрация княжества призвана была взаимодействовать с военными властями. Свидетельство тому - предписание Выборгского губернатора генерал-майора Ф. фон Фалера коронному ленсману (главе местного управления) Суоярвского округа в Восточной Финляндии, направленное в декабре 1913 г. Из документа явствует, что Начальник военных перевозок по железным дорогам и водным коммуникациям полковник Месснер, действительный член Императорского военно-исторического общества, получил поддержку финляндского генерал-губернатора Ф. А. Зейна

в организации сбора «необходимых свидетельств о сохранившихся в Финляндии военно-исторических памятниках» для последующего широкого оповещения о найденных материалах. По распоряжению Зейна все губернаторы княжества должны были оказывать Месснеру полное и всестороннее содействие в осуществлении его задачи. В частности, позволить названному офицеру штаба «беспрепятственно проникать во все учреждения и заведения, имеющие какое-либо значение для изучения древних войн», и способствовать ему в исследованиях для подготовки отчета о сохранившихся в Финляндии военноисторических памятниках [НА РК, ф. 830, д. 14, л. 1].

По поводу принятого центральной властью в мае 1912 г. Закона о равных с финляндцами правах русских граждан в Финляндии, вызвавшего «пассивное» сопротивление внутри финляндского общества, ротмистр Ильин пояснил, что, всячески стараясь воспрепятствовать проведению Закона в жизнь, «пассивисты» отказываются «исполнять работу, так или иначе относящуюся к ненавистному им закону, не вносят фамилии русских в избирательные списки, не разрешают им торговать и т. д.» [КА, д. 17247, л. 11].

Межэтнические противоречия, возникавшие в крае в столь напряженной политической обстановке и ставшие заметной стороной повседневной жизни этносов-соседей, нашли следующее отражение на страницах очерка: «Вот какой монетой финляндцы отплатили и продолжают платить русским за сделанное им Россией добро. Но разберемся, повинен ли перед нами, русскими, вообще весь финляндский народ? По справедливости, всю вину надо сложить только на некоторую часть его, которая подстрекает население Финляндии, во-первых, к неисполнению требований Имперского правительства, а вовторых, к ненависти против русских... Кто занимает должности чиновников, кто служит в городских самоуправлениях, кто, наконец, является хозяевами банков, кредитных учреждений - конечно, в подавляющем количестве шведы. Все они, состоя вожаками разных политических партий в Финляндии, и восстанавливают остальное население против нас, русских»...» [КА, д. 17247, л. 12].

Официальный Петербург торопился подавить сепаратистские устремления финляндцев, опасаясь перехода Великого княжества под контроль Германии в случае получения независимости или даже расширения автономии [Юссила и др., 1998. С. 95–99]. Эти обстоя-

тельства учитывались при подготовке унтерофицерского состава российских войск, дислоцированных в крае. Автор «Краткого очерка истории Финляндии» обвинил финляндских шведов в том, что они играли руководящую роль в Шведской народной и Младофинской партиях конституционалистов, а также в организованном после общероссийской политической стачки 1905 г. союзе «активистов» «Voima» («Сила»), который осенью 1905 г. был запрещен финляндским Сенатом по требованию центральной российской власти.

«Не хочется им расставаться с положением главных хозяев края, – писал Ильин, – поэтому они всеми силами и стараются отстоять свои позиции, справедливо рассуждая, что русские не допустят продолжения такой ненормальности». Завершая изложение взглядов военных властей на обстановку, сложившуюся в княжестве, автор отметил: «В последнее время, слава Богу, в среде финнов уже слышатся трезвые голоса в пользу русских, но пока таких голосов, к сожалению, очень мало» [КА, д. 17247, л. 12].

Примечательно руководство, которое должны были усвоить ознакомившиеся с пособием нижние чины унтер-офицерского звания в отношении гражданского населения края: «До того же времени, когда все население Финляндии поймет, что их истинными друзьями могут быть только русские, нам, служащим в этой стране, надлежит стараться показать населению, что мы пришли сюда не для нанесения им обид, а для своего дела, направленного на общую пользу. Поэтому мы в тех немногих случаях обращения к нам за чем-либо финляндцев безусловно обязаны идти навстречу им, однако же не нарушая при этом присяги, долга службы и распоряжений своего начальства. Вот тогда эта северо-западная окраина поймет, кого она должна слушаться, кому повиноваться» [КА, д. 17247, л. 13].

Приведенный красноречивый пассаж свидетельствует о коренном отличии восприятия сложившейся ситуации финляндской общественностью и русским военным командованием. По наблюдению исследователя, для русских в основе «финляндского вопроса» лежали соображения военной и оборонной политики, на национальные проблемы в Петербурге не обращали достаточного внимания, поскольку государственный интерес стоял превыше всего, в том числе и национальных проблем. Между тем «в Финляндии дела рассматривались не с военной точки зрения, и здесь отнюдь не опасались за безопасность российской столицы. Для финнов было важно все, что затрагивало финскую национальность и право на национальное самоопределение» [Расила, 1996. С. 133]. В таких обстоятельствах находившиеся в Финляндии российские войска не только становились средством проведения политики центральных властей, но и неизменно оказывались заложниками политических амбиций сторон, что особенно проявилось в годы Первой мировой войны [Башмакофф, Лейнонен, 1990. С. 6–12; Мусаев, 2007. С. 53–105; Новикова, 2008. С. 193–199; Baschmakoff, 2010. С. 260–261].

Пришедшее вслед за Февральской революцией 1917 г. время бесконтрольной «свободы» вовсе не стало главным ускорителем разложения в армии [Булдаков, 1997. С. 126]. В тыловых гарнизонах финляндского княжества и на балтийских военно-морских базах, удаленных от театра военных действий, бытовая распущенность, пьяные дебоши и вызывающее поведение по отношению к местному населению не только рядовых военнослужащих, но и офицеров сделались частым явлением задолго до событий весны 1917-го.

О событиях такого рода сообщалось в рапортах гельсингфорсского полицмейстера финляндскому генерал-губернатору. Примеры содержатся и в «Справке о бывших в Финляндии в 1915 г. происшествиях, в коих были замечены чины флота Балтийского моря» [KA, «ККК» Hd 102]. В числе подобных нарушений в документе описан скандал, случившийся в начале мая 1915 г. в одном из гельсингфорсских ресторанов. Подвыпивший прапорщик Нежилов был раздражен тем, что студент Коскинен находился в зале ресторана в фуражке, и за это ударил студента «кулаком по лицу, а затем нанес оскорбление действием торговцу Лилиусу», попытавшемуся пояснить, что «студенты по старой традиции в день получения фуражек носят их и в комнате».

Причиной, вызвавшей своего рода «культурный шок» сторон, стала полная неосведомленность служивших в Финляндии военных о традициях, обычаях и особенностях народа, населявшего Великое княжество. В данном случае о давнем студенческом обычае носить, особенно в первые дни мая, студенческую фуражку - lakki-, составлявшую предмет гордости удостоившихся ее. Сохранились сведения об инцидентах в Гельсингфорсе и Або, виновниками которых оказались «находившиеся в состоянии сильного опьянения» флотские офицеры, угрожавшие то револьвером, то обнаженным кортиком, бесчинствовавшие в ресторанах, гостиницах и частных домах финляндцев, «беспокоившие публику в скверах» и даже открывавшие стрельбу по мирным жителям [KA, «ККК» Hd 102].

Поскольку об отношении российских военных к гражданскому населению Финляндии нами уже было подготовлено несколько публикаций [Дубровская, 2003, 2004, 2008. С. 57–77], представляется целесообразным подробнее остановиться на обнаруженных в финноязычных свидетельствах упоминаниях очевидцев об особенностях восприятия финляндцами «сынов востока», оказавшихся в княжестве по долгу службы.

В начале 1917 г., когда в Гельсингфорсе по карточкам отпускались хлеб, масло, сахар, обеспечение продуктами русских военнослужащих и их семей велось строго через интендантство соответствующих частей и подразделений. Однако у жителей княжества сохранялось устойчивое представление о том, что «русская армия их объедает», что отчасти основывалось на печальном опыте проводившихся в военное время реквизиций. Ежемесячная реквизиция у крестьян около 6000 голов скота вела к его истреблению, а значит, к резкому сокращению молочных продуктов на столе рядового финского потребителя [Тиандер, 1917. С. 66–69].

Между тем, как рассказывал один из жителей губернии Ваза (Вааса), в местах расквартирования частей солдаты сами доставляли себе провизию, у них всегда были привозная пшеничная мука и сахар. Другой старожил вспоминал о том, как «однажды в пост русские дали ему пшеничную муку». По мере обострения продовольственных трудностей люди стали часто ездить по окрестностям, с тем чтобы обменять мыло на хлеб. Некоторые горожане везли с собой масло с целью поменять его на муку у военных. Житель прихода Лиллкюро Э. Ханнунен «общался с русскими почти ежедневно», а в детстве часто бывал у них в казармах, располагавшихся в центре села. По его словам, «до революции к стоявшим здесь военным относились с пониманием, сохранялось естественное общение и никто не отзывался о них плохо», «никакой ненависти и скандалов никогда не было» [Heikkinen, 1999. S. 27]. К тому же здесь служили эстонцы и ингерманландцы, которые могли общаться с населением по-фински, а в деревне Курикка размещался целый отряд велосипедистов (самокатчиков), полностью состоявший из эстонцев.

Когда в Финляндии стал ощущаться дефицит сахара, местное население, по словам автора воспоминаний, «умея себя вести», всегда могло приобрести его у русских [Heikkinen, 1999. S. 28]. Сахар, в частности, служил сред-

ством оплаты жителям деревень за предоставленную возможность помыться в бане.

Уроженец местечка невдалеке от г. Пори (Бьернеборг) вспоминал, как в один из мартовских дней 1917 г. из города в их деревню прибыла казачья сотня, после чего человек семьдесять казаков регулярно ходили к ним в баню вместе с переводчиком - кавалеристом Федоровым. «Против них ничего не могу сказать плохого. Они всегда расплачивались сахаром, приносили его в наволочке, правда, не безупречно чистой, – пишет Эйнар Палмунен о своих впечатлениях (ему было тогда 14 лет). – Както раз мама забыла золотое кольцо на комоде в комнате, где рядовые одевались и ожидали после сауны кофе, а среди них был и такой, кого мы видели впервые». После ухода военных колечко обнаружилось на прежнем месте, что дало основание автору воспоминаний сделать наблюдение, противоречащее расхожему стереотипу: «значит, честность была присуща и им» [SKS KRA, Side 22: 105-106].

По воспоминаниям финнов из приботнических приходов, солдаты каждый день пекли хлеб и приглашали к столу тех, кто к ним заглядывал, и обижались, если от приглашения отказывались. «Многие считали их еду хорошей и хвалили её». Э. Палмунен пишет о том, как в детстве пил чай в казарме, и о поставленном тогда рекорде в шесть стаканов, как угощался солдатским супом, хотя и «на воде для умывания». Однажды офицер заказал ему набрать грибов, но заказ оказался неудачным: жители деревни собирали грибы только для компостных куч, и принесенная корзина оказалась напрасной. Никто из односельчан не умел их приготовить, и день «оказался потраченным впустую» [SKS KRA, Side 22: 108; Heikkinen, 1999. S. 27].

Э. Палмунен также запомнил красивые сапоги, сшитые ему русским казаком, с которым договорились жестами: ведь «в деревне было трудно найти сапожника, а в этих я щеголял еще призывником в 1923 году». Правда, по расчетам отца Эйнара, получить остаток кожи он должен был, а сапожник все-таки не вернул остаток, «но и то хорошо», – заключает автор воспоминаний [SKS KRA, Side 22: 108].

В январе 1918 г., во время вспыхнувшей в Финляндии гражданской войны, знакомых Э. Палмунену казаков вывезли поездом в направлении Пейпохья. В его детской памяти сохранились подробности этих событий. «Та группа русских, которая ходила к нам в баню, перед отправкой пришла еще раз – попрощаться и поблагодарить за гостеприимство, как требуют правила хорошего тона». Автор воспоминаний, конечно же, далек от того, чтобы идеализиро-

вать своих русских приятелей. По его словам, последний приход в казармы православного священника с целью «причастить» отъезжающих (такие действия вне храма в пересказе человека иной конфессиональной принадлежности сами по себе вызывают сомнение) завершился тем, что «все оказались пьяны вдребезги, не исключая батюшки». По заключению Палмунена, писавшего воспоминания в пожилом возрасте, причиной этого стало снижение у казаков дисциплины: к тому времени их сотня была уже «большевистски настроена».

Мотив падения дисциплины в среде военных, ставшего очевидным только после октябрьских событий 1917 г. в Петрограде, довольно распространен в воспоминаниях и соотносится с устоявшимся представлением финляндцев о том, что и как нужно вспоминать об Октябрьской революции. «Следует отметить, что ухудшение дисциплины не было непосредственным результатом Февральской революции 1917 г., - пишет автор воспоминаний, - лишь когда большевики пришли к власти, это ухудшение стало явным». По свидетельству Э. Палмунена, его семья получила от переводчика Федорова разъяснения о настроениях в казармах: «говорили, что "буржуев" надо ликвидировать». Неудивительно, что такое «изменение настроений солдат» повлияло на «общую обстановку в деревне».

Однако и в первые годы войны отношения финляндцев с российскими военными складывались непросто. В Финляндию в составе армейских частей попадали представители этносов, прежде совершенно незнакомых местному населению, внушавшие поэтому опасения и часто отождествлявшиеся с военнослужащими казачьих частей. Жившая в Выборге Лемпи Ванханен вспоминает о прибытии в район местечка Ямса «множества киргизов и лошадей», она пишет о казаках, плясавших вприсядку и удивлявших местных жителей джигитовкой и игрой на балалайке. Уроженка финляндской столицы Анни Йортикка упоминает о построенных в Гельсингфорсе (Хельсинки) больших казармах, которые, как говорили, предназначались «для киргизов, очень грозных казаков». А на следующее лето «в город привезли китайских солдат, которых разместили где-то в лагерях, в районе нынешнего крематория в Хиетаниеми» [SKS KRA, Side 41: 95]. Хейкки Хови из-под Выборга запомнил, что в начале 1915 г. в их местность прибыл «русский саперный батальон для строительства укреплений, состоявший из татар и калмыков».

Этнолог А.-М. Острём опубликовала детские воспоминания финляндских шведов,

живших в Гельсингфорсе в начале XX столетия. В них встречаются рассказы то о «русских казаках», внезапно промчавшихся по городскому парку «на своих небольших лошадях» к ужасу нянечек, вышедших с детьми на прогулку, то о русских мороженщиках, у которых ребятам покупали «первомайское мороженое», помещавшееся «между двух вафель», или о том, что во время Первой мировой войны «мама шила белье для русской армии» [Åström, Sundman, 1990. S. 71, 146, 196].

Порой у жителей финляндского княжества возникали конфликты с казаками, ведь «сначала те считали, что пришли во вражескую страну», однако «вскоре под воздействием своего начальства стали вести себя пристойно». В дальнейшем отношения населения и русских «были мирными»: местные жители «не хотели иметь дел с саперами и казаками», однако коекто из женщин с ними общались, поскольку «позже в нашем приходе появились казачата», – вспоминает выборжанин Хейкки Хови [SKS KRA, Side 4: 175–176, 179].

Между военными и местными жительницами было заключено несколько браков, но более распространенными были кратковременные связи – явление, получившее название «русские невесты» и становившееся в коммунах серьезной проблемой. По воспоминаниям жителей прихода Лиллкюро губернии Ваза, каждое воскресенье в деревне устраивали танцы, где «девушки весьма грубо обращались с русскими», в частности, и из-за того, что в Лиллкюро «после них осталось несколько младенцев» [Luntinen, 1997. Р. 407; Heikkinen, 1999. Р. 27, 29–30].

Языковой барьер не позволял контактам между местными жителями губернии Ваза и находившимися в Эстерботнии военными выходить за рамки элементарных бытовых отношений, хотя сохранились свидетельства о том, что в некоторых коммунах русские обычно приглашали финнов и шведов на свои праздники «с песнями и музыкой» [Nykvist, 1988. S. 115]. В финляндской провинции, вдалеке от крупных городов, где не было большого скопления военных, политические баталии, разворачивавшиеся в столичной прессе Великого княжества, не влияли на повседневную жизнь сельского населения и не сказывались на взаимоотношениях местных жителей и военнослужащих.

Примечательно свидетельство родившегося в 1907 г. Эркки Уотила о настроениях его земляков в период гражданской войны: «В Финляндии повсюду проявлялось колебание, когда пришли русские. Одни в душе идеализировали их как пришедших освободителей, не

было никакого единого мнения. Другие их ненавидели». И лишь когда началась Зимняя война 1939–1940 гг. «все объединились в братском единодушии» [SKS KRA, Side 52: 93].

По воспоминаниям уроженки Выборга Эстер Ойнонен, которая в 1917 г. двадцатилетней девушкой работала няней у детей городского судьи и проживала в его семье, в городе «...было много русских солдат, которым одни симпатизировали, другие их ненавидели». Примечательно пояснение, сделанное автором воспоминаний: «В особенности финские служанки любили исключительно их, потому что на внешность они были красивые, подтянутые, и вежливые, обходительные. Я, конечно, не собиралась с ними общаться, ведь у них были жены и дети в России, а многим девушкам пришлось плохо, когда эти отношения закончились» [SKS KRA, Side 22: 1].

Рассказчица упоминает и об одной из «стратегий выживания», к которым в 1918 г. приходилось прибегать ее хозяйке, если в Выборге устанавливалась власть «красных» или «белых» финнов. «...Стали ходить слухи, что в России была революция и там к власти пришли коммунисты, они стали помогать потом финским "пуникки" [презрительное название так называемых «красных финнов». - Е. Д.], и те захватили власть, так что жизнь была совсем как мельница». Обыватели «прицепляли на грудь красные бантики, опасаясь мести "пуникки", или же сине-белые вместо них, смотря кто победил. И в семье этого судьи хозяйка всегда по обстановке меняла нам, служанкам, такие значки» [SKS KRA, Side 22: 2].

И военнослужащие, и финляндцы проявляли осведомленность о неотъемлемых для подобной ситуации клишированных жестах. Красный бант в этом контексте выполнял присущую политическим символам функцию маркировки «своего» пространства, передачи информации и, наконец, установления контактов между единомышленниками. Аналогичную смысловую нагрузку нес и «альтернативный» бант, сочетавший цвета национального флага независимой Финляндии.

В заключение следует отметить, что изучение многосторонних аспектов армейской и флотской повседневности периода Первой мировой войны, особенностей психологии российских военных, служивших в Финляндии, социально-нравственных норм и представлений рядовых и офицеров об этносах-соседях (финнах и шведах) позволяют представить ту реальность, в которой в 1914–1918 гг. оказались тысячи в недавнем прошлом гражданских людей, мобилизованных под ружье и на себе испытав-

ших воздействие модернизационных процессов в вооруженных силах России.

Факты межэтнических конфликтов между российскими военными и населением бывшего Великого княжества Финляндского не позволяют довольствоваться идиллической картиной «классовой солидарности русских солдат и матросов с революционным финляндским пролетариатом», которая долгое время рисовалась в отечественной исторической литературе. В первые годы войны как армейцы, так и моряки балтийских военно-морских баз не только становились средством проведения политики имперских властей, но оказывались заложниками политических амбиций центра и национальной финляндской элиты.

Однако, делая акцент на конфликтах и противоречиях между военнослужащими и финляндцами в период российской революции 1917 г., следует избегать другой крайности – отрицания всякого взаимодействия между ними. Преодоление «перекосов» такого рода позволяет уйти из-под влияния новых мифов и стереотипов в отечественной историографии, пришедших на смену старым.

Источники и литература

Асташов А. Б. Русский крестьянин на фронтах первой мировой войны // Отечественная история. 2003. № 2. С.72–86.

Башмакофф Н., Лейнонен М. Из истории и быта русских в Финляндии 1917–1939 // Studia Slavica Finlandensia VII / Eds. V. Melanko, A. Mustajoki, E. Peuranen. Helsinki, 1990. 100 с.

Булдаков В. П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

Вальтер Н. Изнанка финляндской культуры: Материалы для очерка финляндских нравов. СПб., 1913.

Вихавайнен Т. Национальное освобождение или социальное восстание? Гражданская война 1918 г. в Финляндии и национальное самосознание. Петрозаводск: ПетрГУ, 2009. 27 с.

Витухновская М. А. «Битва монументов»: русскошведские войны в национальной памяти империи и Великого княжества // Историческая память и общество в Российской империи и в Советском Союзе (конец XIX – начало XX века). Междунар. коллоквиум. Науч. докл. СПб.: Европейский дом, 2007. С. 48–58.

Дубровская Е. Ю. Письма российских военнослужащих в Финляндии периода первой мировой войны // Скандинавские чтения 2002 года: этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб.: Наука, 2003. С. 465–476.

Дубровская Е. Ю. Финляндия и финляндцы в представлениях российских военнослужащих в годы первой мировой войны // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. С. 239–262.

Дубровская Е. Ю. Российские военнослужащие и население Финляндии в годы Первой мировой войны. Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. 128 с.

Кетола Э. Русская революция и независимость Финляндии // Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть / Ред. В. Ю. Черняев. СПб.: Глагол, 1994. С. 294–307.

Клинге М. Имперская Финляндия: [Пер. с фин.]. СПб.: Изд. дом «Коло», 2005. С. 545–588.

Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года / Ред. В. Ю. Черняев. СПб.: Дм. Буланин, 2001. 349 с.

Мусаев В. И. Россия и Финляндия: миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX в. – 1930-е годы). СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2007. 484 с.

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – HA PK).

Новикова И. Н. «Финская карта» в немецком пасьянсе: Германия и проблема независимости Финляндии в годы Первой мировой войны. СПб.: СПбГУ, 2002. 300 с.

Новикова И. Н. Великое княжество Финляндское в годы Первой мировой войны: от автономии к независимости // Война и общество в XX веке. Кн. 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны / Ред. С. В. Листиков. М.: Наука, 2008. С. 186–321.

Ошеров Е. Б., Суни Л. В. Финляндская политика царизма на рубеже XIX–XX вв. Петрозаводск: Петр-ГУ, 1986. 76 с.

Правилова Е. А. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах 1801–1917 / Ред. И. Жданова. М.: Нов. изд-во, 2006. 456 с.

Расила В. История Финляндии / Ред. Л. В. Суни. Петрозаводск: ПетрГУ, 1996.

Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 383 с.

Соломещ И. М. Финляндская политика царизма в годы первой мировой войны (1914 – февраль 1917). Петрозаводск: ПетрГУ, 1992. 90 с.

Тиандер К. Финляндия и Россия. Петроград, 1917.

Черняев В. Ю. Революция 1917 года и обретение Финляндией независимости // Отечественная история. 1993. № 6. С. 27–45.

Юссила О. Великое княжество Финляндское, 1809–1917: [Пер. с фин. под ред. А. Ю. Румянцева]. Хельсинки: Ruslania, 2009. С. 740–770.

Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии, 1809–1995. М.: Весь Мир,1998.384 с.

Baschmakoff N. Динамика локального пространства: репрезентации Карельского перешейка на переломе XIX-XX вв. в мемуарных текстах // Karelia Written and Sung. Representations of Locality in Soviet and Russian Contexts / Eds. P. Suutari, Yu. Shikalov. Jyväskylä; Kikimora Publications. Aleksanteri Series 3/2010. P. 250–265.

Heikkinen S. Den Ryska soldatsken och Österbottningarna // Blod på drivan: Händelserna 1917–1918 ur ett östrbottniskt perspektiv / Red. M. Koskimies-Envall. Vasa, 1999. S. 25–36.

Kansallisarkisto (в тексте - КА).

Karemaa O. Vihollisia, vainooja, syöpäläisiä: venäläisviha 1917–1923. Helsinki: SKS Toimituksia 1998. 221 s.

Koukkunen H., Kasanko M. Helsingin ortodoksinen Seurakunta 1827–1977. Helsinki, 1977.

Turpeinen O. Venäjänkielisten määrä Suomessa vuonna 1900 // Venäläiset Suomessa 1809–1917 / Toim. P. Kurkinen. Helsinki: Finnish Historical Society, 1986. S. 21–28.

Luntinen P. Sota Venäjällä – Venäjä sodassa. Helsinki: SKS. 2008. P. 405–462.

Luntinen P. The Imperial Russian Army and Navy in Finland 1808–1918. Helsinki: Finnish Historical Society, 1997.

Manninen O. Kapina, kansalaissota, vapaussota // Itsenäistymisen vuodet 1917–1920. 2 osa / Toim. O. Manninen. Helsinki: Valtionarkisto, Painatuskeskus, 1993. S. 10–21.

Nykvist N. Aktivism och passivt måtstand i södra Svenskösterbotten 1899–1918. Vasa, 1988.

Närhi M. Venäläiset joukot Suomessa autonomian aikana // Venäläiset Suomessa 1809–1917 / Toim. P. Kurkinen. Helsinki: Finnish Historical Society, 1997. S. 161–180.

Peltonen U.-M. Muistin Paikat: Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. Helsinki: SKS, 2003. 330 s.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunous Arkisto (в тексте – SKS KRA).

Venäläissurmat Suomessa 1914–1922. Osa 1: Sotatapahtumat 1914–22 / Toim. L. Westerlund. Helsinki: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 1/2004. 283 s.

Venäläissurmat Suomessa 1914–1922. Osa 2: Sotatapahtumat 1918–22 / Ed. L. Westerlund. Helsinki: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 2/2004. 285 s.

Westerlund L. Suomen portti. Politiikka ja hallinto Varsinais-Suomessa vuosina 1809–1917. Jyväskylä: Gummerus, 2001. S. 221–247.

Åström A.-M., Sundman M. Hemma Bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. 240 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Дубровская Елена Юрьевна

старший научный сотрудник, к. и. н. Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910 эл. почта: dubrovskaya@krc.karelia.ru

эл. почта: dubrovskaya@krc.karella.ri === : (0140) E777E0

тел.: (8142) 577758

Dubrovskaya, Elena

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: dubrovskaya@krc.karelia.ru

tel.: (8142) 577758

УДК 37 (2P-6KAP)

СТОЛКНОВЕНИЕ ИМПЕРИЙ: РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЕНЦИИ СОЮЗНИКОВ НА СЕВЕРЕ РОССИИ, 1918–1919 ГОДЫ

Ник Барон

Университет Ноттингема (Великобритания)

В данной статье рассматривается британская интервенция на севере России, особенно в Карелии и районе Мурманска, в 1918–1919 гг. Основное внимание в статье уделяется взаимному восприятию британскими и белогвардейскими военачальниками друг друга. Основными источниками данной статьи стали опубликованные, а также неопубликованные мемуары, написанные командирами и офицерами британской и белогвардейской армий.

Ключевые слова: британская интервенция, российско-британские взаимоотношения, гражданская война, белогвардейцы, Белая армия, империализм.

Nick Baron. A CLASH OF TWO EMPIRES: RUSSO-BRITISH RELATIONS DURING THE ALLIED INTERVENTION IN NORTH RUSSIA, 1918–1919

This article examines the British intervention in North Russia, especially in the regions of Karelia and Murmansk, in 1918–1919, with a particular focus on the mutual perceptions and inter-relations of the British and White Russian military commanders. The article is based principally on the published and unpublished memoirs of these commanders and other officers of the British and White Russian armies.

 ${\sf Keywords}$: British intervention, Russo-British relations, civil war, White Guards, White Army, imperialism.

Вступление

Объектом рассмотрения данной статьи является британская интервенция на севере России, особенно в регионах Карелии и Мурманска, в 1918–1919 гг. Основное внимание в статье уделяется взаимному восприятию британскими и белогвардейскими военачальниками друг друга. В частности, я исхожу из предположения, что оно сформировалось не только под влиянием конкретных исторических и географических обстоятельств, но и под влиянием прочных культурных предубеждений и стереотипов, вытекающих из обоюдного опыта длительного колони-

ального господства и, как следствие, обретения чувства собственного природного превосходства – так называемого «имперского инстинкта». Как будет показано в статье, лидеры британских и русских сил все же нашли почву для взаимопонимания, когда возникла третья сила, политические требования и действия которой ставили под сомнение, расшатывали или подрывали их позиции, основанные на империалистском самосознании.

Основными источниками данной статьи стали опубликованные, а также неопубликованные мемуары, написанные командирами и офицерами британской и белогвардейской армий.

Как исторические свидетельства эти материалы, разумеется, субъективны, избирательны и зачастую служат самооправданием, что ставит под сомнение их достоверность, однако как средство для понимания культурных предпосылок и побуждений, лежащих в основе взаимного восприятия и формирующих его, они вполне уместны и эффективны. Кроме того, в исследовании используются некоторые личные документы, а также военные и дипломатические источники.

Исторический контекст моего исследования хорошо известен и нуждается лишь в небольшом пояснении. В начале 1918 г. британцы высадили в Мурманске небольшой контингент, состоящий из 130 морских пехотинцев, первоначально по приглашению Мурманского совета для того, чтобы оказать помощь в предотвращении угрожающего наступления немцев к свободному ото льда арктическому побережью. После того как большевики в марте 1918 г. заключили мир с немцами, союзники высадили дополнительные экспедиционные силы с двумя следующими целями: во-первых, чтобы защитить запасы военного снаряжения, которые были к этому времени накоплены на севере России, и, во-вторых, для того чтобы восстановить восточный фронт против немцев, оказав поддержку белогвардейским силам в регионе - довольно разношерстной компании, состоящей из антибольшевистских политиков, царских офицеров, искателей приключений и выгоды. После подписания перемирия с Германией в ноябре 1918 г. британцы на севере России оказались в затруднительном положении. Посланные сюда офицеры не испытывали никакого энтузиазма по отношению к новой предполагаемой миссии, целью которой было возглавить контрреволюционное движение, а рядовые солдаты открыто высказывали свое недовольство, вплоть до неподчинения [Тарасов, 1958; Kennan, 1958; Ullman, 1961-1972; Swettenham, 1967; Jackson, 1972; Dobson, Miller, 1986; Kettle, 1988, 1992; Голдин, 1993, 1999; Kinvig, 2006].

Следует отметить особый характер как русского, так и британского офицерских корпусов на Мурманском направлении [Маупагd, 1928; Ironside, 1953; Белый север, 1993; Заброшенные в небытие, 1997; Hughes, 1997]. Здесь среди русских не было личности, имевшей такой же авторитет и влияние, как, например, Колчак в Сибири или Деникин и Врангель на юге, и в среде британских офицеров не было таких страстных русофилов, как Альфред Нокс, который находился в армии Колчака и агитировал британское правительство открыто поддержать контрреволюцию, пропагандируя свое видение большеви-

стской угрозы как еврейского заговора, финансируемого из немецких источников, целью которого был не только захват России, но и мировое господство [Knox, 1921; Kettle, 1992. P. 490]. (В 1930-е гг. Нокс стал горячим поклонником Гитлера [The Times, 3 December 1937. P. 18; Haxey, 1939. P. 194–237; Griffiths, 1983. P. 182–186].)

Мало кто из британских офицеров в Мурманске в 1918 г. разделял идеологический пыл Нокса. Неосведомленность, бесцельность, взаимное недоверие и растерянность царили как среди союзников, так и среди белогвардейцев. Все это подготовило почву для столкновения двух империализмов.

Столкновение империй

Первым командиром союзных сил в северной России с марта 1918 г. был генерал-майор Ф. С. Пуль, профессиональный офицер-артиллерист, почти двадцать пять лет прослуживший в африканских колониях. Будучи талантливым военным, он совершенно не обладал политической тонкостью и тактом и обращался со своими русскими союзниками с добродушной снисходительностью британского имперского офицера, разговаривающего с дружелюбными туземцами.

Генерал Чарльз Мейнард, посланный в Мурманск в июле для того, чтобы перенять командование у Пуля, позже вспоминал в своих мемуарах об отношении Пуля к двум военным лидерам областного совета – генерал-майору Николаю Ивановичу Звегинцеву, бывшему офицеру Царскосельского гвардейского гусарского полка, и капитан-лейтенанту Георгию Михайловичу Веселаго, военно-морскому офицеру, которых он называл «Свиггенсом» и «Весселсом», соответственно:

[Пуль] относился к ним, как хозяин относится к паре своих слуг, постоянно давая им понять, что они должны помнить о своей ответственности и делать все для процветания его дома, и при этом не сомневаясь ни секунды в том, что все их действия должны в точности следовать его заранее обдуманным планам [Маynard, 1928. Р. 38–39].

Британские офицеры, включая Мейнарда, воспринимали своих русских собратьев по оружию в лучшем случае как энергичных, но своенравных любителей, а в худшем – как самодовольных дилетантов или коварных и полудиких варваров. Себя же, напротив, они оценивали как закаленных, непревзойденных мастеров своего дела под маской добросердечных, но умеренных энтузиастов.

Как и следовало ожидать, русские неприязненно восприняли подобное отношение. Генерал Владимир Владимирович Марушевский,

в прошлом гвардеец российской императорской армии и главнокомандующий белогвардейской армии в Архангельске и Мурманске с ноября 1918 г. по август 1919 г., помнил свое негодование по этому поводу даже десять лет спустя, находясь в изгнании в Париже, где писал свои мемуары. В них он вспоминал, что «сыны гордого Альбиона» не могли себе «представить русских иначе, чем в виде маленького, дикого племени индусов или малайцев что ли». Далее он писал:

Русское мнение, исходившее от людей даже высокостоящих в императорской России, встречалось англичанами с добродушным снисхождением, похлопыванием по плечу и с той типичной английской веселостью, которая заставляет людей совершенно не различать, имеют ли они дело с очень умным и хитрым человеком или с совершенным простаком. Результат этого русскоанглийского обмена мнений был всегда один и тот же. Англичане всегда все делали по-своему и всегда неудачно [Голдин, 1993. С. 188–189].

Впрочем, это была не совсем обычная история, когда русские выражали недовольство тем, что сейчас окрестили бы «русофобией», но что в действительности являлось выражением чувства природного превосходства британского высшего класса перед всеми другими нациями, приобретенного за годы колониального господства. Иными словами, британские офицеры не выказывали каких-то особенных предубеждений в отношении русских; как полагал Марушевский, они считали все остальные нации вторым сортом [Soutar, 1940; Ironside, 1953; Ullman, 1961. P. 256; Dobson, Miller, 1986. Р. 137-39]. Например, генерал Эдмунд Айронсайд, который позже в 1918 г. принял командование над всеми войсками союзников на севере России, на протяжении всей своей долгой и выдающейся карьеры не предпринимал никаких усилий, чтобы скрыть свое глубокое отвращение ко всем национальностям, кроме британцев. Примечательно, что Айронсайд стал прообразом Ричарда Хеннея, героя патриотического приключенческого романа Джона Бакана «Тридцать девять ступеней» (1915 г.). Позже, в 1930-е гг., Айронсайд, который в самом начале Второй мировой войны на короткий период был назначен главнокомандующим Вооруженными силами метрополии, по слухам, также симпатизировал британским фашистам [University of Sheffield Library, Special Collections, British Union Collection, 7/Wise (i) and (ii)]. Айронсайд также был выдающимся членом «англо-немецкого братства» [The Times, 3 December 1937. P. 18; Haxey, 1939. P. 194-237; Griffiths, 1983. P. 182-186].

Дальнейшее повествование я посвящу одному из британских офицеров, нетрадиционные взгляды которого вызывали враждебность в равной степени как среди британцев, так и среди русских. Им был полковник Филипп Джеймс Вудс, вспыльчивый и неуживчивый уроженец Ольстера, находившийся в состоянии постоянного противостояния и конфликта со своими сослуживцами, сумевший сперва как солдат, а затем как политик построить продолжительную, но полную разочарований и в конце концов приведшую его к краху карьеру [источник информации о биографии Вудса здесь и далее: Baron, 2007].

Как и у множества других британских офицеров на севере России, военная карьера Вудса началась с англо-бурской войны (правда, не в регулярных силах британской армии, а в Южноафриканской полиции, которую возглавлял генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл). До 1914 г. Вудс был членом Добровольческих сил Ольстера – организации, созданной для защиты (в случае необходимости и с помощью оружия) союза Ирландии с Великобританией (хотя он, вероятно, вступил в нее не столько из-за политических убеждений, сколько из любви к приключениям, а также из-за того, что его новый тесть был видным активистом ирландского унионизма).

В начале Первой мировой войны Вудс был зачислен в 36-ю (Ольстерскую) дивизию, где заслужил орден «За безупречную службу» за свое участие в битве на Сомме и начал быстрое продвижение по служебной лестнице. Тем не менее в августе 1917 г. Вудс был смещен с поста командующего батальоном в результате кампании, организованной его сослуживцами.

Источником их враждебности был не только сложный характер Вудса, но и его стремление в любом конфликте поддержать более слабую и беззащитную сторону. Эта черта характера проявлялась в его общественной деятельности двумя способами. Во-первых, в его по-хорошему покровительственном отношении к социально угнетенным и обездоленным. Вудс сам родился и вырос в бедном рабочем квартале Белфаста (хотя его родители были из обедневших дворянских семей, занимавшихся сельским хозяйством), и лишь позднее он вновь поднялся вверх по социальной лестнице, добившись успехов в бизнесе (он был квалифицированным текстильным дизайнером), а также удачно женившись. Во-вторых, в сочувствии тем, кто терпел притеснения по признаку религиозной или расовой принадлежности. Даже будучи унионистом, империалистом и патриотом, Вудс был ярым противником религиозной вражды и сочувствовал тяготам ирландцев-католиков, впрочем, разумеется, не настолько, чтобы поддерживать их борьбу за независимость. Коллеги Вудса из офицерского корпуса были, в основном, выходцами из известных, тесно связанных между собой аристократических семей Белфаста, представителями его политической элиты и членами Оранжевого ордена – для них Вудс был выскочкой, чуждым их кругу и притом придерживающимся сомнительных политических убеждений.

Весной 1918 г. военное министерство приняло решение отправить Вудса на север России, полагая это наилучшим методом использования его несомненных военных навыков на таком отдалении, которое не позволило бы ему стать причиной дальнейших скандалов. Оно недооценило способности Вудса в организации неприятностей.

Когда Вудс оказался в северной России, генерал Мейнард дал ему задание сформировать карельский полк и возглавить его для противостояния возглавляемому немцами вторжению белофиннов в западные районы Карелии. За время быстрой и успешной осенней кампании Вудс проникся глубоким восхищением к тем, кем он командовал. Вскоре он открыл и «истинную причину» карельского национализма (о карельском национализме этого периода см.: [Jääskeläinen, 1965; Churchill, 1970; Дубровская, 1991; Vituhnovkaia, 2001]).

Расположение и симпатии Вудса к карелам, разумеется, не освобождали его от предрассудков и предубеждений его поколения. Вудс видел в карелах моральную чистоту, отраженную в их непринужденном чувстве юмора, гостеприимстве, верности и «естественной» дикости. Объясняя их пристрастие к пыткам своих врагов, Вудс писал в своих мемуарах, что «просвещенные стандарты Европы» неприменимы «к людям, столь сильно отставшим от нас в социальном развитии» [Baron, 2007. P. 176-177]. Карелы напоминали ему ирландцев. Как и ирландские солдаты, писал Вудс, они, «казалось, становились только спокойнее, когда ситуация ухудшалась». Далее он продолжал: «Моментально отзываясь на доброту, они могли становиться совершенно бестолковыми и упрямыми в ответ на принуждения или запугивания». И, подводя итоги: «Ими можно было руководить, но не погонять» [Baron, 2007. P. 245].

Для Вудса карелы были «благородными дикарями». И он пришел в ярость, когда узнал, что один из офицеров его корпуса называет их «неграми» (слово, которое, как впоследствии упоминал в своих мемуарах Вудс, карелы понимали) [Baron, 2007. Р. 277]. Он отправил письмо этому офицеру, в котором писал, что карелы – «белые люди» и «если с ними обращаться, как с "белыми людьми", они и будут вести себя соответствующим образом» [Письмо от 2 July 1919, в фонде Р. J. Woods, Imperial War Museum (IWM) Department of Documents, Box 78/24/1]. В своих мемуарах Вудс так высказывался о своем оппоненте: «Десятилетний опыт его службы в Королевском полку африканских стрелков, откуда он только что прибыл, сослужил плохую службу, когда ему пришлось командовать этими жителями севера» [Вагоп, 2007. Р. 276]. Несмотря на то что отношение двух офицеров к колониальным подданным различается, проявляясь в разном видении расовой и культурной иерархии, несомненно, что они оба, в сущности, являются носителями «имперского инстинкта».

Как же сами карелы оценивали британскую интервенцию? Поначалу они надеялись на то, что британцы смогут обеспечить им защиту как от захватнических амбиций финнов, так и от российского империализма. Зимой 1919 г. небольшая группа образованных карелов провела совещание в штабе полка Вудса в Кеми. Позже они вручили Вудсу петицию, которая по их просьбам должна была быть передана «Его Величеству Королю Великобритании»:

С Россией сжиться мы никогда не сможем, да и не желаем. К Финляндии, которая наглым образом хотела присоединить нашу родину к себе, опустошив наши села и деревни, унеся наши последние деньги-гроши, мы быть солидарны никогда не хотим. <...> Умоляюще просим принять нашу родину Карелию под защиту Британии, которую всякий щиплет, т.е. Карелию» [Документ находится в фонде Р. J. Woods, IWM Department of Documents, Box 78/24/1].

Вудс сочувствовал их тяжелому положению и не желал развеивать их мечты об автономии под британским протекторатом. Он даже спроектировал для них полковой флаг - зеленый трилистник на оранжевом фоне (т. е. ирландский национальный символ и цвет унионистов), который те использовали в качестве своей национальной эмблемы. Он давал им советы по организации избирательной системы для голосования за национальное собрание, которое, в свою очередь, должно было представлять их интересы на Парижской мирной конференции и на основе формирования сберегательного банка и кооперативных торговых обществ смогло бы обеспечить им финансовую самодостаточность. Получив краткий отказ из Лондона в ответ на просьбу карелов о британском покровительстве, Вудс был оскорблен не меньше тех, кому это послание было предназначено, считая такое решение упущенной возможностью для Британии не только исполнить свой имперский долг, но и извлечь пользу из богатейших местных ресурсов (об отношении союзников и белогвардейцев к вопросу о восточной Карелии в международной дипломатии см.: [Jääskeläinen, 1965. Р. 152–168, 205–213]; и о подробностях мировоззрения и деятельности Вудса см.: [Baron, 2007, особенно глава 7]).

Для британских офицеров и дипломатов, как и для белогвардейцев, взгляды и действия Вудса в лучшем случае были всего лишь романтическим заблуждением и политической ошибкой, а в худшем - изменой. И хотя вначале Мейнард восхищался уровнем военного мастерства карелов (как он писал Вудсу, они были «великолепными бандитами»), позже его приводила в ярость их «нелепая» политическая активность, которая подрывала его и без того напряженные отношения с белогвардейцами (Мейнард называет карелов «великолепными бандитами» в письме Вудсу, датированном 11 сентября: [Woods Papers, IWM 78/24/1]. О встрече Мейнарда с русским командиром Ермоловым, после которой он объявил политические стремления карелов «нелепыми» см.: [Entry for 17 March 1919, War Diary, General Staff, (Appendix), The National Archives (TNA): Public Record Office (PRO) War Office (WO) 95/5424; и Maynard's telegram to War Office, 30 March 1919, in TNA: PRO WO 33/966, No. 1461]).

Фрэнсис Линдли, поверенный Министерства иностранных дел Великобритании в Северной России, был направлен в марте 1919 г. с визитом к Вудсу в его штаб-квартиру Карельского полка в Кеми. Он доложил лорду Керзону в правительстве:

Вудс, кажется, приобрел большое влияние на [карелов] и немало сделал для подъема национального духа среди людей, которые до сих пор всегда считали себя неотъемлемой частью России. <...> Пыл полковника Вудса вызвал определенное беспокойство среди русских, но генерал Мейнард уверил меня, что дал Вудсу строгий приказ прекратить свою политическую деятельность и не поощрять сепаратистские тенденции, которые в настоящее время совершенно очевидно ограничиваются небольшим по численности населением уезда [Письмо от Линдли Керзону, 5 марта 1919, TNA: PRO FO 175/7/885, p. 6].

Весной и летом 1919 г., когда отступление союзников было все ближе и карелы начали массово дезертировать из полка Вудса, опасаясь белогвардейских репрессий, Мейнард выступил с публичным оскорбительным заявлением, в котором он называл карелов «посмешищем», не достойным звания солдата [Woods Papers, IWM 78/24/1].

Белогвардейцы же зашли еще дальше. Ермолов, заместитель губернатора северной области, согласно мемуарам Вудса, объявил карелам,

что они «мятежные свиньи и дворняги, чей выводок нужно истребить под корень» [Baron, 2007. P. 271]. Генерал Марушевский гневно заявлял:

Я не могу понять, как вы, мужчины, имеете наглость считать, что союзники оденут вас и дадут денег, что они будут сражаться за вас в нашей стране, пока вы, как трусы, болтаетесь здесь без дела (в дополнении А в июльском July War Diary, General Staff, TNA: PRO WO 95/5424. См.: также мемуары Марушевского, воспроизведено в: [Белый Север, 1993. С. 321]).

«В нашей стране»... Для этих бывших офицеров Российской империи карелы, разумеется, не обладали никаким правом на собственную государственность. Для некоторых из них карельский национализм был всего лишь немецко-большевистским заговором по разобщению и разрушению России или схемой финского правительства по расширению своих границ, а Вудс был просто-напросто введен в заблуждение. Как писал Ермолов генерал-губернатору Е. К. Миллеру в Архангельск (этот доклад был также направлен в штаб-квартиру в Мурманске и в правительство):

[Полковник Вудс] - сильный и энергичный мужчина - в заботе о своих подчиненных слишком увлекся своей ролью. Появился новый карельский флаг (оранжевое полотно с трилистником - несомненно, ирландский); и этот трилистник используют в своей униформе не только карельские офицеры и солдаты, но и британские офицеры, возглавляющие карелов. Впервые на исторической сцене появилась «Карельская нация», и свежеиспеченные офицеры, среди которых есть два или три бывших учителя, неуклюже обсуждают вопросы, на которых на протяжении десяти прошедших лет умело играла банда панфинских агитаторов в Карелии. Они заручились поддержкой британского командования, и их работа основывается на значительных продовольственных запасах [TNA: PRO Foreign Office (FO) 175/1/889, p. 1–2].

Относительно Вудса заключение Ермолова гласило: «Не может быть никаких сомнений в его искренности, оттого его ошибки еще более печальны, так как в них он проявляет типичное британское упрямство» [TNA: PRO FO 175/1/889, р. 3].

Другие русские, тем не менее, полагали, что за новообретенным карельским национализмом скрываются козни Британской Империи – метафора «коварного Альбиона». В самом деле, Марушевский в своих мемуарах в Париже утверждал, что само понятие «карельской национальности» было британским «изобретением» [Белый Север, 1993. С. 188–189]. Владимир Игнатьев, левый антибольшевик и министр внутренних дел в архангельском правительстве

до августа 1919 г., писал свои мемуары в советской тюрьме. В таких обстоятельствах неудивительно, что его тон был еще более обличающим:

В Карелии англичане устроили авантюру – английский полковник, командовавший там военными силами, сорганизовал тайный съезд корел [ориг.] и, играя на их национальном чувстве, провел резолюцию о независимости, в которой этот съезд передавал вопрос, от имени карельского народа, на разрешение Лиги Наций. Нечего указывать на то, что здесь англичане выкраивали себе первый колониальный плацдарм на нашем севере. Мы протестовали и авантюру эту сорвали [Белый Север, 1993. С. 155].

Очевидно, что российско-британский союз на севере России был построен на взаимной неосведомленности, недоверии и несовпадающих целях – даже несмотря на то, что до подписания перемирия 11 ноября 1918 г. существовало некоторое совпадение в стратегических интересах: защита региона от немцев, а затем и общая враждебность по отношению к большевикам, а также сочувствие политическим настроениям среди местного населения.

Такой союз был, несомненно, хрупок, и неудивительно, что в течение 1919 г. он распался. В октябре союзники вывели все свои силы с севера России. Многие как среди русских, так и среди британцев (включая Уинстона Черчилля) восприняли отступление союзников как предательство по отношению к русским. Вудс же, конечно, считал это вероломным предательством по отношению к карелам.

В сущности, британцы с самого начала своей интервенции на север России не преследовали какой-либо четкой цели и от начала и до конца оставались глубоко и сознательно равнодушными к культурным, этнографическим и историческим сложностям территорий, которые они оккупировали. «Я представлял себе блистательное вступление в российскую столицу, - писал позже один майор о своем восточном приключении, - где прекрасные принцессы будут спасены от революции» [Poole, 1957. Р. 42]. Хотя британцы определенно не преследовали никаких территориальных или экономических интересов в данном регионе (за исключением защиты уже сделанных в него инвестиций), их взгляды и действия были сформированы «имперским инстинктом», уходящим корнями в опыт их колониального завоевания и правления. Для них русские были наполовину азиатами: русские офицеры изображались как властители и паши - коварные, лживые и жестокие, лишь временами привлекательные в своей экзотичности и наивности; русские и карельские крестьяне - как дикари, чья культурная, расовая и социальная эволюция была максимум на одну ступень выше, чем у африканских племен. Поэтому неудивительно, что белогвардейские офицеры, которые сами привыкли к роли колониальных властителей, хотя и отчаянно нуждались в помощи союзников, были глубоко возмущены имперским отношением к ним самим и испытывали глубокие подозрения в отношении истинных мотивов британцев.

Несговорчивый уроженец Ольстера, отстаивая права небольшого народа, не имевшего собственной отдельной истории, своей деятельностью вызвал на свет предрассудки, высокомерие, ожесточенность и лицемерие со стороны как британцев, так и русских, которые в этих злополучных исторических событиях в равной степени были носителями империалистических идеологий. Опыт Вудса на севере России не подорвал его собственной веры в миссию Британской Империи. Однако он укрепил его уверенность в том, что имперская система Британии коррумпирована и цинична и обречена на гибель, если только с исторической сцены не уйдут все представители продажных и своекорыстных элит. Как упоминалось ранее, эта точка зрения легла в основу его агрессивной, но не приведшей ни к каким конкретным результатам политической карьеры в Северной Ирландии в 1920-е гг. В 1930-е гг. Вудс какое-то время был связан с Уильямом Джойсом (позже ставшим известным как «Лорд Хау-Хау»), хотя нет никаких доказательств того, что он сам был втянут в британское фашистское движение, как поступили многие из разочаровавшихся, несгибаемых офицеров Британской Империи.

Безусловно, в этой статье опущены некоторые тонкости и нюансы российско-британских взаимоотношений во время Гражданской войны и интервенции. В частности, здесь не упомянуты британские и русские офицеры, которые искренне уважали и понимали культуру друг друга (хотя по общему признанию, число их было невелико), так же как и особенную значимость в этих событиях рабочего класса. Чувство общей сплоченности рабочего класса, солидарности в трудностях, а иногда и общие политические убеждения формировали отношения между простыми солдатами британских и других союзных сил и русскими призывниками как в Красной, так и в белогвардейской армии. Также были они важны для формирования предрассудков и пропаганды с обеих сторон [Lockley, 2003]. В частности, на Архангельском фронте было отмечено массовое братание среди солдат всех армий, которые недоумевали и были возмущены тем, что оказались втянутыми в чью-то чужую войну.

Выводы, которые необходимо сделать из этой истории, очевидны. Во-первых, следует отметить безрассудство иностранной интервенции, слабо продуманной и осложненной отсутствием энтузиазма и разобщенностью войск, презрительным отношением к своим союзникам, которое иногда достигало такой же степени, как и враждебность по отношению к реальному противнику. Во-вторых, необходимо указать на взаимно неблагоприятные последствия того, что можно назвать «культурной непримиримостью» в российско-британских отношениях, игнорированием общности наших ценностей и интересов и упорным подчеркиванием незначительных различий. Все это, к сожалению, продолжает существовать в некоторых областях наших взаимоотношений и по сей день.

Перевод с английского языка Н. В. Кузьминой.

Литература

Белый север. 1918–1920 гг. Мемуары и документы. Выпуски 1, 2 / Под ред. В. И. Голдина. Архангельск: Аргус, 1993.

Голдин В. И. Интервенция и антибольшевистское движение на русском севере, 1918–1920. М.: МГУ, 1993.

Голдин В. И. Гражданская война в России и на русском севере: проблемы истории и историографии. Архангельск: Солты, 1999.

Дубровская Е. Ю. Противоборство панфинизма и русского самодержавия в Карелии // Вопросы истории Европейского Севера / Под ред. М. И. Шумилова. Петрозаводск: ПГУ, 1991.

Заброшенные в небытие: интервенция на Русском Севере (1918–1919) глазами ее участников / Под ред. В. И. Голдина. Архангельск: Правда Севера, 1997.

Тарасов В. В. Борьба с интервентами на севере России» (1918–1920 гг.). М.: Гос. изд-во полит. лит., 1958.

Baron N. The King of Karelia. Col P. J. Woods and the British Intervention in North Russia, 1918–1919. A History and Memoir. London: Francis Boutle Press, 2007.

Churchill S. Itä-Karjalan kohtalo, 1917–1922: Itä-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa, 1917–1922. Porvoo: Werner Söderström, 1970.

Dobson Ch., Miller J. The Day We Almost Bombed Moscow. London: Hodder and Stoughton, 1986.

Griffiths R. Fellow Travellers of the Right. British Enthusiasts for Nazi Germany, 1933–39. Oxford: OUP, 1983.

Haxey S. Tory M.P. London: Victor Gollancz, 1939.

Hughes M. Inside the Enigma: British Officials in Russia, 1900–39. London: Hambledon, 1997.

Ironside E. Archangel, 1918–1919. London: Constable, 1953.

Jackson R. At War with the Bolsheviks. The Allied Intervention into Russia, 1917–20. London: Tom Stacey, 1972.

Jääskeläinen M. Die ostkarelische Frage. Die Entstehung eines nationalen Expansionsprogramms und die Versuche zu seiner Verwirklichung in der Aussenpolitik Finnlands in den Jahren 1918–1920. Helsinki: Finnish Historical Society, 1965.

Kennan G. F. Soviet-American Relations, 1917–1920, Vol. II, The Decision to Intervene. London: Faber & Faber, 1958.

Kettle M. Russia and the Allies 1917–1920, Vol. II, The Road to Intervention, March-November 1918. London: Routledge, 1988.

Kettle M. Russia and the Allies 1917–1920, Vol. III, Churchill and the Archangel Fiasco, November 1918 – July 1919. London: Routledge, 1992.

Kinvig C. Churchill's Crusade: The British Invasion of Russia 1918–1920. London: Hambledon Continuum, 2006.

Knox A. With the Russian Army, 1914–1917, being chiefly extracts from the diary of a military attaché. London: Hutchinson & Co, 1921.

Lockley A. Propaganda and the first cold war in North Russia, 1918–1919 // History Today. Vol. 53, September 2003. P. 46–53.

Maynard C. M. The Murmansk Venture. London: Hodder and Stoughton, 1928.

Poole J. Undiscovered Ends. London: Cassell, 1957. Soutar A. With Ironside in North Russia. London: Hutchinson, 1940.

Swettenham J. Allied Intervention in Russia, 1918–1919, and the part played by Canada. London: George Allen & Unwin, 1967.

Ullman R. H. Anglo-Soviet relations, 1917–1921, 3 vols. Princeton: Princeton University Press, 1961–72.

Vituhnovkaia M. Cultural and Political Reaction in Russian Karelia in 1906–1907. State Power, the Orthodox Church, and the 'Black Hundreds' against Karelian Nationalism // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2001. Vol. 48.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Ник Барон

доцент Университета Ноттингема NG7 2RD, Великобритания, Ноттингем, Юниверсити-Парк, каб. A6 Lenton Grove эл. почта: Nick.Baron@nottingham.ac.uk

тел.: (0115 95) 15957

Nick Baron

Associate Professor University of Nottingham Room A6 Lenton Grove, University Park, Nottingham, United Kingdom, NG7 2RD e-mail: Nick.Baron@nottingham.ac.uk

tel.: (0115 95) 15957

УДК 37 (2P-6KAP)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ФИННОВ В СОВЕТСКУЮ КАРЕЛИЮ В 1930–1933 ГОДАХ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Евгений Ефремкин

Университет Йорк (Торонто, Канада)

На материалах статистических данных фондов Переселенческого управления при СНК КАССР анализируется переселение финнов из США и Канады в Карелию в начале 1930-х гг. На основе статистического анализа делаются выводы о причинах иммиграции и проводятся различия между канадским и американскими переселенческими потоками.

K л ю ч е в ы е с л о в а : «карельская лихорадка», трансатлантическая иммиграция, национальное строительство, национальная политика.

Evgeny Efremkin. IMMIGRATION OF NORTH AMERICAN FINNS TO SOVIET KARELIA DURING 1930-1933: A STATISTICAL ANALYSIS

The article analyses Finnish immigration from the United States and Canada during the early 1930s on the basis of statistical materials of the Resettlement Agency of the Council of People's Commissars of Soviet Karelia. Statistical analysis allows insights into the reasons for immigration and into the differences between the US and Canadian immigration groups.

 $K \, e \, y \, w \, o \, r \, d \, s$: «Karelian fever», trans-Atlantic immigration, ethnic building, nationalities policies.

«Карельская лихорадка» является интересным историческим феноменом начала 1930-х гг., в процессе которого свыше шести тысяч американцев и канадцев пересекли Атлантику с целью найти новый дом и работу в совершенно иных политических, экономических, культурных и социальных условиях. «Карельская лихорадка» представляет собой редкую и ценную находку для историков, изучающих иммиграцию и историю диаспор, поэтому неудивительно, что в последнее время она стала темой целого ряда международных исследований. Однако не следует забывать и про трагизм этой истории. Многие из финнов-иммигрантов, приехавшие в советскую Карелию, честно здесь трудившиеся и строив-

шие будущее для себя и своих семей, стали жертвами жестких и несправедливых репрессий во время «большого террора» 30-х гг. ХХ в. Такое жестокое и неразумное преследование этих нескольких тысяч людей часто создает эмоциональное напряжение для исследователя. Порой трудно читать письма и дневники эмигрантов, следовать по их маршруту из Скандинавии в Северную Америку и затем обратно на Европейский континент, погружаться в их повседневную жизнь, временами иметь возможность проследить эмоциональный и духовный рост личности, чтобы в некий момент натолкнуться на архивную запись, подобную этой: Стром Норманн Карлович, родился в 1912 г., иммигрировал из Канады

в 1931 г., механик и музыкант, расстрелян 11 февраля 1938 г. [Harris, 2008. Р. 341].

Варпу Линдстрём в Канаде, Маркку Кангаспурро в Финляндии и Ирина Такала в России вот историки, осуществляющие передовые исследования на мировом уровне в этой области. Их совместный проект «Канадские жертвы сталинских репрессий» (Canadian Victims Stalin's Purges, 2006-2010), посвященный истории иммиграции североамериканских финнов в Советскую Карелию, позволяет воссоздать жизнь эмигрантов, дать им законное место в истории Северной Америки, Финляндии и России. Кроме того, эти исследователи создали для потомков тех, кто жил в Карелии, такую возможность, как вебсайт «Missing in Karelia» (http://missinginkarelia.ca), чтобы они могли узнать о судьбе своих предков и, может быть, установить связь с теми родственниками, о существовании которых они не подозревали. В данной статье я попытаюсь представить статистическую информацию о финнах-иммигрантах, покинувших Канаду и США в разгар «карельской лихорадки», и представить сравнительный анализ канадского и американского потоков переселенцев.

Представленный мной статистический анализ охватывает почти четыре тысячи североамериканских финнов, отправившихся в советскую Карелию между 1930 и 1933 гг. [Списки Переселенческого управления 1934 г. (Место хранения – Национальный архив Республики Карелия), составлены постфактум, хранятся в личной коллекции Варпу Линдстрём в архивах Университета Йорк, Провинции Онтарио, Канада)]. Это существенная и репрезентативная выборка, поскольку она охватывает свыше 70 % переселенцев: согласно подсчетам И. Р. Такала, к середине мая 1932 г. в Карелию прибыло 3228 человек, а в моей выборке число переселенцев, прибывших к тому времени, насчитывает 2319 человек [Takala, 2007. Р. 40]. Далее, согласно информации ГПУ, к концу октября 1932 г. в Карелию прибыло 4399 североамериканцев [Takala, 2007. Р. 40]. Моя выборка включает в себя 3344 переселенца, прибывших до конца октября 1932 г., что составляет соответственно 76 % от числа финнов, «заболевших» к этому времени «карельской лихорадкой».

Списки американских и канадских эмигрантов, ставшие источниковой базой данного исследования, содержат полные имена иммигрантов, год рождения, профессиональное занятие, место работы в Карелии и дату прибытия. Эти записи позволили мне выявить количество и размер семей, которые прибыли в Карелию, отыскать тех, кто был частью расши-

ренных семей, сосчитать количество одиноких мужчин и женщин в соответствии со временем их прибытия. Далее я смог обратить внимание на неравное соотношение полов в переселении. В этой статье представлены данные об общем количестве мужчин и женщин, участвовавших в иммиграции в Карелию, а также анализ их половозрастной и семейной структуры. Кроме того, с помощью статистического анализа данных была получена информация о профессиях эмигрантов, а также о местах их работы как в целом для диаспоры, так и для отдельных половозрастных групп. Наконец, я попытался проследить подъемы и спады «карельской лихорадки» по году и месяцу прибытия в Карелию. Целью данной статьи является предоставление собранных данных и их анализа в помощь другим исследователям этой темы. Статистические данные, о которых идет речь, дадут возможность историкам, изучающим политическую, культурную и в особенности социальную историю, приблизиться к общему определению такого явления, как «карельская лихорадка», и станут важным дополнением к индивидуальным характеристикам эмигрантов.

Во время исследования было обнаружено несколько важных тенденций. В целом в американской и канадской литературе о «карельской лихорадке» проводится немного различий между североамериканскими соседями. Одним из объяснений этому является тот факт, что местное население Карелии и СНК КАССР видели лишь небольшую разницу между американцами и канадцами. Разнообразные записи показывают, что при необходимости руководство Карелии относило североамериканцев то к одной, то к другой группе. Например, лесорубы обычно причислялись к канадцам; хотя, как показывают факты, в качестве лесорубов были зарегистрированы более 40 % приехавших из США. С другой стороны, местное население часто относило всех североамериканцев к американцам, хотя каждый третий переселенец был из Канады. Существует несколько объяснений данной тенденции. Вопервых, США обладали превосходством перед Канадой на международной арене, и, во-вторых, далекая Северная Америка часто ассоциировалась в сознании российских, а впоследствии и советских граждан с образом капитализма, эксплуатации и преступности, хотя одновременно существовал образ Америки и как страны больших возможностей. При этом анализ социальной и культурной структуры американских и канадских финнов позволяет выявить важные различия между двумя группами иммигрантов. Несмотря на то что эти

различия не являлись всеобъемлющими, они проливают свет на разницу в причинах исхода, а также во внутриполитических, экономических и социальных условиях в США и Канаде в начале 1930-х гг. Наконец, сравнительный анализ позволяет пролить свет и на различный опыт канадцев и американцев в Советском Союзе.

Пожалуй, наиболее явным различием между американскими и канадскими иммигрантами в Карелию является семейная структура иммиграции. В целом переезд североамериканских финнов в Карелию являлся, как правило, семейным переселением, даже в некотором роде цепной миграцией, которая была относительно интенсивной, хотя и продолжалась всего несколько лет. Примерно 75 % переселенцев были близкими родственниками: мужьями, женами, матерями, отцами, детьми, братьями и сестрами. Как видно на графиках 2.1 и 2.2, только каждый четвертый иммигрант не имел семьи в момент переезда в Карелию. Большое количество семейных переселенцев позволяет мне выдвинуть гипотезу, что «карельская лихорадка» не могла быть столь сильно мотивирована идеологически, на что указывают некоторые исследователи [Sevander, 2008]. Малоправдоподобным кажется и то, что «идеологический фанатизм» был присущ многим из тех, кто искал работу в самый тяжелый период экономики в XX в. Другими словами, кажутся спорными утверждения, согласно которым новобрачные пары с маленькими детьми, процентное соотношение которых среди переселенцев было высоким, приехали, чтобы найти нечто большее, чем экономическую и социальную стабильность [Ефремкин, 2008. С. 48]. Это не отрицает симпатий переселенцев к левому движению и его роль в принятии решения покинуть Северную Америку. Однако существует огромная разница между наличием политических и идеологических убеждений, с одной стороны, и их радикальными проявлениями, с другой.

Статистические данные также свидетельствуют о половозрастных различиях внутри и между группами американцев и канадцев. Североамериканские переселенцы были преимущественно мужчинами, только треть из них составляли женщины. Численное преимущество мужчин в переселении можно объяснить несколькими факторами. В Канаде, например, Великая депрессия сильнее отразилась на финских мужчинах, чем на женщинах. Большинство финнок в Канаде работали в домашнем хозяйстве, которое не пострадало от кризиса так серьезно, как лесопильная, строисельскохозяйственная отрасли, тельная И

обеспечивавшие занятость большинства мужчин [Lindstrom, 2007. P. 12]. Моя статистическая выборка подтверждает эту тенденцию: так, из 1089 переселенцев, прибывших в Карелию без семьи, женщин было только двадцать пять (чуть более 2 %). Эти данные наводят на следующую мысль. Как показали Варпу Линдстрём и Самира Сарамо, финские женщины в начале XX в. при общей симпатии к социализму во многих отношениях разделяли левые убеждения менее охотно, чем финны-мужчины. Это позволяет увидеть прямую взаимосвязь между последствиями Великой депрессии для североамериканских финнов-социалистов и социальной структурой иммиграционного потока в Карелию. Важной – пусть и не единственной – причиной того, почему в Карелию ехало больше мужчин, являлся тот факт, что депрессия не оказала такого сильного влияния на финских женщин. Как следствие, идеологическая подоплека иммиграции из США и Канады в Карелию, очевидно, была вторичной по отношению к экономическим факторам.

Как уже отмечалось выше, статистический анализ иммиграционных потоков из США и Канады демонстрирует несколько важных различий в социальном составе американских и канадских переселенцев. Например, существует значительная разница в соотношении приехавших без семьи. Если из американских иммигрантов не имел семьи только каждый пятый, то среди канадских финнов без семьи приехали уже примерно два переселенца из пяти. Кроме того, существуют различия по возрастному признаку. В целом канадцы были намного моложе, чем американцы. Например, среди не состоящих в браке иммигрантов в возрасте от 22 до 30 лет было вдвое больше канадцев, в то время как в возрастной группе от 41 до 50 лет одиноких американцев было почти в четыре раза больше, чем канадцев (см. график 3.1). Аналогичная ситуация наблюдается и среди семейных иммигрантов: и здесь канадцы были значительно моложе американцев. Например, среди канадских иммигрантов старше 50 лет было только чуть больше 2 % переселенцев, хотя среди американцев этот показатель составлял 7 %. Также показательно, что если американцы в возрасте от 22 до 30 лет составляли 10 % от всех американских иммигрантов, то среди канадцев переселенцы этого возраста составили уже треть (см. графики 4.1-4.4).

Одно из объяснений существенной разницы в возрасте между канадскими и американскими иммигрантами предлагает Варпу Линдстрём. Она отмечает, что финские переселенцы



1.2

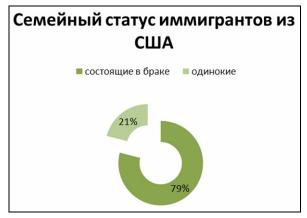
1.1



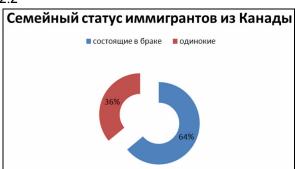
прибыли в Канаду позднее, чем в США, куда многие переехали еще в конце XIX в. С другой стороны, одинокие финны, приехавшие в Канаду в 1920-е гг., больше пострадали от Великой депрессии, а тот факт, что многие из них еще не успели обзавестись семьями и укорениться, позволял им легче принять решение о повторной иммиграции, на этот раз в Карелию.

Далее, существенная разница есть в гендерной структуре американских и канадских переселенцев. Среди американцев женщины составляли 37 %, в то время как женщин, приехавших из Канады, было 28 %. Меньшее число канадских женщин можно вновь объяснить преобладанием не так сильно пострадавшей от экономического кризиса домашней работы среди финских женщин в Канаде, а также тем, что многие канадские лесорубы, приглашенные на работу в Карелию, приехали туда без семьи. Согласно моим подсчетам, 386 из 520 канадских лесорубов, или 74 %, были холостыми (см. график 6.2). С другой стороны, среди американских лесорубов только 203 из 574, или 35 %, не состояли в браке (см. график 6.1).

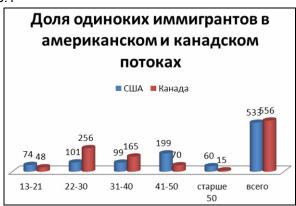
Возвращаясь к спорам о характере – идеологическом или экономическом – иммиграции в Карелию [Harpelle et al., 2004], я утверждаю, что нельзя рассматривать этих не состоящих в 2.1



2.2

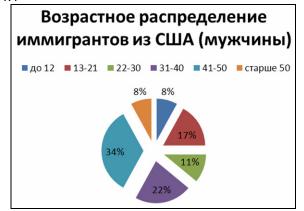


3.1



браке лесорубов в контексте «идеологического фанатизма». Исследуя Сегозерский и Тунгудский районы, И. Р. Такала обнаружила, что только 50 % и 15 % переселенцев, соответственно, обладали опытом работы в лесу, хотя у большинства из них в графе «профессия» было указано: лесоруб [Takala, 2007. P. 44]. Следовательно, эти иммигранты прибывали в Карелию на временное проживание, чтобы получить здесь любое рабочее место, потерянное во время Великой депрессии, вне зависимости от своей основной квалификации. Многие из них рассматривали Карелию с точки зрения перспективы трудоустройства. По сути дела, все, что искало большинство иммигрантов, - это обеспеченное и безопасное будущее.

4.1



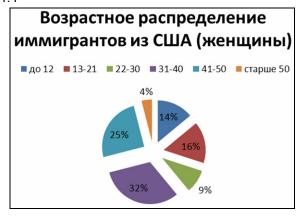
4.2



4.3



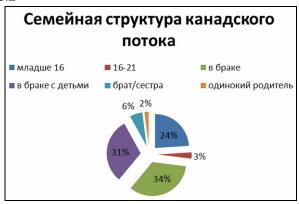
4.4



5.1



5.2

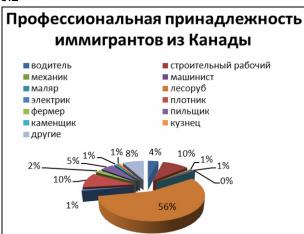


Таким образом, если из структуры иммиграционного потока в Карелию исключить те социальные группы, которые ехали по экономическим причинам, то останется около 170 одиноких переселенцев, или не более чем 10 % от всех канадских иммигрантов. Почти все они были мужчинами, приехавшими в Карелию без семьи, не являвшимися лесорубами по профессии. Лишь в отношении этой группы можно утверждать, что среди них идеологические причины иммиграции довлели над политическими. Такое численное соотношение (10 % и менее) характерно для радикальных элементов в структуре любого иммигрантского социума. Исследователи финской диаспоры в Северной Америке считают, что для нее также было типично это процентное соотношение. Большинство из них согласны с тем, что многие финны придерживались левых взглядов, но только 5-10 % были радикалами, вплоть до приверженности большевизму.

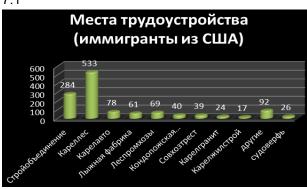
Следует сделать несколько замечаний о профессиональной структуре американцев и канадцев, а также местах их трудоустройства в Карелии. Важно отметить, что выборка, на которой основан данный анализ, проливает свет на занятия эмигрантов и место работы только непосредственно после их переезда в Карелию и регистрации в Переселенческом управ-



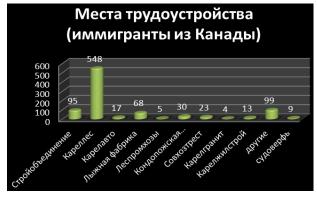
6.2



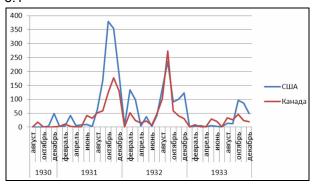
7.1



7.2



8.1



9.1



лении при СНК КАССР. Некоторые источники указывают на то, что североамериканские финны часто меняли места работы, так как они зачастую не соответствовали их профессии. Эта тенденция особенно усилилась во второй половине 1930-х гг. Русификация, сменившая финнизацию Карелии в 1935 г., последовавшая дискриминация финнов, репрессии 1937–1938 гг. и, наконец, депортация и эвакуация во время Великой Отечественной войны – все это способствовало непрерывному перемещению североамериканских финнов как в границах Карелии, так и в Советском Союзе в целом.

В профессиональном отношении среди североамериканских финнов наиболее часто встречались лесорубы (48 %), плотники (18 %), строители (8%), водители (5%) и пильщики (4%). Необходимо подчеркнуть, что эти данные относятся только к мужчинам. Женщины, как правило, регистрировались в соответствии с профессией и местом работы мужа. Их профессия и место работы указывались только в особых случаях. Официально зарегистрированную работу имели всего 38 женщин из США и 7 женщин из Канады.

В чем между канадскими и американскими иммигрантами не было различий, так это в распределении иммиграционного потока по времени. И те, и другие ехали в Карелию в одно время, соответствующие даты совпадали в точности до года, месяца, а иногда и дня. Это позво-



ляет окончательно опровергнуть тезис о том, что иммиграция в Карелию была политической «лихорадкой». На графике 10.1 видно, что массовое бегство из Канады и США совпадало с наивысшим ростом безработицы. В 1930 г., когда в Северной Америке ее уровень колебался от 7 до 12 %, только 77 финнов, или 2 % от выборки, предприняли трансатлантическое путешествие в «рай трудящихся». С другой стороны, когда к концу 1931 г. уровень безработицы поднялся до 18 % в Канаде и до 22 % в США, количество иммигрантов из обеих стран возросло до 1853 человек, что составило уже 45 % от выборки. В 1932 г., в худший год Великой депрессии, когда уровень безработицы в Северной Америке был предельно высок, массовое переселение продолжилось в соответствии с показателями 1931 г., хотя доля канадских рабочих незначительно увеличилась, а американских - уменьшилась. В целом в 1932 г. в Карелию прибыло 1702 североамериканских финна, или 41 % от выборки. В 1933 г. показатели безработицы стабилизировались и прекратили расти, и массовое бегство резко сократилось почти в четыре раза: лишь 507 североамериканских финнов (12 % от выборки) переселились в СССР.

Несмотря на влияние Великой депрессии, неожиданный подъем и спад «лихорадки» нельзя объяснить одними лишь экономическими факторами. Увеличение числа эмигрантов в 1931 и 1932 гг. и его последующее уменьшение отражали как изменения в иммиграционной политике руководства Карелии и Советского Союза, так и проблемы организационного характера, возникавшие у офисов «Карельской технической помощи» в Нью-Йорке и Торонто. Например, в феврале 1931 г. СНК СССР впервые одобрило запросы Гюллинга на прибытие двух тысяч лесорубов из Канады и США [Autio, 2002]. Три месяца спустя офисы КТП были открыты в Нью-Йорке и Торонто, чтобы способствовать комплектованию рабочих бригад. В сентябре того же года была утверждена дополнительная квота на въезд 785 американских строителей, механиков и рабочих других квалификаций [Takala, 2007. Р. 40]. Весной 1932 г. руководство дало зеленый свет на переселение 250 рыболовов из Северной Америки [Takala, 2007. Р. 40]. Эдвард Гюллинг, председатель карельского СНК, и Густав Ровио, руководитель Карельской парторганизации, - по сути дела, истинные виновники «карельской лихорадки» - все еще не были удовлетворены количеством переселенцев и продолжали давить на Кремль, чтобы добиться большего количества разрешений на въезд в страну.

Офисы «Карельской технической помощи» в США и Канаде, возглавляемые Матти Тенхунен и Юсси Латва, соответственно, отвечали за вербовку переселенцев, обеспечение их визами и организацию переезда в Карелию. Они открылись в мае 1931 г., и к концу августа в Карелию уже прибыла первая волна североамериканских финнов. Если принять во внимание, что путь из Нью-Йорка в Карелию длился от пяти до шести недель, к тому же немало времени требовалось на получение необходимых документов от СНК КАССР, то станет очевидным, что открытие офисов «Карельской технической помощи» стало одной из причин массового переселения в Карелию.

В августе 1931 г., через восемь недель после открытия «Карельской технической помощи», в Карелию прибыло более ста человек. В следующем месяце приток переселенцев резко подскочил до 226 человек, что составило 12% от общего числа прибывших в 1931 г. В октябре и ноябре началась «лихорадка». Более тысячи переселенцев прошло через отделения «Карельской технической помощи», что составило 56 % от итоговых показателей 1931 г. и 26 % от всех тех, кто приехал с 1930 по 1933 г.

В течение нескольких месяцев показатели иммиграции продолжали колебаться, при этом высокое количество иммигрантов сохранялось в течение весны 1932 г. и снизилось лишь летом и осенью 1932 г. График 8.1 позволяет увидеть точки роста и стабилизации «лихорадки». Она началась осенью 1931 г. и продолжалась до конца 1932 г. В течение этих шестнадцати месяцев в Советский Союз прибыло 3376 североамериканских финнов. Следующая значительная и последняя большая волна переселенцев прибыла лишь в конце 1933 г., однако размер ее был значительно меньше, чем во время пика иммиграции в конце 1931 и в течение 1932 г.

Если поместить пиковый период «карельской лихорадки» в политический и экономический контекст как в Северной Америке, так и в Советском Союзе, то станет очевидным, что массовая иммиграция была вызвана, в первую очередь, директивами Карельского СНК и открытием отделений «Карельской технической помощи» в Северной Америке, а также самыми тяжелыми годами депрессии (1931-1932 гг.). Это, в частности, позволяет ответить на вопрос: если уровень безработицы в США и Канаде оставался высоким в 1933 и 1934 гг., то почему же все-таки уменьшилось количество эмигрантов? Здесь важно отметить, что среди многих североамериканских финнов сохранялось сильное желание уехать в Карелию. И. Р. Такала, например, пишет, что еще в сентябре 1935 г. свыше трех тысяч человек (2232 канадца и 971 американец) были готовы покинуть США и Канаду – и это за исключением тех, у кого не было денег на проезд, который руководство Карелии не имело возможности оплатить [Takala, 2007. P. 45]. Таким образом, уменьшение количества североамериканских финнов, переехавших в Карелию в 1933 и 1934 гг., больше связано со снижением активности отделений «Карельской технической помощи», а не каким-либо иным фактором. Высокий уровень безработицы все так же порождал среди финнов готовность отправиться в Карелию. Впрочем, были и другие факторы, снижавшие темпы иммиграции, например, негативная оценка условий жизни в Карелии в письмах, отправленных в Канаду и США. Однако решающим фактором в прекращении иммиграционного потока в Карелию были возражения со стороны ряда советских учреждений (особенно ОГПУ) против продолжения переселения американцев и канадцев в Карелию. К тому же в 1933 и 1934 гг. у иммигрантов было меньше денег, из которых можно было оплачивать переезд в Карелию и взносы в Машинный фонд - ключевой элемент всей иммиграционной схемы в Карелию. Это также не могло не оказать негативного воздействия на работу отделений «Карельской технической помощи» в Нью-Йорке и Торонто.

Данные наблюдения и особенно предварительные статистические данные, которые я привожу в конце статьи, как я надеюсь, помогут другим исследователям в их работе по изучению социальной и культурной истории «карельской лихорадки». Краткий анализ статистических данных, приведенных в моей выборке, позволяет сделать следующие выводы. Самым важным является необходимость показать различия между американскими и канадскими финнами, которые отправились в Карелию. Разница между североамериканскими соседями видна на примере половозрастных показателей и профессиональном составе этих групп переселенцев. Несомненно, она включает в себя социальные и, самое главное, культурные различия. Как следствие, представляется не совсем корректным изучение обеих групп переселенцев как единое целое, так как оно оставляет без внимания различный социальный, политический и культурный опыт финских иммигрантов в США и в Канаде.

Анализ статистических данных также показывает, что основные течения, которые лежали в основе «карельской лихорадки», были экономического (Великая депрессия), политического (решения советского и карельского руководства) и технократического (работа офисов «Карельской технической помощи») характера. «Карельская лихорадка» вспыхнула и пошла на убыль в соответствии с этими тремя историческими факторами. Это не отрицает наличия других побудительных факторов. Несомненное влияние оказали образ Карелии в финской культуре, попытки Э. Гюллинга и Г. Ровио финнизировать Карелию, стремление иммигрантов использовать шанс переселиться в более безопасную, как им казалось, экономическую среду и, наконец, левые политические взгляды эмигрантов, которые нередко принимали радикальный характер. Только совмещение этих факторов позволит поместить «карельскую лихорадку» в подходящий исторический контекст. Возможно, ее сравнительное изучение с переселением североамериканских финнов обратно в Финляндию в тот же период покажет, что «карельская лихорадка», в общем-то, не была таким исключительным иммиграционным феноменом, как обычно предполагается исследователями.

> Перевод с английского языка А.В.Голубева, Н.А.Изотовой

Литература

Ефремкин Е. Карельский проект или карельская лихорадка? // Уч. зап. Петрозаводского гос. ун-та. 2008. № 3 (95). С. 42–51.

Autio S. Soviet Karelian Forests in the Planned Economy of the Soviet Union, 1928–1937 // Rise and Fall of Soviet Karelia / Edited by Antti Laine and Mikko Yalikangas. Helsinki: Kikimora Publications, 2002. P. 70–90.

Harpelle R., Lindstrom V., Pogorelskin A. (ed.). Karelian Exodus: Finnish Communities in North America and Soviet Karelia During the Depression Era. Toronto: Aspasia Books, 2004.

Harris S. Nilo's Journey: Finnish American Migration to the Soviet Union in the 1930s. MA thesis

defended at University of Minnesota (Duluth), 2000. 148 p.

Lindstrom V. Defiant Sisters: A Social History of Finnish Immigrant Women in Canada. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1992. 205 p.

Lindstrom V. Canadian Finns and Ten Years of the Great Depression // North American Finns in Soviet Karelia in the 1930s: Academic Essays and Sources. Petrozavodsk: PetrGU, 2007. P. 83–104.

Sevander M. Red Exodus: Finnish American Emigration to Russia. Duluth: Oscat, 1993.

Takala I. North American Finns in pre-war Karelia // North American Finns in Soviet Karelia in the 1930s: Academic Essays and Sources. Petrozavodsk: PetrGU, 2007. P. 190–212.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Ефремкин Евгений

докторант Университета Йорк M3J 1P3, Канада, Онтарио, Торонто, ул. Киль Стрит, 4700 эл. почта: efremkine@gmail.com тел.: (1-416) 908-3899

Efremkin, Evgeny

PhD Candidate History, York University 4700 Keele Street, Toronto, Ontario, Canada, M3J 1P3 e-mail: efremkine@gmail.com tel.: (1-416) 908-3899 УДК 947.8(470.22)+314.7.045

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – МАРГИНАЛЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ КАРЕЛИИ ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ)

Л. И. Вавулинская

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

На основе материалов местных архивов рассмотрено правовое и социально-бытовое положение спецпереселенцев – одной из маргинальных групп послевоенного советского общества. Отсутствие свободы передвижения спецпереселенцев препятствовало реализации ряда гражданских прав, дополнялось дискриминацией в оплате труда, медицинском и бытовом обслуживании, разрушало семейные связи.

Ключевые слова: спецпоселенцы (спецпереселенцы), маргиналы, репрессии, принудительный труд, административно-правовой режим.

L. I. Vavulinskaya. «SPECIAL» SETTLERS — IN THE MARGINS OF THE SOCIAL STRUCTURE OF THE SOVIET SOCIETY (KARELIA IN THE FIRST POST-WAR DECADE)

The legal and social-living status of «special» settlers – one of marginal groups of a post-war Soviet society is considered on the basis of materials from local archives. Deprivation of the freedom of movement did not let the forced migrants practise some of their civil rights, came along with discrimination in salaries, health care and consumer services, disconnected families.

Key words: «special» settlers, marginal group, repressions, forced labor, administrative-legal regime.

Изучение правового и социального положения маргинальных групп в СССР представляет собой интересную, недостаточно исследованную научную проблему, так как позволяет осветить жизнь людей, оказавшихся в силу тех или иных причин на обочине общества. В особенности это касается спецпереселенцев, которые в 1930–1950-е гг. составляли одну из самых многочисленных категорий принудительного труда в стране. В статье предпринята попытка обосновать положение о том, что спецпереселенцев послевоенного периода в полной мере можно отнести к маргинальным группам населения СССР.

Теория маргинальности как специфического культурного явления, возникающего в ситуации культурного перехода, была выдвинута в 1920-х гг. одним из основателей чикагской социологической школы Р. Э. Парком и развита Э. В. Стоунквистом. В европейской социологической литературе маргинальность трактуется значительно шире – как следствие социально-политических процессов – и употребляется в основном для обозначения социальных групп, не обладающих значимыми статусными позициями и находящихся вне установленной социальной структуры или на низших ее ступенях.

К числу наиболее крупных работ отечественных исследователей по этой проблеме относятся публикации Н. О. Навджавонова, М. И. Полякова, Е. Н. Старикова, Б. Н. Шапталова, А. И. Атояна, И. П. Поповой, З. Т. Голенковой, Е. Д. Игитханян, И. В. Казариновой, С. Л. Скорынина, Н. А. Фроловой и др. Разносторонние материалы по истории и современному состоянию концепции маргинальности, анализу маргинальных групп и их места в социальной политике государства содержит коллективная монография «Маргинальность в современной России» [2000], подготовленная по итогам работы межрегиональных научных семинаров.

Пришедший из социологии термин «маргинальность» был взят на вооружение историками. Ряд публикаций отечественных историков посвящен исследованию маргинальных групп и общностей в СССР в послереволюционный период, а также в 1920–1930-е гг. [Красильников, 1998, 2003; Лебина, 1999; Маргиналы в советском обществе..., 2001; Маргиналы в социуме..., 2004; Красильников и др., 2010 и др.]. Один из ведущих исследователей процесса раскрестьянивания России С. А. Красильников относит спецпереселенцев к числу самых массовых маргинальных групп в 1930-е гг., обосновывая это положение конкретным анализом прав и ограничений данной категории репрессированных. Автор приходит к выводу, что вытесненные «за грани формально правового советского общества», «спецпереселенцы насильственным путем были переструктурированы, превращены в универсальную рабочую силу для нужд сталинской ("социалистической") модернизации» [Красильников, 2003. C. 18].

В 2000-е гг. появились специальные исследования, освещающие проблемы маргинальных групп в 1930-х – середине 1950-х гг. Наиболее активно эти вопросы разрабатываются сибирскими историками [Маргиналы в советском обществе..., 2006, 2007; Маргиналы в советском социуме..., 2010]. В их публикациях рассматриваются процессы маргинализации ряда социальных, национальных и конфессиональных групп советского социума в контексте советской внутренней политики в 1930–1950-е гг., анализируются изменения в численности, составе и использовании трудового потенциала различных маргинальных групп советского общества, в том числе спецпоселенцев.

В статье Е. Ю. Зубковой [2009] основное внимание сконцентрировано на социальной периферии советского общества – группах населения, находившихся на низшей ступени социальной иерархии – алкоголиков, нищих, бес-

призорных детей, бродяг, уголовников (социальных маргиналов). Что касается спецпоселенцев, репатриантов, бывших заключенных, то автор относит их к группам риска – категориям населения, которые по своему нормативному статусу или реальному положению приближались к маргиналам [Зубкова, 2009. С. 103]. В статье нашли отражение вопросы правового положения спецпоселенцев-«указников» – крестьян, выселенных за невыполнение обязательного минимума трудодней и попавших под определение «антиобщественных элементов».

Большим событием стал выход в свет сборника документов «На "краю" советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 1945–1960-е» [2010], подготовленного Е. Ю. Зубковой и Т. Ю. Жуковой. Документы освещают государственную политику по отношению к обитателям социального «дна» послевоенного общества, а также представителям «группы риска», которые по разным причинам могли оказаться на обочине жизни.

В рамках изучения отдельных маргинальных групп послевоенного периода следует отметить работы историков, посвященные спецпереселенцам, в том числе депортированным народам (В. Земсков, Н. Бугай, П. Полян, А. Шадт, В. Бердинских, И. Бердинских, Л. Бургарт, Н. Игнатова, Л. Белковец, Е. Зберовская и др.), репатриированным (В. Земсков, Е. Вертилецкая, Ю. Арзамаскин и др.), в целом спецконтингенту (А. Суслов, Е. Боркова, Р. Бикметов и др.).

Несмотря на разные подходы к определению понятия маргинальности, общим является признание большинством авторов окраинного, изолированного положения маргинальных групп в социальной структуре: «Маргинальность в ее типичной форме – это утрата объективной принадлежности к тому или иному классу, сословию, группе без последующего вхождения в другую подобную общность. Главным признаком маргинальности служит разрыв связей (социальных, культурных, поселенческих) с прежней средой. Постепенно значение термина "маргинальность" стало расширяться и ныне оно служит для обозначения пограничности, периферийности или промежуточности по отношению к любым социальным общностям» [Красильников, 1998. C. 4].

Именно в этом качестве нас интересует концепция маргинальности, позволяющая придать целостность определенному ракурсу и способствующая более глубокому пониманию репрессивной политики сталинского

режима. В статье на материалах Карелии рассматривается положение двух групп спецпереселенцев (спецпоселенцев) послевоенного времени, состоявших преимущественно из репрессированных крестьян – «бывших кулаков» и «указников».

К началу Великой Отечественной войны на территории Карело-Финской ССР было расселено почти 30 тыс. трудпоселенцев (до 1934 г. отправленные в «кулацкую ссылку» крестьяне назывались спецпереселенцами, в 1933-1944 гг. – трудпоселенцами, с марта 1944 г. – снова спецпереселенцами (спецпоселенцами), с 1949 г. – спецпоселенцами контингента «бывшие кулаки» [Земсков, 2003. С. 18; Красильников, 2003. С. 14]), «бывших кулаков», выселенных с Урала, Центрально-Черноземной области, Поволжья, Украины. В 1941-1942 гг. в связи с военными действиями на территории республики большая часть трудпоселенцев (свыше 25 тыс. человек) была эвакуирована в тыловые области СССР. После окончания войны в республику вернулась лишь часть репрессированных. На 1 января 1945 г. на учете НКВД КФССР состояло 3686 спецпереселенцев -«бывших кулаков», из них 840 детей, 1351 женщина, 1495 мужчин [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 369, л. 177, 179].

Особенностью послевоенного спецпоселения в республике являлось то, что спецпереселенцы размещались не в спецпоселках (поселках закрытого типа с жестким режимом содержания под контролем коменданта), как до войны, а небольшими группами среди местного населения. По-видимому, это объяснялось тем, что контингент «бывших кулаков» уже не был столь многочисленным, за время пребывания в Карелии они в большинстве своем обзавелись семьями и хозяйством, а в годы Великой Отечественной войны активно участвовали в общем деле разгрома врага.

Охрана спецпереселенцев в местах поселения не предусматривалась, но для надзора за ними были организованы спецкомендатуры (в августе 1944 г. их в республике было 7). В ведении спецкомендатур находились все основные вопросы жизни спецпереселенцев: соблюдение установленного режима в местах их расселения; содействие хозяйственному и трудовому устройству; посемейный и персональный учет переселенцев и т. д. [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 110, л. 56-59]. Администрации предприятий, где работали спецпереселенцы, не позволялось допускать их перебросок на другие объекты, направления в командировки, отпуска, на лечение и т. д. без ведома комендатуры. Каждый спецпереселенец обязан был ежемесячно являться в комендатуру на регистрацию.

К середине 1940-х гг. были отменены некоторые ограничения прав спецпереселенцев: в декабре 1935 г. их детям было разрешено на общих основаниях поступать в специальные среднетехнические и высшие учебные заведения; по постановлению секретариата ВЦСПС от 27 июля 1936 г. на трудпоселенцев, работавших на основании договоров между хозорганами и НКВД, распространялось законодательство о труде и социальном страховании; в соответствии с директивой НКВД от 8 января 1939 г. администрация обязана была на всех трудпоселенцев, работавших в хозорганизациях, заводить трудовые книжки, не делая в них отметок «трудпоселенец» и т. д. [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 110, л. 25, 26, 27].

Однако вплоть до начала 1945 г. отсутствовала официальная правовая база, определявшая положение спецпереселенцев. 8 января 1945 г. было принято постановление СНК СССР «О правовом положении спецпереселенцев». Постановление определяло, что спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ряда ограничений. Спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной спецкомендатурой. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой ответственность в уголовном порядке. Спецпереселенцы, главы семей, или лица, их заменяющие, обязаны были в трехдневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД обо всех изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т. п.). За нарушения режима и общественного порядка в местах поселения спецпереселенцы подвергались административному взысканию в виде штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток [Сборник..., 1999. С. 380-381].

Таким образом, в законодательном порядке сохранялось основное ограничение для спецпереселенцев – отсутствие свободы передвижения. Оно влекло за собой ущемление других конституционных прав и свобод: на образование, получение медицинской помощи и т. д.

Жизнь спецпереселенцев строго регламентировалась не только законодательными актами и правительственными постановлениями, но и подзаконными актами – директивами, циркулярами, приказами НКВД и частично Прокуратуры СССР. Поэтому, как справедливо отмечает С. Красильников, правильнее анализировать не «правовое положение» спецпереселенцев, а режимное, дискриминационно-

ограничительное пространство, в котором они пребывали на спецпоселении и внутри которого «права» на деле являлись смягчением либо отменой ранее введенных ограничений или дискриминаций [Красильников, 2003. С. 134].

Так, с 1 сентября 1944 г. было прекращено 5%-е удержание с заработной платы спецпереселенцев на расходы НКВД по их управлению и обслуживанию. В апреле 1947 г. установлен особый порядок регистрации актов гражданского состояния и документирования населения трудовых и специальных поселков. Вместо гербового свидетельства им выдавалась целевая справка на простой бумаге (решением НКВД 1940 г. при регистрации брака, развода, рождения и смерти свидетельства об этих актах трудпоселенцам на руки не выдавались). Что касается права избирать в руководящие органы власти, то Конституция СССР 1936 г. объявила трудпоселенцев полноправными гражданами, однако их участие в выборах было своеобразным. При выдаче избирательных бюллетеней у них отбирались выданные взамен паспортов справки [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 180, л. 156].

Трагедия спецпереселенцев была в том, что формально они не считались репрессированными и не лишались свободы, но фактически являлись таковыми [Красильников, 2003. С. 118], что делало произвол на местах распространенным явлением. Имели место факты, когда органы НКВД по постановлениям местных советских органов проводили мобилизацию спецпереселенцев на работу в промышленные предприятия, стройки и городские организации. В результате семьи спецпереселенцев теряли приусадебные участки, засеянные огороды и попадали в тяжелое положение.

Проверка применения на местах постановления СНК СССР от 8 января 1945 г. «О правовом положении спецпереселенцев» выявила многочисленные факты нарушения установленного порядка привлечения их к административной ответственности. Некоторые работники спецкомендатур с санкции начальников РО МВД допускали превышение своих полномочий, подвергая спецпереселенцев штрафам и арестам за оскорбление должностных лиц, за отказ от работы и т. п. Отмечались даже случаи, когда в качестве меры наказания при нарушении установленного режима применялся перевод спецпоселенцев из лучших в худшие бытовые условия (Беломорск) [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 367, л. 64–65].

Хотя формально спецпереселенцы по условиям работы, оплате труда и нормам выработки приравнивались к остальным рабочим дан-

ной отрасли промышленности, их место работы и должность определяли органы НКВД и хозяйственные органы. Из общего числа трудоспособных спецпереселенцев – «бывших кулаков» (2619 человек) в 4-м квартале 1946 г. в сельскохозяйственных предприятиях работали менее 20 %. Наибольшая часть «бывших кулаков» была занята на предприятиях Министерства речного флота (37 %), лесной промышленности (16 %), Министерства промышленности строительных материалов (15 %) и др. [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 274, л. 28].

В условиях острой нехватки кадров в послевоенные годы некоторые спецпереселенцы -«бывшие кулаки», имевшие ранее или получившие уже на спецпоселении квалификацию и специальность, были выдвинуты на руководящие должности. Так, по сведениям Летнереченской спецкомендатуры, в январе 1945 г. около 50 спецпоселенцев работали на руководящих должностях. В совхозе № 1 Пудожского района руководящие посты, за исключением директора предприятия, который являлся вольнонаемным, занимали бывшие кулаки [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 126, л. 6; д. 156, л. 3]. В отчетах о работе Отделения спецпоселений (ОСП) МВД КФССР отмечались добросовестное отношение большинства спецпоселенцев к труду, систематическое перевыполнение ими норм выработки. Признавая этот факт, необходимо учитывать, что в условиях тяжелого материального положения и жизни на спецпоселении перевыполнение производственных норм давало возможность получения дополнительных средств или определенных преимуществ для содержания семей «бывших кулаков».

В то же время не все спецпереселенцы смогли адаптироваться к новым условиям жизни. Для многих из них была характерна утрата перспективы, безразличие и усталость. Сохранение спецпоселений после победы СССР в войне вызвало разочарование в несбывшихся надеждах людей на освобождение, прямое недовольство советской властью: «Немецких солдат домой отпускать скоро будут, а нас, спецпереселенцев, никуда не пускают, надоела такая жизнь, сам себе не хозяин, не живешь, а мучаешься...»; «Спецпереселенцы, якобы, пользуются всеми правами граждан СССР, а на самом деле живут хуже, чем заключенные. Заключенные хоть знают свой срок наказания, а мы не знаем и не дают нам права выезда даже в отпуск»; «Тяжелая жизнь, живем как невольники, лишены всяких прав. Жаль и детей, которые содержатся и воспитываются в детских садах и яслях, так что они ничего хорошего не видят. И после всего этого говорят о счастливой жизни в стране» [АМВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 276, л. 44, 106, 118].

Активной формой протеста против такого положения являлись побеги спецпереселенцев – «бывших кулаков». Только в 4-м квартале 1946 г. за побеги было привлечено к уголовной ответственности 323 человека и к административной ответственности – 64 человека [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 274, л. 18].

На основании постановления Совета Министров СССР от 7 мая 1947 г. и приказа МВД СССР от 16 мая 1947 г. спецпереселенцы – «бывшие кулаки», расселенные на территории КФССР (3788 человек), были освобождены из спецпоселений [Земсков, 2003. С. 146, 148], однако снятие с учета спецпоселения не давало реальной свободы, и предприятия, хозяйственные организации могли на вполне «законных» основаниях не отпускать работников. Освобождение спецпереселенцев от работы допускалось только по инвалидности или в случае выезда на соединение с семьей лиц, не имевших средств существования. Остальные спецпереселенцы могли увольняться с работы только на общих основаниях со всеми гражданами и несли равную ответственность за самовольный уход с работы [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 186, л. 8].

По имевшимся в МГБ КФССР данным, почти все «бывшие кулаки» остались в республике. Они получили паспорта без ограничений на общих основаниях. Государство, таким образом, избавлялось от расходов по управлению спецпоселенцами, не теряя при этом рабочую силу.

В 1948 г. на спецпоселении в республике появился новый контингент - крестьяне-«указники» (под эту категорию, как правило, попадали колхозники, не выработавшие обязательного минимума трудодней). «Указники» выселялись на 8 лет на основании постановления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 г. «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни» и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни».

На 1 декабря 1948 г. на спецпоселении в Карело-Финской ССР содержалось 1396 «указников», выселенных из Украинской ССР. Они были расселены в 23 населенных пунктах республики мелкими группами от 20 до 30 человек [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 316, л. 213]. В свя-

зи с прибытием нового контингента спецпоселенцев число спецкомендатур в республике к декабрю 1948 г. увеличилось до 16, в штаты РО МВД дополнительно введены 18 надзирателей из расчета на каждые 100–200 спецпоселенцев 1 надзиратель [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 344, л. 166–172].

Для «указников», в отличие от «бывших кулаков», статус спецпоселенца не был наследственным. Дети, родившиеся в их семьях, считались свободными людьми с момента рождения. Родные и близкие, добровольно прибывшие в места высылки для совместного проживания с «указниками», на учет спецпоселений не ставились. Например, в ноябре 1949 г. в Карело-Финской ССР вместе с 1309 спецпоселенцами-«указниками» проживали 340 свободных людей, из них 222 – дети [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 12. д. 68, л. 278].

Как свидетельствуют архивные документы, во время кампании по выселению из Украины так называемых «указников» наблюдались многочисленные случаи избавления колхозов от инвалидов, людей с хроническими заболеваниями, матерей, имевших малолетних детей и в силу этого не выполнивших обязательного минимума трудодней, а также лиц, работавших на производстве и даже не состоявших членами колхоза. К декабрю 1948 г. 228 «указников» инвалидов 3-й группы и лиц с физическими недостатками, не способных работать в лесной промышленности, были расселены в совхозы Питкярантского, Олонецкого и Пудожского районов, 7 человек определены в дома инвалидов [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 314, л. 75].

После рассмотрения жалоб «указников» областными советами депутатов трудящихся Украины часть решений об их выселении была отменена, и они возвращены на родину. К декабрю 1949 г. по решениям исполкомов областных советов Украины было освобождено и возвращено из Карелии к прежним местам жительства 52 «указника» [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 322, л. 279; д. 412, л. 90].

С конца 1940-х гг. первостепенное внимание в работе спецкомендатур все больше концентрируется на осуществлении функций укрепления режима спецпоселений. «Конечно, работа по трудоустройству, созданию надлежащих условий быта имеет важное значение, но это все-таки второстепенная задача, – подчеркивалось в выступлении министра внутренних дел КФССР на совещании руководящих работников МВД республики и начальников РО МВД 7–8 декабря 1948 г. – Первой является надзор, режим, недопущение побегов...» [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 361, л. 50, 52].

В январе 1949 г. при МВД КФССР организуется оперативно-розыскной отряд в количестве 100 человек. В местах наиболее вероятного движения беглецов («указников», «власовцев», «немцев») оборудован 21 заградительный пост. В населенных пунктах республики и на разъездах Кировской железной дороги к осени 1949 г. созданы 82 группы содействия спецкомендатурам в количестве 553 человек из числа советского, колхозного, партийного и комсомольского актива [АИЦ МВД РК, ф. 3. оп. 1, д. 369, л. 12]. В местах расселения спецпоселенцев комендантами были назначены старшие бараков, общежитий и десятидворок, на которых возложена задача осуществлять установленный внутренний распорядок и своевременно информировать органы надзора о случаях передвижения и побегов спецпереселенцев, об изменениях в их семьях, обеспечивать своевременную явку спецпоселенцев на регистрацию. Среди спецпоселенцев была установлена групповая порука (по десяткам).

В январе 1950 г. 65 % «указников» работали на предприятиях Министерства лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, 21 % —
на предприятиях Министерства промышленности строительных материалов и лишь 13 % — в
совхозах [подсчитано по: ф. 3, оп. 1, д. 322,
л. 304–305]. Выселенные из колхозов крестьяне, среди которых было немало инвалидов и
пожилых людей, не имели навыков работы в
лесу, что вызывало существенные трудности в
адаптации этой категории спецпоселенцев к
труду.

Нередко отмечались случаи, когда администрация предприятий самовольно поднимала нормы или снижала расценки, задерживала заработную плату. До многих рабочих нормы и расценки не доводились, не выдавались наряды на работы и расчетные книжки, поэтому отдельные спецпоселенцы не знали сумму своего заработка, получая зарплату мелкими авансами. Имели место и случаи злоупотребления служебным положением со стороны администрации предприятий. Так, в ходе проверки трудоустройства и жилищно-бытовых условий «указников», проведенной в 1949 г. Министерством внутренних дел и Министерством лесной промышленности КФССР в Верхне-Выгском и Чупинском леспромхозах, были выявлены факты вымогательства денег у спецпоселенцев, а также грубого обращения с рабочими вплоть до применения физических мер воздействия со стороны мастера Валдайского лесопункта Верхне-Выгского леспромхоза. Мастер лесопункта был снят с работы и привлечен к уголовной ответственности. На том же лесопункте многодетная семья одного из спецпоселенцев, состоявшая из четырех взрослых и четырех малолетних детей, в течение пяти дней питалась только ягодами и грибами, не имея возможности покупать даже хлеб, в то время, когда главе семьи за июль 1949 г. причиталась зарплата в сумме 790 руб. [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 344, л. 225, 227].

Одной из самых острых проблем для спецпоселенцев являлась недоступность квалифицированного медицинского обслуживания, в связи с тем что реализация их права на охрану здоровья ограничивалась запретом самовольных выездов спецпоселенцев из мест обязательного поселения. В начале 1945 г. были ужесточены меры против спецпоселенцев, которые, ссылаясь на болезнь, не выходили на работу. В случае отсутствия справок от врача к ним применялось административное воздействие [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 172, л. 81-82]. Имели место и случаи прямого самоуправства со стороны администрации предприятий. Так, начальник лесоучастка Амбарная Чупинского леспромхоза в июне 1949 г. вытолкнул из лодки направлявшуюся в больницу спецпоселенку, при этом заявив ей: «Подохни тут». Начальник лесоучастка был снят с работы [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 344, л. 225].

В связи с тем что во многих населенных пунктах не было врачей-специалистов, заболевшие спецпоселенцы направлялись для лечения в г. Петрозаводск в сопровождении надзирателей, которым выписывались командировочные. Однако районные отделения МВД получали на расходы по командировкам небольшие суммы, и вследствие этого вынуждены были придерживать направление больных спецпоселенцев в Петрозаводск или просили разрешить их отправку на лечение без сопровождающего, что применялось крайне редко из-за опасности побегов.

2 марта 1950 г. начальникам РО МВД была направлена директива министра внутренних дел КФССР, в которой говорилось: «За последнее время... участились случаи направления из районов в г. Петрозаводск без разрешения МВД республики спецпоселенцев в лечебные учреждения и на консультации к врачам-специалистам. Еще раз предлагаю: прекратить направление в г. Петрозаводск и другие города республики спецпоселенцев на лечение без официального на то разрешения МВД КФССР. Разрешаю направлять с последующей письменной санкцией только тех спецпоселенцев, которым требуется неотложная медицинская помощь в экстренных случаях... Предупреждаю, что впредь (в случае) направления спецпоселенцев в г. Петрозаводск без разрешения МВД республики на виновных лиц буду налагать взыскания» [АИЦ МВД РК, ф. 3. оп. 1, д. 367, л. 8].

Некоторые спецпоселенцы до выселения получали пенсии как инвалиды Великой Отечественной войны или инвалиды труда. Оказавшись на спецпоселении, они лишились пенсий, так как органы социального обеспечения им в этом отказывали. Не имевшие паспортов спецпоселенцы не могли быть членами профсоюзов и поэтому были лишены ряда социальных льгот.

Одним из самых серьезных нарушений прав спецпоселенцев являлось разъединение их семей, оказавшихся в разных областях и республиках. В начале 1945 г. в Карелии было выявлено 196 разрозненных в годы войны семей спецпереселенцев - «бывших кулаков», и при проведении переучета соединено с семьями 76 человек [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 182, л. 1]. В том же году в Карело-Финскую ССР на воссоединение с главами семей прибыли 72 человека из Коми АССР [Доброноженко, Шабалова]. От спецпоселенцев в разные инстанции поступали заявления с просьбами позволить им выехать к своим родным и близким. 8 марта 1948 г. вышла директива МВД СССР № 33 о соединении разрозненных семей спецпоселенцев, предписывающая местным органам МВД оказывать содействие спецпоселенцам, желающим выехать к своим семьям в места спецпоселений других областей, краев и республик. Эта мера призвана была способствовать прочности оседания людей в местах высылки [Земсков, 2003. С. 158]. Несмотря на указания МВД СССР, отдельные РО МВД под всякими предлогами препятствовали выезду специалистов-спецпоселенцев к своим семьям в другие края, области и республики. Вынужденная разлука привела к распаду некоторых семей, так и не дождавшихся возвращения своих родных из спецпоселения. Многие спецпоселенцы обзавелись семьями в Карелии, где и остались после своего освобождения.

Еще более трагическая ситуация складывалась, когда у спецпоселенцев на родине оставались дети или престарелые родители. Так, в 1945 г. Отдел спецпоселений НКВД КФССР разрешил спецпереселенке Л., которая вместе с мужем находилась на спецпоселении в г. Беломорске, поездку на родину, в Киевскую область, за тремя детьми, 10, 14 и 16 лет, которые находились без надзора [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 150, л. 81].

Под строгим контролем спецкомендатур находились все изменения, происходившие в со-

ставе семей спецпереселенцев, о которых они обязаны были в трехдневный срок сообщить в спецкомендатуру МВД. В сентябре 1945 г. был подвергнут аресту на трое суток один из спецпоселенцев – «бывших кулаков», работавший на шлюзе Беломорско-Балтийского канала, за то, что, будучи главой семьи, не сообщил в комендатуру о рождении ребенка в августе месяце [АИЦ МВД РК, ф. 3, оп. 1, д. 149, л. 153].

Ущемление прав испытывали не только непосредственные жертвы репрессий, но и их дети и родственники. В МВД КФССР от членов семей, прибывших с «указниками», поступали заявления и жалобы о том, что коменданты спецкомендатур чинили им препятствия в устройстве на работу по их усмотрению и специальности, запрещали выезд в районные центры по личным делам и грубо относились к ним. Жизненный опыт «отцов», оказавшихся изгоями в своем обществе, утрачивал ценность в глазах «детей», которые не могли обрести достойное место в основных социальных сферах.

Постановление бюро ЦК КП КФССР 30 июля 1955 г. признало, что «в районах, где проживают спецпоселенцы, имеются факты, когда партийные, советские, профсоюзные, комсомольские органы и руководители предприятий не учитывают того, что спецпоселенцы пользуются всеми правами граждан СССР с некоторыми лишь ограничениями в правах передвижения и допускают к ним неправильное отношение, зачастую огульно и необоснованно выражают политическое недоверие... Трудящиеся из числа спецпоселенцев часто не допускаются к выборной работе в местных советах, профсоюзных и комсомольских органах, в колхозных и кооперативных организациях. Новаторы производства и передовики сельского хозяйства из числа спецпоселенцев, как правило, не представляются к наградам и поощрениям за достигнутые ими высокие показатели в производственной работе..» [НА РК, ф. П-8, оп. 1, д. 6282, л. 11–12].

В 1955–1956 гг. основная масса спецпоселенцев всех категорий была освобождена, что свидетельствовало о глубоком кризисе спецпоселенческой системы.

Таким образом, в послевоенные годы спецпереселенцы являлись одной из массовых маргинальных групп советского общества. Спецпоселение обернулось для них изменением прежнего социального статуса, утратой привычной сферы деятельности и социокультурной среды, системы ценностных ориентаций, разрывом семейных связей. Формально спецпереселенцы пользовались всеми правами граждан СССР, однако отсутствие свободы передвижения и невозможность выбора места работы, ограниченность доступа к медицинским услугам и получению высшего образования, лишение ряда социальных льгот ставили их в особое, маргинальное положение в социальной структуре послевоенного советского общества.

Литература и источники

Архив Информационного центра при МВД по РК (в тексте – АИЦ МВД РК).

Доброноженко Γ ., Шабалова Π . Спецпоселенцы в Коми АССР: 1945–1950 гг. (Статистико-географический аспект). URL: http://socnet.narod.ru/Rubez/ 10-11/dobronozh.htm.

Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М.: Наука, 2003. 306 с.

Зубкова Е. Ю. На «краю» советского общества. Маргинальные группы населения и государственная политика. 1940–1960-е годы // Российская история. 2009. № 5. С. 101–118.

Красильников С. А. На изломах социальной структуры. Маргиналы в послереволюционном российском обществе (1917 – конец 1930-х годов). Новосибирск: НГУ, 1998. 91 с.

Красильников С. А. Серп и Молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 2003. 288 с.

Красильников С. А., Саламатова М. С., Ушакова С. Н. Корни или щепки. Крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири (1930-е – начало 1950-х гг.). Изд. 2. М.: РОССПЭН, Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. 360 с.

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб.: Журн. «Нева», 1999. 320 с.

Маргинальность // Социологический словарь (Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев). М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 227–228.

Маргинальность в современной России. М.: Моск. общ. науч. фонд. 2000. 207 с.

Маргиналы в советском обществе 1920–1930-х годов: историография, источники: Сб. науч. тр. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2001. 135 с.

Маргиналы в советском обществе: механизмы и практика статусного регулирования в 1930–1950-е годы. Новосибирск: НГУ, 2006. 210 с.

Маргиналы в советском обществе: институциональные и структурные характеристики в 1930–1950-е гг. Новосибирск: НГУ, 2007. 196 с.

Маргиналы в советском социуме, 1930-е – середина 1950-х гг. Изд. 2-е, расш. и доп. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2010. 448 с.

Маргиналы в социуме: Маргиналы как социум: Сибирь (1920–1930-е годы). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. 456 с.

На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 1945–1960-е / Сост.: Е. Ю. Зубкова, Т. Ю. Жукова. М.: РОССПЭН. 2010. 816 с.

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – HA PK).

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. В 2 ч. Ч. 1. Курск: ГУИППМ, 1993. 510 с.

Сергеева О. А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем // Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 104–114.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Вавулинская Людмила Ивановна

старший научный сотрудник, к. и. н. Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: ludvav@mail.ru тел.: (8142) 575281

Vavulinskaya, Lyudmila

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: ludvav@mail.ru

tel.: (8142) 57528

УДК 316.442

«РУССКИЙ МЕДВЕДЬ» КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОГРАНИЧНИК

О. В. Рябов, М. А. Константинова

Ивановский государственный университет

Статья посвящена анализу образа «русского медведя» как символического пограничника, отделяющего Россию от Запада. Авторы интерпретируют проведение символических границ как средство поддержания коллективной идентичности и способ установления властных отношений. Исследуются свойства и функции «русского медведя», его роль в проведении внешних и внутренних символических границ России.

K л ю ч е в ы е с л о в а : образ России как медведя, социальные границы, символические границы, символические пограничники, национальная идентичность, легитимация власти.

O. V. Ryabov, M. A. Konstantinova. «RUSSIAN BEAR» AS A SYMBOLIC BORDER GUARD

The article is devoted to the image of the Russian bear as a symbolic border guard which contributes to drawing symbolic boundaries between Russia and the West. The authors treat drawing of symbolic boundaries as a way to support collective identity and to establish power relations. They analyse traits and functions of the 'Russian bear' and its role in establishing internal and external symbolic boundaries of Russia.

Key words: image of Russia as a bear, social boundaries, symbolic boundaries, symbolic border guards, national identity, legitimating power.

В 1969 г., задолго до появления Шенгенской зоны, герой поэмы «Москва – Петушки» представил различия России и Европы следующим образом:

«Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница эта – не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском...

А там?

Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и говорят не по-русски!» [Ерофеев, 1995. С. 100].

В этих словах Венечки выражена сущность социальной границы как таковой. Во-первых,

она объединяет одних, противопоставляя их другим; другие при этом гомогенизируются, превращаясь в унифицированных Чужих. Вовторых, граница социальная поддерживается границей символической, которая создается при помощи своеобразных символических пограничников. В-третьих, эти пограничники произвольны: в качестве таковых могут быть использованы и язык, и количество выпитого – хотя эта произвольность также имеет свои границы.

Одним из заметных символических пограничников, исключающих Россию из Запада, является образ «русского медведя», и цель нашей статьи заключается в исследовании его роли в производстве этого исключения. Внача-

ле мы уточним методологию исследования границ, а затем остановимся на вопросе о том, как данный образ используется в проведении внешних и внутренних символических границ как на Западе, так и в России.

Символические границы: природа и функции

Онтологический статус границы определяется, прежде всего, тем, что бытие дискретно, т. е. состоит из частей, качественно отграниченных друг от друга. В философской традиции понятие границы впервые можно встретить в учении Филолая, представителя пифагорейской школы, который среди начал всего сущего выделил предел и беспредельное [см.: Бахтызин, 2004. С. 14]. Граница, по Филолаю, является единством предела и беспредельного, которое, разделяя и измеряя все сущее, упорядочивает и оформляет космос [Еремеев, 1993; Бахтызин, 2004].

Аристотеля граница интересует не в качестве трансцендентного начала, а как важнейшая характеристика отдельного: «Пределом называется граница каждой вещи, то есть то первое, вне которого нельзя найти ни одной его части, и то первое, внутри которого находятся все его части» [цит. по: Боровкова, 2007]. Поскольку тело - это существование идеи в материальной форме, граница есть необходимое условие оформления материи: переход материи к действительному существованию связан с обретением ею конкретной формы, очерчиванием определенных границ, посредством которых она становится вещью [см.: Бахтызин, 2004. С. 27]. Начиная с Аристотеля, граница стала рассматриваться в качестве атрибута существования материального тела.

Кроме того, Аристотель отмечал, что граница связывает вещи и их части в целое [см.: Бахтызин, 2004. С. 26]. Действительно, граница не только отделяет одно от другого, но и соединяет их; природа границы позволяет трактовать бытие как диалектику целого и части.

Подобно тому, как границы в целом являются атрибутом бытия, социальные границы выступают атрибутом социальности. Социальное бытие невозможно без существования границ. Уничтожая одни границы, мы тем самым создаем другие. Процесс установления и корректировки социального порядка – это и есть, собственно, процесс проведения границ: между дозволенным и недозволенным, между нормой и девиацией, между истинным и ложным, между Своими и Чужими. Ю. М. Лотман, анализируя пространство семиосферы, отмечал, что

всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»). «Свое» пространство определяется как «наше», «культурное», «безопасное», «гармонически организованное». Ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотическое» [Лотман, 2000. С. 257].

Важность социальных границ определяется тем, что они, во-первых, фиксируют право собственности. На уровне государства это право воплощается в принципе суверенитета, важнейшей составляющей политической мифологии, связанной с такими ценностями, как независимость и безопасность. Этим объясняется распространенная практика сакрализации границы: скажем, в СССР граница защищала «священные рубежи Родины» [Изотов, 2008. С. 55], а образ пограничника, соответственно, выступал значимым персонажем советского героического пантеона [Илюха, 2008. С. 206]. Вовторых, границы обозначают социальные иерархии. Именно поэтому легитимное пересечение вертикальной социальной границы сопровождается ритуалами [Patshayder, 1999], а нелегитимное, связанное с нарушением иерархии – наказанием, будь то в академическом сообществе или в преступном мире.

Границы, отражая объективную дискретность социального бытия, в то же время выступают социальным конструктом: в процессе проведения границ объективные различия не только фиксируются, но также акцентируются или, напротив, сглаживаются.

Конструктивистский подход к анализу социальных границ был впервые применен Фредриком Бартом, работам которого социальные науки в значительной степени обязаны своим интересом к исследуемой категории [Barth, 1969]. Норвежский антрополог показал, что сами содержательные компоненты этнической культуры в значительной степени определяются необходимостью границы между сообществами. Первична сама граница, а не удерживаемое ею культурное содержание. Этнические границы создаются при помощи этнических маркеров, или диакритиков, - элементов культуры, отбираемых (иногда достаточно произвольно) самими членами группы для подчеркивания своих отличий от окружающих (например, одежда, язык, стиль жизни) [Barth, 1969. P. 14].

В книге Джона Армстронга, который применил идеи Барта для анализа национальных сообществ, для обозначения этих маркеров был предложен термин «символические пограничники» [Armstrong, 1982]. Действительно, соци-

альные границы имеют символическое измерение; по оценке Мишель Ламон, «символические границы представляют собой необходимое (хотя и не достаточное) условие границ социальных» [цит. по: Lamont, Molnar, 2002. Р. 169]. Символические границы представляют собой объективированные формы социальных различий, обнаруживающих себя в неравном доступе к ресурсам (материальным и нематериальным) и социальным возможностям, а также в их неравном распределении [lbid. Р. 168].

Роль символических границ в социальных отношениях определяется их связью с такими важнейшими социальными феноменами, как власть и идентичность. Проведение символических границ является фактором, оказывающим влияние на отношения господства и подчинения, и, следовательно, может быть рассмотрено - воспользуемся терминологией Пьера Бурдье – в качестве формы «символического насилия» [Bourdieu, 1998. P. 103]. Как отмечает Ламон, литература по символическим границам приобрела особую значимость в 1960-х благодаря тому, что произошла своеобразная конвергенция двух научных направлений: исследований символических систем и изучения непрямых форм власти [Lamont].

Насилием над реальностью является уже такой способ проведения границ, как социальная категоризация – систематизация и упорядочивание социального окружения путем распределения социальных объектов по категориям. Собственно, само понятийное мышление связано с постоянным проведением границ. «Определить, – пишет А.Ф. Лосев, – значит положить предел, границу» [цит. по: Боровкова, 2007].

Что касается коллективной идентичности, то ее интерпретация в качестве, в первую очередь, отношения между Своими и Чужими [Jenkins, 1996] определяет ключевое значение границы. Репрезентации Своих и Чужих обусловливают друг друга; конструкция инаковости одновременно представляет собой нормативный образец идентичности [Sharp, 2000. Р. 29]. Таким образом, проведение границ связано с процессами включения и исключения как необходимыми условиями создания и функционирования сообщества. Заметим, что универсальный характер проведения границ показал еще Б. Ф. Поршнев, первым в отечественной науке обратившийся к проблеме оппозиции «Мы – Они» [Поршнев, 1979].

При этом следует принимать во внимание гетерогенность коллективной идентичности, которая существует как процесс конкуренции различных дискурсов, соревнующихся между

собой за определение «наших» и «не-наших» и, соответственно, за определение нормы и девиации. Та же русскость представляет собой поле конкурирующих дискурсов, и мы можем наблюдать множество самых различных, порой взаимоисключающих, интерпретаций на тему, что такое Россия и что означает «быть русским». Различные дискурсы утверждают символические границы между Своими и Чужими на собственный манер, определяя при этом «более Своих» и «менее Своих» (или «внутренних Чужих»). Тем самым создание, поддержание и корректировка социального порядка предполагает продуцирование иерархий и асимметрий внутри сообщества: одни модели поведения признаются эталонными, другие же подвергаются маргинализации или вовсе выносятся за границы Своего. Каждый из идентификационных дискурсов, производя инаковость внешнюю, тем самым производит и инаковость внутреннюю; внешние и внутренние границы сообщества взаимообусловлены.

Очевидно, в этой ситуации один вариант проведения границ выступает непримиримым соперником другого. Еще Барт обратил внимание на то, что борьба ведется как за право проведения границ, так и за выбор самих диакритиков: различные политические группы утверждают ценность одних маркеров и ставят под сомнение значимость других [Barth, 1969. Р. 35]. Таким образом, для того чтобы укрепить одни символические границы, требуется ослабить альтернативные.

Для обоснования правильности собственного варианта проведения границы, придания ей прочности, нередко прибегают к использованию тех маркеров, которые ассоциируются с природными, натуральными характеристиками человека – например, расы и пола. Так, в исследовании Кэтрин Манзо показано, как различные виды национализма используют дискурс расизма для обоснования своей легитимности [Маnzo, 1996. Р. 19].

Эффективными символическими пограничниками служат также образы мужчин и женщин, которые принимают участие в отделении Своих от Чужих и в оценивании первых выше, чем вторых [Yuval-Davis, 1997. Р. 23]. Анализируя историю Холодной войны, Синтия Энлоэ заметила, что послевоенная конфронтация представляла собой множество поединков за определение маскулинности и фемининности [Enloe, 1993. Р. 18–19]. Действительно, гендерный дискурс широко использовался обеими сверхдержавами для обоснования своего превосходства не только в сфере взаимоотношения полов, но и в социально-политических

отношениях [Рябов, 2007]. Другим примером эксплуатации гендерного дискурса для проведения социально-политических границ может служить включение образа «мужика» в обоснование легитимности существующей в современной России власти. Соответственно, для обоснования девиантности оппонентов в политическом отношении привлекается идея их девиантности в гендерном аспекте [Рябова, Рябов, 2010].

Различия идеологических систем могут быть представлены в качестве различий в способах проведения границ. Так, национализм призывает рассматривать деление человечества на нации в качестве основного [Smith, 1991. Р. 74]. Согласно известной характеристике Кэтрин Вердери, национализм - это классифицирующий дискурс, в котором нация понимается в качестве базового оператора всеохватывающей системы социальной классификации [Вердери, 2002. С. 297]. Соответственно, «базовым оператором» расизма будет раса; он утверждает приоритетность расового деления человечества над всеми прочими, подобно тому, как, скажем, марксизм - классового, а феминизм – гендерного.

Как отметила Вердери, различные национализмы борются за право на определение символа нации [Вердери, 2002. С. 299], что может быть проиллюстрировано современной ситуацией в России. Проект российской нации, российскости, стартовавший сразу после распада СССР, особый масштаб приобрел в 2000-е. Концепция российскости исходит из того, что деление на россиян и не-россиян является приоритетным перед всеми другими делениями - социальными, этническими, конфессиональными, региональными. Если российский гражданский национализм исходит из лозунга «Россия для россиян», то русский этнический -«Россия для русских», причем российскость рассматривается как враг русскости. Другим вызовом концепции российскости является тот способ проведения границ, который более всего отражен в позиции КПРФ: здесь утверждается, что власть, используя ресурс национализма, тем самым старается скрыть границы между бедными и богатыми, консервируя социальное расслоение в российском обществе [Рябов, 2008].

Еще одной иллюстрацией проведения границ, связанного с установлением властных отношений, является деление мира, говоря словами Стюарта Холла, на «Запад» и «Все Остальное» [Hall, 1992]. Такой способ социальной категоризации является предметом анализа в постколониальных исследованиях, зарождение

которых обычно возводят к публикации труда Эдварда Саида «Ориентализм» [Said, 1978]. Ориентализм понимается как дискурс эпохи Модерности, в котором знания Запада о Востоке связаны с доминированием над последним. Саид обосновал тезис о том, что репрезентации Востока, производимые данным дискурсом, востребованы для того, чтобы определить природу Востока и восточного как низшую и отличную от Запада и легитимировать западное управление им [Lewis, 1996. P. 23]. Среди ключевых элементов ориентализма убеждение, что Запад способен понимать Восток, представлять его интересы и управлять им лучше, чем это делает или мог бы сделать сам Восток [Ibid. Р. 16]. Запад при этом трактуется в качестве универсального референта: есть только одна модель, все остальное репрезентируется как девиация. Восток оценивается в терминах «отсталости» и «недоразвитости»; его настоящее - это прошлое Запада. Среди тех функций, которые выполняет ориентализм, отметим, во-первых, его роль в конструировании идентичности Запада. «Запад» есть отрицание восточности; внутренние Чужие Запада, напротив, подвергаются ориентализации. Помимо прямого отождествления этих социальных групп с «восточными дикарями», им приписываются те же леность, чувственность, иррациональность, хаотичность, недостаток самоконтроля и др. [Hall, 1992. P. 280]. Во-вторых, ориентализм помогает установить и поддерживать власть над Востоком за счет репрезентаций данной культуры как низшей и неспособной к самоуправлению.

Таким образом, необходимыми условиями конкурентоспособности символических границ являются их заметность и прочность. В соответствии с этим эффективные символические пограничники должны, во-первых, маркировать границу и быть узнаваемыми; во-вторых, «охранять» границу, делать ее «непреодолимой», легитимируя ее, придавая ей видимость законности, вечности, «естественности»; в-третьих, акцентировать различные черты двух сообществ и игнорировать сходные.

«Russian Bear» как символический пограничник

Россия является еще одним Другим Запада, идентичность которого конструируется через ее исключение: она обозначает границу западной цивилизации в географическом, культурном, религиозном, политическом аспектах.

Инаковизация России осуществляется при помощи различных маркеров; прежде всего,

через оппозицию «цивилизация – варварство». Нецивилизованность эксплицируется, во-первых, через идею отсталости России, ее принадлежности прошлому: русских «варваров» сравнивают со скифами, гуннами, вандалами [см.: Тарле, 1991. С. 274; Malia, 1990. Р. 74]. Во-вторых, она трактуется как «природность», что находит выражение, в частности, в символе медведя.

Разделение христианства на западную и восточную ветви, взаимные обвинения в ереси обеих церквей также способствовали дискурсивному вытеснению православной России за пределы нормы под названием «Запад» [Harle, 2000. Р. 68–71]. Более того, нередко русскому православию вообще отказывали в праве считаться ветвью христианства.

Иногда роль идентификатора выполнял «расовый» фактор: например, в годы Холодной войны коммунизм (со всеми его не-западными коннотациями) выводился из «сущности славянства» [Wolff, 1994. P. 371].

Чаще русских записывали в азиаты, и наиболее заметной формой инаковизации России стали репрезентации ее как воплощения Востока. Россия с ее «азиатским деспотизмом» рассматривается в качестве наследницы империи Ахеменидов, когда-то угрожавшей свободолюбивым грекам [Malia, 1990. P. 3]. Как правило, подобная ориентализация преследовала цель пробудить не самые добрые чувства по отношению к России. Таким образом, основными оппозициями, при помощи которых проводится граница с Россией, являются «цивилизация - варварство», «культура - природа», «прогрессивность - отсталость», «христианство - язычество», «свобода - деспотизм», «Европа - Азия», «Запад - Восток». Очевидно, медвежий символ вносит значительный вклад в их производство и поддержание.

Становление метафоры Россия-медведь проходило в несколько этапов на протяжении XV–XVIII вв. Вначале на Западе утверждается представление о медведе как «русском звере»; затем медведь превращается в маркер «Московии», а Россия – в страну, где обитают медведи; наконец, такое ассоциирование страны с медведем приобретает концептуальное измерение: этим начинают объяснять и характер ее жителей, и политику ее властей [Хрусталев, 2011].

Исследуемый образ занимает важное место в репрезентациях страны, обнаруживая себя в записках путешественников, политических памфлетах, карикатурах. Труды по истории образа медведя позволяют сделать вывод о том, что в культурах Западной Европы в этот пери-

од, т. е. до конца XIX в., он носил ярко выраженную негативную окраску [Shepard, Sanders, 1985; Иванов, Топоров, 1992; Bieder, 2005; Brunner, 2007]. Очевидно, данный образ играет важную роль в обосновании положений и о цивилизационной чуждости России, и об ее отсталости. «Русский медведь» является весьма эффективным символическим пограничником: он, во-первых, маркирует границу между Россией и Западом, во-вторых, легитимирует ее и, в-третьих, несет информацию о характере различий между ними.

«Медвежья» метафора заключает в себе вполне определенную характеристику России, позволяя тем самым мгновенно мобилизовать соответствующие ассоциации: чуждая, отсталая, агрессивная, деспотическая, сильная, но неуклюжая страна.

В глазах европейских авторов европейскость как синоним цивилизованности - это лишь внешняя оболочка неспособного к прогрессу «русского медведя». «Крещеными медведями» назвал русских Г. Лейбниц [см.: Кантор, 1995. С. 36]. Фридрих II упрекал Вольтера за его решение «писать историю сибирских волков и медведей», т. е. обратиться к истории России, а его отец, Фридрих-Вильгельм, считал московитов медведями, которых нельзя спускать с цепи, ибо потом их обратно не посадишь [Лиштенан, 1999. С. 83, 80]. Как отмечает Петер Меллер, в текстах европейских авторов XVIII в. русские, ассоциируемые с телесным и природным, противопоставлялись европейцам, ассоциируемым с разумом и цивилизацией; именно это явилось отправной точкой представлений о России как об ursa major [см.: Neumann, 1999. P. 80-81].

Исследуемый символ способствовал приписыванию русским и иных черт, используемых в дискурсе Модерности для маркировки Другого: лень, косность, непредсказуемость. Наконец, медведь был призван акцентировать такую характеристику России, как агрессивность. Так, Уинстон Черчилль говорил о «кровавых лапах русского медведя» [см.: Уткин, 2002. С. 161], а Карл Маркс – о том, что «русский медведь способен на все, в особенности, когда он знает, что другие звери, с которыми ему приходится иметь дело, ни на что не способны» [Маркс, 1957. С. 172–173].

Помимо страха, «русский медведь» вызывает в западных культурах и ощущение собственного превосходства, и уважение к огромной силе, и опасение разбудить свирепого хищника, и желание приручить его, а то и посадить на цепь. Кроме того, разумеется, этот образ имеет и позитивные коннотации; о медвежьей силе

России вспоминают не только соперники, но и союзники – скажем, в периоды Первой и Второй мировых войн.

Медведь становится очень заметным персонажем освещения западными СМИ югоосетинского конфликта 2008 г. [см.: Riabov, de Lazari, 2009]; рассмотрим на материале дискурса этой войны способы акцентирования противоречий между Россией и Западом. «Медведь проснулся» - редкое западное издание не привлекало этот образ, характеризуя ситуацию в целом. Как отмечает обозреватель «Таймс», медведь вышел из берлоги, и больше его соседям не спать спокойно [Walt, 2008]. Иногда это резкое изменение геополитической ситуации выражает образ ожившего медведя. Так, карикатура из канадской «Калгари сан» изображает изумление Дяди Сэма, сидящего на медвежьей шкуре и обнаруживающего, что шкура начинает двигаться [Tab, 2008].

Особой радости от подобного пробуждения западные СМИ не выказывают. Традиционные коннотации образа «русского медведя» в зарубежной прессе включаются в репрезентации войны, помогая выстраивать «железный занавес» между «хорошими и плохими парнями». «Фигаро» отмечает: «Катастрофа обрушилась на Грузию. Эта маленькая страна Южного Кавказа, с 1991 года отчаянно пытавшаяся вырваться из когтистых лап русского медведя, в течение нескольких дней потерпела настоящее политическое, военное, моральное, экономическое и стратегическое поражение» [Мандевиль, 2008]. Джон Болтон пишет о «крови на когтях медведя» [Bolton, 2008]. А участники акции протеста в столице Украины избрали более наглядный способ актуализировать страхи перед «русским медведем». Напротив входа в посольство России участники акции «усадили плюшевого медведя с игрушечным автоматом в лапах и нафаршированной мясом мясорубкой вместо оторванной головы». Еще один кусок мяса лежал у медведя под боком. «Кровавый медвед», как его назвали протестующие, был призван символизировать «агрессивный милитаризм российского государства» [Мусиенко, 2008].

Кровь, насилие, жестокость, империализм – к этому ассоциативному ряду добавляется такая черта «русского медведя», как архаичность России, ее неспособность к прогрессу. В статье под названием «Добро пожаловать назад в XIX век» Йозеф Йоффе пишет: «Смертный грех Тбилиси состоял в том, что Грузия вывернулась из-под лапы медведя и прижалась к Западу. С тех самых пор Москва пытается подчинить Грузию себе или раздробить ее» [Joffe, 2008].

Отметим различные аспекты легитимации символической границы с Россией при помощи данного символа. Всякая национальная аллегория способствует гомогенизации нации, и медведь не является исключением: все россияне превращаются в некие эманации большого «русского медведя», все они несут ответственность за происходящее. Использование животной метафоры, пусть косвенным образом, ведет к дегуманизации России, лишению ее человеческого обличья – а с медведем следует обходиться так же, как и с другими дикими животными. «Животных в цирке можно дрессировать, пока они не попробуют человеческого мяса. С Россией то же самое. В Грузии она попробовала крови и легкой, быстрой победы. Это значит, что ни в Варшаве, ни в Будапеште, ни даже в Берлине никто не должен спать спокойно» [Нельзя с бандитами говорить..., 2008]. Медведь не способен превратиться в человека, и потому еще одной функцией исследуемого символа является эссенциализация противоречий, репрезентации их как вечных и неустранимых. Популярная мысль о том, что Россия, 'eternal Russia', фатально не способна к переменам, получает в исследуемом аспекте, например, следующее выражение: «И не нужно строить иллюзий, что русского медведя можно приручить. Его только можно уничтожить...» [Грузия выходит из СНГ, 2008].

Как было отмечено, внутренние и внешние границы взаимообусловлены; образ внешних Чужих становится фактором внутриполитической борьбы, и «русский медведь» принимает участие в маркировке тех, кто слишком, по мнению их оппонентов, связан с Москвой. Например, президент Украины Виктор Янукович получил подобную характеристику от Юлии Тимошенко [Янина, 2011]. Дискурс югоосетинского конфликта также позволяет выявить использование медвежьего символа во внутриполитической борьбе. Знаменитый рекламный ролик «В лесу есть медведь» (There is a bear in the woods) использовался Рональдом Рейганом в победной для него президентской кампании 1984 г. Было бы удивительно в условиях подобного «медвежьего психоза», если бы отмеченные параллели не попытались использовать в дискурсе избирательной кампании 2008 г.: звучали призывы привлечь этот ролик для победы Джона Маккейна [Schuler]. Заметим, что среди противников кандидата от республиканцев высказывалось предположение, что именно Маккейн – борец с «русским медведем» - является политиком, наиболее заинтересованным в таком развитии событий на Кавказе [The Eagle the Bear..., 2008], и даже что сама война представляет собой предвыборную уловку неоконов, использующих историческую память американцев о «свирепом хищнике» для сохранения собственной власти [Scheer, 2008].

Медвежий символ в легитимации власти в современной России

Аналогичным образом исследуемый символ принимает участие в проведении внутренних границ в России. Образ медведя в русской культуре, как и во многих других культурах, амбивалентен; олимпийский «ласковый Миша» - далеко не единственная его ипостась. Это уже по преимуществу в советский период в детских книжках и мультфильмах медведь становится симпатичным - добродушным, сильным, справедливым. Результаты исследований отношения к медведю в дореволюционной России [Успенский, 1982; Рыбаков, 1989; Иванов, Топоров, 1992; Похлебкин, 1994; Гура, 1997; Белова, 2000; Пчелов, 2005 и др.] показывают, что нет оснований рассматривать медведя в качестве древнего национального символа, который объединяет русских и мобилизует их на коллективные действия, с которым они отождествляют себя и свою страну. Это не означает, что медведь совершенно не использовался в качестве аллегории России отечественными авторами, однако по преимуществу он был призван выразить специфику восприятия страны на Западе. В советский период «медвежья» метафора продолжала использоваться на Западе, на что руководство СССР реагировало с раздражением (например, И. Сталин в январе 1940 г., обсуждая ситуацию в Европе, предостерег британских политиков, чтобы те «не считали русских... дураками. В Западной Европе считали русских медведями, у которых плохо работает голова» [Городецкий, 2001. С. 27]). Вместе с тем оно пыталось «приручить» Russian Bear, и наиболее известным «ответом Чемберлену» стал проект олимпийского Мишки.

Отношение к метафоре Россия-медведь меняется в постсоветский период, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, это стало следствием глобализации и культурной экспансии Запада: наряду с технологиями, товарами, стилем жизни, потребляют также образы и символы. Во-вторых, в качестве национального символа он включается в процессы создания постсоветской идентичности, предполагающие противопоставление и советскому периоду, и Западу. В-третьих, брэндинг медведя стал задачей политической пропаганды «партии власти». Появившись на логотипе Межрегионального движения Единство (Медведь) накануне парламентских выборов 1999 г., он пе

рекочевал и на символику «Единой России», образовавшейся в результате объединения «Единства» с блоком «Отечество – Вся Россия» в 2003 г. Брэндинг включает в себя наделение облика медведя позитивными коннотациями; происходит своеобразная семиотическая перекодировка данного символа. «Русский медведь» служит хорошей иллюстрацией слов Энтони Коэна о том, что «символы не столько выражают значения, сколько дают нам возможность значения производить» [Cohen, 1985. Р. 15]. Медвежий символ позволяет вкладывать в себя различные, порой противоположные значения. Согласно данным соцопроса, если американские респонденты полагают, что «русский медведь» символизирует агрессивность, силу, жестокость, варварство, то сегодняшние русские ассоциируют с медведем, помимо силы, также добродушие и бесхитростность [Рябова, 2011].

Кроме того, этот брэндинг включает в себя установление своеобразных цепочек эквивалентности между медведем, русскостью, властью и «Единой Россией». Медведь объявляется подлинным символом нации, поскольку, как утверждается, его культ отличает русских с древнейших времен. Медведь при этом позиционируется как олицетворение национального характера русских. Воплощая огромные размеры страны, ее силу, мощь, заставляющую трепетать соседей, он в то же время добродушен и миролюбив, что помогает при создании соответствующей картины международных отношений. Медведь – не хищник по своей природе, поэтому силовые акции всегда можно сопроводить фразами типа «разбудили мишку», «не надо было дразнить медведя», иллюстрируя вынужденность подобной реакции. Наконец, образ включается в апологию суверенности и самодостаточности России.

Медведь, таким образом, призван выразить сумму значений, совпадающих с ценностями, защита которых объявляется нынешней властью ее приоритетом – суверенитет, власть, сила. Такая черта медвежьего символа, как его распространенность среди не только русского, но и других этносов России (включая финноугорские народы, народы Сибири), позволяет ослабить межэтнические границы в стране, укрепив границы внешние. При этом главным внешним Чужим становится Запад, а внутренними – все, кто ему симпатизирует.

Принимая во внимание эффективность медвежьего символа, не приходится удивляться тому, что оппоненты «партии власти» стремятся, как выражается автор одной статьи,

к «демедведизации» страны [Федосеев, 2008]. В этих условиях символу «партии власти» приходится сталкиваться с вызовами двоякого рода: и дискредитацией медведя как такового, и сомнениями в подлинности медведя единоросского. В дискурсе основных оппозиционных партий акцентируются черты, которые приписываются медведю в мировой и отечественной культурных традициях - лень, грубость, жестокость, жадность, склонность к воровству. Другим вызовом «официальному медведю» являются притязания на медвежий символ со стороны других политических дискурсов (например, НБП, «Родина», экстремистские течения русского национализма) [см.: Рябов, 2009]. В подобной ситуации можно прогнозировать, что предстоящих избирательных кампаниях борьба за данный символ, связанная с соперничеством за право проведения границ, будет весьма напряженной.

Подведем итоги. Границы представляют собой атрибут социальности. В процессе их проведения объективные различия не только фиксируются, но также акцентируются или, напротив, сглаживаются, что позволяет считать границы социальным конструктом. Необходимым элементом социальных границ являются границы символические, создаваемые при помощи символических пограничников. Поскольку проведение символических границ связано с отношениями власти, выбор символических пограничников становится предметом острой конкуренции между различными идентификационными дискурсами, которые представляют различные политические силы.

«Русский медведь» выполняет функцию символического пограничника в западном дискурсе, позволяя маркировать Россию как чуждую, опасную и отсталую страну, а также принимая участие в практиках исключения внутренних Чужих. В постсоветский период медвежий символ востребован и в России. Он призван не только подчеркнуть «особый путь» России и показать отличия от Запада, но и способствовать укреплению внутреннего единства страны. Образ медведя активно используется в политической символике и тем самым принимает участие в проведении внутренних границ и иерархий; это обусловливает острую конкуренцию за обладание этим символом и его (ре)интерпретацию.

Литература

Бахтызин А. М. Граница: бытие, сущность, рефлексия: Дис. ... канд. филос. наук. Омск, 2004. 177 с. Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М.: Индрик, 2000. 320 с.

Боровкова О. В. Граница и предел как два способа ограничения // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 299 (I). С. 38–41. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/299/image/299_038-041.pdf/ (дата обращения: 20.04.2011).

Вердери К. Куда идут «нация» и «национализм»? // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 297–307.

Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. 384 с.

Грузия выходит из СНГ. URL: http://salat.zahav.ru/ ArticlePage.aspx?articleID=2787&categoryID=11 (дата обращения: 20.04.2011).

Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.

Еремеев В. Е. Чертеж антропокосмоса. М.: ACM, 1993. 384 с.

Ерофеев В. В. Москва – Петушки // Ерофеев В. В. Оставьте мою душу в покое: Почти всё. М.: «Х.Г.С.»,1995. 407 с.

Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Медведь // Мифы народов мира: В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1992. Т. 2. С. 128–130.

Изотов А. Б. Повседневная жизнь пограничного города: послевоенная Сортавала // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования. Вып. 1. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2008. С. 53–64.

Илюха О. П. Советские границы в учебно-воспитательных текстах сталинского времени // Там же. С. 205-214.

Кантор К. Кентавр перед Сфинксом // Кентавр перед Сфинксом: (Германо-российские диалоги) / Под ред. К. Кантора. М.: Апрель-85, 1995. 275 с.

Лиштенан Ф. Д. Вольтер: Фридрих II или Петр I // Вольтер и Россия / Под ред. А. Д. Михайлова, А. Ф. Строева. М.: ИМЛИ, «Наследие», 1999. 171 с.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.

Мандевиль Л. Саакашвили поставил под угрозу мечты грузин о Западе // Фигаро. 14 августа 2008. URL: http://www.inopressa.ru/lefigaro/2008/08/14/15:43:21/saakashvili (дата обращения: 20.04.2011).

Маркс К. Русская политика по отношению к Турции. – Рабочее движение в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 9. М.: Политиздат, 1957. С. 172–173.

Мусиенко В. «Геть – кровавый медведь»! // Главред. 2008. 11 авг. URL: http://glavred.info/print.php?article=/archive/2008/08/11/160721-8.html (дата обращения: 20.04.2011).

Нельзя с бандитами говорить светским языком (Onet.pl. 18 авг. 2008 г. URL: http://www.inosmi.ru/text/translation/243368.html (дата обращения: 20.04.2011).

Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М.: Hayka, 1979. URL: http://www.i-u.ru/biblio/archive/porshnev_soc/ (дата обращения: 20.04.2011).

Похлебкин В. Медведь // Похлебкин В. Словарь международной символики и эмблематики. М.: Междунар. отношения, 1994. 558 с.

Пчелов Е. Три медведя в старейших русских земельных гербах // Гербовед. 2005. № 80. С. 48–62.

Рябов О. В. Охота на медведя: О роли символов в политической борьбе // Неприкосновенный запас. 2009. № 1 (63). С. 195–211.

Рябов О. В. «Россия-Матушка»: Национализм, гендер и война в России XX века. Stuttgart; Hannover: Ibidem, 2007. 290 с.

Рябов О. В. Русскость и российскость как способы проведения символических границ // Проблемы формирования общероссийской идентичности: Русскость и российскость. Материалы междунар. науч. конф., Иваново-Плес, 15–16 мая 2008 г. / Под ред. О. В. Рябова. Иваново, 2008. С. 32–35.

Рябова Т. Б. Медведь как символ России: Социологическое измерение // «Русский медведь»: история, семиотика, политика / Под ред. О. В. Рябова и А. де Лазари. М.: НЛО, 2011 (готовится к изданию).

Рябова Т. Б., Рябов О. В. Настоящий мужчина российской политики? (К вопросу о гендерном дискурсе как ресурсе власти) // Полис. 2010. № 5. С. 48–63.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. 406 с.

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М.: МГУ, 1982. 245 с.

Уткин А. И. Уинстон Черчилль. М.: Алгоритм; ЭКСМО, 2002. 605 с.

Федосеев И. России нужна демедведизация 2008.03.11. URL: http://forum-msk.org/material/politic/450396.html?pf=7 (дата обращения:20.04.2011).

Хрусталев Д. Происхождение «русского медведя» // НЛО. 2011. № 1 (107).

Янина И. Годовой отчет: Виктор Янукович в прямом эфире поговорил с гражданами Украины // Взгляд: Деловая газ. 2011. 25 февр. URL: http://vz.ru/politics/2011/2/25/471482.html (дата обращения: 20.04.2011).

Armstrong J. Nations before Nationalism. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1982. 411 p.

Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference: Results of a Symposium Held at the University of Bergen, 23rd to 26th February 1967 / Ed. by F. Barth. Boston: Little, Brown, 1969. P. 9–38.

Bieder R. E. Bear. Reaktion Books, London: 2005. 192 p.

Bolton J. R. After Russia's invasion of Georgia, what now for the West? // Telegraph. 15 Aug 2008. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2563260/John-Bolton-After-Russias-invasion-of-Georgia-what-now-for-the-West.html (дата обращения: 20.04.2011).

Bourdieu P. Practical Reason: On the Theory of Action. Stanford University Press, 1998. 168 p.

Brunner B. Bears: A Brief History. New Haven; London: Yale University Press, 2007. 272 p.

Cohen A. The Symbolic Construction of Community. London; New York: Ellis Horwood Ltd., 1985. 128 p.

Enloe C. H. The morning after: Sexual politics at the end of the Cold War. Berkeley: Univ. of California Press, 1993. 326 p.

Joffe J. Welcome Back to the 19th Century // The Wall Street Journal, 12.08.2008, URL: http://online.wsj.com/article/SB121848870627030979.html?mod=rss_opinion_main (дата обращения: 20.04.2011).

Jenkins R. Social Identity. London; New York: Routledge, 1996. 206 p.

Hall S. The West and the Rest: Discourse and Power // S. Hall, B. Gieben (Eds.). Formations of Modernity. Cambridge: Open University Press: Polity Press, 1992. P. 275–333.

Harle V. The Enemy with a Thousand Faces: The Tradition of the Other in Western Political Thought and History. Westport, Conn., 2000. 218 p.

Lamont M. Symbolic Boundaries. URL: http://educ.jmu.edu/~brysonbp/336/readings/LamontEncyclo.html (дата обращения: 20.04.2011).

Lamont M., Molnar V. The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of Sociology. 2002. Vol. 28. P. 167–195 (Volume publication date August 2002)

Lewis R. Gendering Orientalism: Race, Femininity and Representation. London; New York: Routledge, 1996. 267 p.

Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1999. 514 p.

Manzo K. A. Creating Boundaries: The Politics of Race and Nation. London and Boulder: Lynne Rienner, 1996. 251 p.

Neumann I. B. Uses of the Other: «The East» in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. 248 p.

Patshayder H. Rituals and symbols that create daily limits (for example, the club Motorcycle Witches and settlers in Transylvania) // Кочующие границы: Материалы междунар. семинара (на рус. и англ. яз.) / Под ред. О. Бредниковой, В. Воронкова. СПб., 1999. URL: http://www.indepsocres.spb.ru/patsch_r.htm/ (дата обращения: 20.04.2011).

Riabov O., de Lazari A. Misha and the Bear: The Bear Metaphor for Russia in Representations of the «Five-Day War» // Russian Politics and Law. Vol. 47, N 5 / September-October 2009. P. 26–39.

Said E. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. 368 p.

Sharp J. P. Condensing the Cold War: Reader's Digest and American Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. 240 p.

Scheer R. Georgia War: A Neocon Election Ploy? // The Nation. August 13, 2008. URL: http://www.thenation.com/doc/20080818/scheer2 (дата обращения: 20.04.2011).

Shepard P., Sanders B. The Sacred Paw: The Bear in Nature, Myth, and Literature. New York, Arkana, 1985. 244 p.

Schuler D. The Big Questions on the Situation in the Caucasus. URL: http://www.outsidethebeltway.com/archives/2008/08/the_big_questions_on_the_situation_in_the_caucasus/ (дата обращения: 20.04.2011).

Smith A. D. National Identity. Reno: University of Nevada Press, 1991. 226 p.

Tab. Stuffed Bear. URL: http://caglecartoons.com/viewimage.asp?ID={9B4D3083-787A-4B6C-8E55-C47B280F90E5} (дата обращения: 20.04.2011).

The Eagle the Bear and the Guns of August. URL: http://madplatonews.blogspot.com/2008/08/eagle-bear-and-guns-of-august.html (дата обращения: 20.04.2011).

Walt V. The Bear Is Back on the Prowl // Time. Aug. 14, 2008. URL: http://www.time.com/time/printout/ 0,8816,1832850,00.html (дата обращения: 20.04.2011).

Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 1994. 419 p.

Yuval-Davis N. Gender and Nation. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1997. 157 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Рябов Олег Вячеславович

профессор, д. филол. н. Ивановский государственный университет ул. Ермака, 37, Иваново, 153025 эл. почта: riabov1@inbox.ru тел.: 4932-320036

Константинова Мария Анатольевна

студентка 5 курса исторического факультета Ивановский государственный университет ул. Ермака, 37, Иваново, 153025 эл. почта: konstantinovamasha@yandex.ru тел. 4932-320036

Ryabov, Oleg

Professor, DSc. Ivanovo State University 37 Ermak St., 153025 Ivanovo, Russia e-mail: riabov1@inbox.ru tel. 4932-320036

Konstantinova, Maria

5th year Student, Faculty of History Ivanovo State University 37 Ermak St., 153025 Ivanovo, Russia e-mail: konstantinovamasha@yandex.ru tel. 4932-320036

АСПИРАНТСКИЕ ТЕТРАДИ

УДК 903.01/.09.02: 902.01 «634» (470.22)

К ВОПРОСУ СМЕНЫ КУЛЬТУР В НЕОЛИТЕ — РАННЕМ ЭНЕОЛИТЕ КАРЕЛИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА)

Т. А. Хорошун

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье освещается дискуссионный вопрос смены культур в неолите – раннем энеолите на территории Карелии в конце V – середине III тыс. до н. э. Этот период характеризуется культурами ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики. На основе сравнительно-типологического анализа, физико-химического и экспериментального изучения керамического материала поселений на западном побережье Онежского озера автор высказывает предположение о культурной преемственности этих типов керамики, что нашло отражение в комплексе важных общих признаков разновременной керамики (элементы и стиль орнаментации, технологические традиции в гончарном производстве). По результатам исследования предлагается рассматривать гребенчато-ямочную керамику позднего неолита и ромбоямочную раннего энеолита как последовательные фазы развития неолитической ямочно-гребенчатой керамики.

Ключевые слова: неолит – ранний энеолит, культурные типы керамики, памятники западного побережья Онежского озера, исследование, ямочно-гребенчатая керамика, орнамент, хронологические этапы.

T. A. Khoroshun. ON THE CHANGE OF CULTURES IN THE NEOLITHIC – EARLY ENEOLITHIC KARELIA (BASED ON SITES ON THE WESTERN COAST OF LAKE ONEGA)

The disputable question of the change of cultures in the Neolithic – Early Eneolithic in Karelia in the late 5th to mid-3rd millenia BC is covered in this article. This period is characterized by pit-comb, comb-pit and romb-pit ceramics cultures. The author speculates on the cultural continuity of these types of ceramics based on comparative-typological analysis, physical-chemical and experimental study of ceramic material from settlements on the west coast of Lake Onega. This cultural continuity is reflected in a set of important common features in ceramics of different age (elements and style of ornamentation, technological traditions in pottery). The author suggests that the comb-pit ceramics from the Late Neolithic and the romb-pit ceramics from the Early Eneolithic are considered as successive phases of the Neolithic Pit-Comb Ware.

Key words: Neolithic - Early Eneolithic, cultural types of ceramics, monuments west coast of Lake Onega, research, Pit-comb pottery, ornaments, chronological stages.

Статья посвящена дискуссионному вопросу смены культур в среднем неолите - раннем энеолите на территории Карелии. Этот период характеризуется культурами ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамики, последовательно сменявшими друг друга с конца V до середины III тыс. до н. э. [Археология Карелии, 1996]. Генезис культур исследователями рассматривается по-разному: одни полагают, что они, скорее всего, не преемственны в культурном плане друг другу [Витенкова, 2006, С. 155–156; Лобанова, 2006, С. 137], другие отмечают между ними такую связь [Панкрушев, 1978. С. 47; Журавлев, 1991. С. 90-92; Филатова, Хорошун, 2009. C. 42].

Культура ямочно-гребенчатой керамики изучена на значительном числе памятников [Лобанова, 1986, 1991, 1996]. Оперируя многочисленными керамическими комплексами, применяя палинологические данные, радиоуглеродное датирование и др., исследовательница склонна относить время существования ямочно-гребенчатой керамики ко второй половине атлантического времени - рубежу атлантикума - суббореала (конец V - первая - вторая четверть III тыс. до н. э.). Эта керамика по орнаментации близка к керамике льяловской традиции, сложилась в юго-восточной части Карелии и на территории Восточного Прионежья и в дальнейшем распространилась в северном направлении [Лобанова, 2009. С. 56]. Намечается два этапа в ее развитии – ранний с двумя фазами (конец V – последняя четверть IV тыс. до н. э.) и поздний (конец IV - начало первая половина III тыс. до н. э.). Фаза I раннего этапа (Черная Речка I, II, IIa, III и др.) характеризуется тонкостенными сосудами с умеренной примесью песка или дресвы, полуяйцевидной формы, с округлым или округло-коническим дном; орнамент образуют правильные горизонтально-зональные узоры из ямок и оттисков торца какого-то инструмента, возможно косточки, а также гребенчатого штампа. Преобладает сплошной ямочный элемент. Иногда ямки образуют простые геометрические мотивы - розетки, фестоны и др. [Лобанова, 2004. С. 254–256, рис. 2: 1, 5]. В фазу II сосуды сохраняют прежние формы. Появляется органическая примесь в тесте. В орнаменте используются круглые ямки, оттиски веревочки, отступающие и прочерченные линии, гребенчатый штамп, редко отпечатки рыбьих позвонков. В юго-восточной Карелии и в некоторых других районах в этих комплексах встречается неолитическая каргопольская керамика. Характерен многорядный линейный зигзаг из ямок и гребенчатых линий (или отступающие веревочные и торцовые оттиски), покрывающий все тулово. На позднем этапе (конец IV – начало – первая – половина III тыс. до н. э.) ямочно-гребенчатая керамика отличается от предшествующей. Это крупные толстостенные горшки из грубого, плохо промешанного теста с обильной примесью дресвы или неотсортированного песка, иногда в тесто добавлялась органическая примесь. Форма их более разнообразна, имеются приостренные днища. Характерны расчесы на внутренней поверхности сосудов. Венчики утолщены, скошены внутрь, орнаментированы по срезу, иногда с пальцевыми вдавлениями. Орнамент состоит из рядов длинных и широких оттисков гребенчатого штампа и круглых ямок [Лобанова, 2004. С. 261–262].

Вопрос о финале культуры до конца не разработан, отмечается, что он может быть связан с появлением и широким распространением памятников с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой, поскольку на позднем этапе отмечается появление толстостенных сосудов, орнаментированных круглыми, вытянутыми, ромбическими ямками, глубоким и длинным гребенчатым штампом [Лобанова, 1991. С. 102; 1996. С. 104].

Гребенчато-ямочная керамика выделена в отдельный культурный тип [Витенкова, 1996, 2002, 2009]. Согласно последним данным период ее существования - начало IV тыс. до н. э. - первая половина III тыс. до н. э. [Витенкова, 2009. С. 72]. Она распространена на значительной территории: в южной и средней частях Финляндии, в Карелии, Эстонии, Латвии, Литве и северной части Белоруссии, в Ленинградской, Новгородской, западной части Вологодской области. Геометрические узоры являются ее основным признаком. Происхождение ее связывается с керамикой сперрингс, которая зародилась на территории Финляндии, с некоторыми компонентами ямочно-гребенчатой [Витенкова, 2004. С. 18-19]. Все сосуды круглодонны, слабо- или непрофилированные. В орнаментации используются ямки различной

формы (круглые, овальные, прямоугольные, треугольные) и оттиски в основном гребенчатого штампа, а также торца палочки, веревочный, рамчатый и др. Характерны защипы на венчиках сосудов. Помимо геометрических узоров выделен орнамент из ямок (сплошь покрывает тулово), а также горизонтально-зональный (зоны из ямок чередуются с зонами из оттисков гребенчатого штампа). Отметим, что такой элемент орнамента, как ямки различной формы (круглые, овальные, прямоугольные и др.), фиксируется и на ромбоямочной керамике [Витенкова, 1996. С. 111-113, 157]. Вопрос разграничения комплексов гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамики на одном поселении в одном слое с сосудами, украшенными овальными и другими ямками, остается неразработанным. А между тем последняя керамика в достаточном количестве представлена на памятниках позднего неолита, и проблема ее культурно-исторической идентификации весьма актуальна.

Вопрос о развитии орнамента на керамике неолита – начала энеолита на территории Карелии недостаточно разработан. Преобладание гребенчатых оттисков над ямками в орнаментации сосудов отмечено на позднем этапе развития ямочно-гребенчатой керамики на поселениях лесной зоны [Ставицкий, 2006. С. 311, рис. 2; С. 313, рис. 3]. Подобная тенденция характерна для поселений западного побережья Онежского озера.

Керамика, в орнаменте которой используются ромбические ямки, встречается на обширной территории, включающей районы Среднерусской и Валдайской возвышенности, бассейн р. Десны, берега озер Чудское, Ильмень, Белое, вплоть до верховьев Дона; на территории Карелии известна почти на 300 памятниках [Витенкова, 1988. С. 67-78; 2009. С. 74-75, рис. 1]. Коллекции некоторых опубликованы [Панкрушев, Журавлев, 1966; Савватеев, 1966, 1972; Журавлев, 1982, 1991; Витенкова, 1988, 1991; Косменко, 1992]. На поселениях она часто залегает в культурном слое совместно с гребенчато-ямочной. Принято относить гребенчато-ямочную керамику к эпохе позднего неолита, а ромбоямочную – к раннему энеолиту. В ряде случаев не исключают их одновременного существования [Витенкова, 2002. С. 8]. Для ромбоямочной керамики характерны преимущественно круглодонные непрофилированные полуяйцевидной формы сосуды; толщина стенок составляет 0,8-1 см, венчики имеют различную форму, чаще всего утолщены, скошены внутрь и орнаментированы по срезу, заметны следы обработки поверхностей. Орнамент выполнен с использованием ромбических и овальных ямок и оттисков, в основном, гребенчатого штампа. Ромбоямочная орнаментация считается заимствованной, поскольку она явно не соответствует общим закономерностям развития неолитической посуды на территории Карелии [Витенкова, 1996. С. 160]. Позднее [Витенкова, 2006. С. 154] высказано предположение об определенной культурной и этнической близости носителей этих типов керамики.

Ранее в развитии ромбоямочной керамики выделялись ранний вигайнаволокский и поздний пегремский периоды. К раннему отнесены поселения Вигайнаволок I, Войнаволок IX, Илекса I и др. Поздний пегремский этап характеризуют поселения Пегрема I, III, VII, Деревянное І и др.; в это время в керамике отмечается небрежность в изготовлении теста и в орнаментации, однообразие в украшении [Журавлев, 1979. С. 83]. Позднее данная периодизация представлена в виде таблицы, где обозначены формы сосудов и орнамент [Журавлев, 1991. С. 273], но сведения, как мне представляется, чрезмерно обобщены. Выделенные чистые комплексы ромбоямочной посуды включают сосуды, орнаментированные как круглыми, так и овальными ямками. Нет четких критериев между ранними и поздними этапами. Это замечание касается и выводов исследователя относительно материалов Вигайнаволока I - в действительности на поселении представлено несколько разновременных комплексов, а поздняя керамика также хронологически неоднородна.

Помимо прочего, на севере Карелии ромбоямочную керамику сменяет пористая гребенчато-ямочная, которая имеет ряд признаков, сближающих ее как с ямочно-гребенчатой, так и с ромбоямочной, что может свидетельствовать об их культурном единстве и технологической связи [Жульников, 2007. С. 102–103]. Таким образом, определение места гребенчато-ямочной и ромбоямочной посуды в культурно-хронологическом отношении на территории Карелии недостаточно изучено и требует дополнительного анализа керамических комплексов и обобщающего исследования, уточненных радиоуглеродных дат.

Относительно происхождения ромбоямочной керамики существуют разные точки зрения: по одной – она привнесена на территорию Карелии с юга, с территории Десны [Брюсов, 1947. С. 18], по другой – возникла на местной основе, является последовательным этапом развития неолитической ямочногребенчатой керамики [Панкрушев, 1978.

С. 47–49; Журавлев, 1991. С. 122]. Некоторые исследователи [Третьяков, 1972. С. 76] также относят элемент орнамента в виде ромбической ямки к поздним признакам развития ямочно-гребенчатой керамики.

Согласно последним данным, носители ромбоямочного орнамента проникли в Карелию одновременно или немного позже появления гребенчато-ямочной керамики с южных территорий, в частности с Подесенья, в результате потепления климата [Витенкова, 2009. С. 74]. Но насколько близки между собой карельская ромбоямочная и деснинская керамика, точно не установлено. По основным морфотипологическим и технико-технологическим признакам последняя схожа с керамикой территории Верхнего Дона. Имеются стратифицированные памятники, которые позволяют представить общую картину изменений в ее орнаментации. Один из них - Монастырщина 2-А [Фоломеев и др., 1990. С. 33-34]. Верхний ярус среднего слоя содержит ромбоямочную керамику двух разновидностей. Для первой характерна крупная правильных очертаний пирамидальная ямка с пирамидальным дном; для другой – ромбовидные ямки с овальным дном, иногда с оттиском веревочки или ткани внутри. В качестве примесей использованы минеральные отощители. Слой датируется серединой III тыс. до н. э. В верхнем слое стоянки широко распространены сосуды с гребенчатой орнаментацией, а также украшенные вдавлениями в виде вытянутого ромба и ямками с плоским рубчатым дном. Слой датирован второй половиной III - началом II тыс. до н. э. по аналогии с верхним слоем Долговской стоянки, где керамика (украшена крупными ромбоямочными отпечатками, с плоским рубчатым дном, и ромбоидальными вдавлениями, с овальным дном) залегала совместно с материалами энеолитического облика. Данный комплекс датируется концом III - началом II тыс. до н. э. [Левенок, 1965. С. 242, 245]. Следовательно, разница между ромбоямочной керамикой раннего и позднего облика сводится не к развитию орнамента, а к форме ромбической ямки и наличию примесей в глиняном тесте (в ранний период используется минеральная, в поздний - органическая примеси). Она однообразна, фрагментарна и плохо «читаема». На территории Карелии ситуация противоположная. Ромбоямочная керамика многочисленна, хорошей сохранности. Вариабельность орнамента также один из основных ее признаков. Форма ямок также различна: на деснинской керамике они четкие, граненые, на карельской - менее четкие. Эти наблюдения отмечены были и ранее другими исследователями [Фосс, 1952. С. 142, 161–162; Розенфельдт, 1959. С. 100; Гурина, 1961. С. 79; Полякова, 1970. С. 98]. Одним из важных отличий между деснинской и карельской ромбоямочной керамикой является отсутствие у первой негативов от ямок, которые остаются на внутренней поверхности сосуда, для нее характерны «жемчужины» — негативы на внешней поверхности, которые специально оставлялись от одного ряда крупных овальных ямок, в основном, по бордюрной зоне сосудов [Козмирчук, 1999. С. 34]. Следовательно, можно говорить о различной технике нанесения орнамента.

Существуют другие мнения по вопросу генезиса ромбоямочной керамики. В. В. Сидоровым [1986. С. 17; 1995. С. 76-77] замечено, что в западной части льяловского ареала ямочногребенчатой керамики влияние деснинского неолита практически отсутствует, единично встречаются сосуды наиболее поздних типов, что свидетельствует об избирательности связей, т. е. с очень ограниченной частью населения льяловской культуры. Он считает, что последние следы ромбоямочной керамики в Волго-Окском междуречье обрываются не позднее 2750 г. до н. э., появление такой же керамики в Карелии связано с вытеснением (возможно, здесь уместнее говорить о продвижении) западного варианта льяловской культуры по р. Шексне на Кубенское озеро, с перевалом у оз. Белого в Онегу через оз. Воже и Лача - по древнему стоку Пра-Волги. По его мнению, нет достаточных оснований связывать генезис ромбоямочной керамики ни с Подмосковьем, ни с Карелией. В Волго-Окском бассейне она вытесняется гребенчатой керамикой валдайского типа с участием носителей лапчатой керамики. Тогда миграции в Карелию могли происходить не только из западного Подмосковья, но и непосредственно с Десны.

Актуальность проблемы происхождения ромбоямочной керамики в Карелии требует детального сравнительного анализа с керамикой других областей, в орнаментации которой имеется такой же элемент. Особого внимания заслуживает вопрос об их культурных связях. Опубликованные материалы не дают возможности такого анализа в полном объеме. На примере изучения керамики неолита – раннего энеолита памятников западного побережья Онежского озера есть основания согласиться с теми исследователями, которые подчеркивали многообразие ромбоямочной керамики Карелии и связывали ее возникновение с местной основой [Гурина, 1961. С. 48; Панкрушев, 1978. С. 47-48; Журавлев, 1979].

На первый взгляд кажется вполне обоснованным мнение о появлении ромбического орнамента под влиянием определенной идеи с южных территорий, в частности, с Подесенья, но механизм влияния непонятен. Данное утверждение оправдывается более ранним временем существования деснинских поселений по сравнению с карельскими. Но даже по опубликованным материалам [Смирнов, 1991] видно, что посуда этих двух регионов имеет ряд весьма существенных различий. Морфологические (форма сосудов) и технологические (состав формовочной массы, орнамент) признаки ямочно-гребенчатой позднего этапа развития и ромбоямочной посуды карельских памятников совпадают [Хорошун, 2008а, б]. Если бы импульс с территории Десны был значительным (т. е. обусловлен миграцией и последующей ассимиляцией местного населения), изменения коснулись бы и других сторон материальной культуры, например, индустрии камня. Но в имеющихся материалах изменения не фиксируются. В ромбоямочной керамике памятников западного побережья Онежского озера отмечаются единичные схожие черты с керамикой Подесенья, прежде всего, в форме ямок, но штампы, которыми выполнялся рисунок, вероятно, различны: рисунок на деснинских сосудах довольно небрежный, ромб частый и очертания его грубые. Различны и формы венчиков, иной состав формовочной массы: на поселениях Карелии она включает глину, дресву или кварцевую крошку, возможен органический раствор [Хорошун, 2008в, 2009а]; для керамики Подесенья характерен помет птиц, иногда шамот. Важные отличия наблюдаются в характере орнаментиров. Известно, что в большинстве случаев для нанесения разных орнаментов использовались инструменты с разной рабочей частью. Для ромбоямочной керамики Подесенья часто ромбический отпечаток наносился инструментом с квадратной в горизонтальном сечении, пирамидальной рабочей частью, а ромб получался благодаря наклону этого инструмента при нанесении [Волкова, 1990. С. 42-43]. При изучении отпечатков ромбоямочной керамики территории Карелии замечено, что ромбическая ямка получалась от инструмента с рабочим краем подовальной формы. При этом инструмент, вероятнее всего, имел несколько рабочих краев. Одним из общих признаков является зубчатость отпечатка, которая получила широкое распространение на территории Десны. На территории Карелии этот элемент орнамента широко не применялся.

Четкие критерии расчленения гребенчатоямочной и ромбоямочной керамики на многокомплексных поселениях Карелии до конца не разработаны. На памятниках западного побережья Онежского озера это различие выражено в безусловном преобладании ромбоямочной керамики и в системе орнаментации. Но у определенного ее числа оттиски гребенки также занимают доминирующее положение, отмечены геометрические узоры. Собственно гребенчато-ямочной посуды на исследуемой территории немного. По составу глиняного теста она практически идентична ромбоямочной: грубое, довольно рыхлое тесто с примесью кварцевой крошки, песка или дресвы, органической примеси, сосуды тоже толстостенны. Причем характер примесей на одновременной керамике отдельных поселений не постоянен [Витенкова, 2002. С. 91 92]. Имеются и другие общие признаки: использование защипов венчика, многообразие схожих форм венчиков, заглаживание поверхностей, схожий химический и минералогический составы глиняного теста. Все эти данные могут свидетельствовать о принадлежности гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамики к единому культурному типу на разных этапах его существования; определяющее значение имела технология изготовления и техника нанесения орнамента.

До сих пор вопросы происхождения ромбоямочной керамики и времени ее существования на территории Карелии рассматриваются в контексте изучения ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной керамики и остаются открытыми. Делаются попытки выяснения характера их взаимосвязей и сосуществования, но в полной мере связанная с ними проблематика остается не изученной в должной мере. Анализ керамических комплексов памятников западного побережья Онежского озера – новый этап в изучении смешанных комплексов и в выяснении вопросов взаимоотношений носителей неолитической ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и раннеэнеолитической ромбоямочной керамики. Данная группа поселений является важным источником при изучении культур неолита – энеолита Карелии. На этом участке известно 107 археологических памятников всех эпох - от мезолита до Средневековья. Из них 43 содержат комплексы ямочногребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамики, материалы которых использованы в качестве основных источников исследования [Хорошун, 2009в]. К особо важным источникам относится керамика разнокультурных комплексов, анализ которой позволил выделить культурноопределяющие признаки, как морфотипологические, так и технологические, в том числе и орнаментальные. В этом районе в 1950–1960-х гг. исследованы эталонные, базовые многокомплексные поселения среднего неолита - раннего энеолита, материалы некоторых из них частично опубликованы [Гурина, 1961; Панкрушев, Журавлев, 1966]. Среди памятников исследуемого периода в этом районе особо следует выделить Вигайнаволок I. Поселение отличается от остальных значительной исследованной площадью, в пределах которой выявлены неолитические и энеолитические жилища [Хорошун, 2009б]. Коллекция инвентаря многочисленна и содержательна - более 25 тыс. фрагментов керамики и 7 тыс. предметов из камня, глины, металла. Хотя раскопки проводились на Вигайнаволоке І в 1960-е гг. (что объясняет недостаточно разработанную методику исследовательских работ на многокомплексных поселениях) и несмотря на то что материал четко не стратифицирован и фрагментарен, памятник не утратил своей ценности и остается опорным поселением в ряду объектов неолита – раннего энеолита Карелии.

В результате сравнительно-типологического анализа керамики Вигайнаволока I выявлен комплекс общих признаков в технологии изготовления и орнаментации между разными культурными типами керамики (ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной, ромбоямочной). В рецептах приготовления формовочных масс сохраняется применение в качестве основного компонента глины, а для отощителя дресвы, кварцевой крошки или песка, а также органического раствора [Хорошун, 2008в, 2009а]. Строительным элементом при изготовлении сосудов на протяжении всего времени существования поселения были ленты. Керамику позднего этапа развития ямочно-гребенчатой керамики, гребенчато-ямочной и ромбоямочной отличают крупные размеры сосудов (диаметр верхнего края 35-55 см), толстостенность (0,8-1,4 см). Для всех типов керамики характерна орнаментация, выполненная как ямками, так и гребенчатым (в основном) штампом, т. е. ямочно-гребенчатая система орнаментирования. Выделены два вида орнамента: простой (сплошной без выделения зон и горизонтально-зональный) и сложный с геометрическими рисунками, которые характерны для ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамики [Витенкова, 1996. С. 113, 157; Лобанова, 1996. С. 93], в том числе и для керамики исследуемого района.

Керамика с орнаментом первого вида количественно преобладает над керамикой второго. Следует отметить, что реконструкция орна-

ментов в полном объеме (на целых сосудах) не всегда возможна, в особенности, если это не сделано своевременно, приходится оперировать неполными данными. Негативы от ямок свидетельствуют также о единой технике нанесения орнамента на этих типах керамики. Хронологическими показателями при данных обстоятельствах могут служить элементы орнамента: ямки различной формы (круглые на раннем этапе, овальные, прямоугольные, ромбические – на позднем) и некоторые штампы (рамчатый, лунный, костный, веревочный и прочие), а также гофрированность венчиков, как признак декорирования верхнего края сосудов. Согласно формам в массиве всей керамики выделено четыре типа: 1 - с прямосрезанными, нерасширенными венчиками; 2 - со скошенными внутрь верхними краями венчиков; 3 - с прямосрезанными расширенными венчиками; 4 - со срезанными с обеих сторон, остроугольными венчиками. Внутри типов намечаются варианты (промежуточные формы венчиков, всего 12).

Комплексный анализ позволил наметить ряд важных общих признаков для разновременных типов керамики, что может свидетельствовать об их единстве и преемственности в развитии. На основе этого предлагается рассматривать гребенчато-ямочную керамику позднего неолита и ромбоямочную раннего энеолита как последовательные фазы развития неолитической ямочно-гребенчатой керамики [Хорошун, 2008а, б]. По результатам сравнительно-типологического анализа выделены хронологические этапы ее эволюции.

Первый этап согласуется со временем существования ямочно-гребенчатой керамики по установленным датам 14 C: 5950 ± 100 (TA-1648, Черная Речка I), 5420 ± 100 (TA-2203, Черная Речка II) и др. (конец V — первая половина — середина IV тыс. до н. э.), характеризуется тонкостенной керамикой типов 1-3, орнаментированной круглыми ямками и оттисками различных штампов (гладкого, гребенчатого, зубчатого, веревочного); в это время в орнаменте впервые появляются овальные и ромбические ямки, которые носят подчиненный характер.

Второй этап, если принять во внимание известные даты по 14 С 4950 ± 100 (Черная Губа III), 4580 ± 60 (Черная Губа IV), может быть связан с серединой IV — началом III тыс. до н. э. К этому времени отнесена преимущественно толстостенная керамика типов 2—4, орнаментированная круглыми ямками и, в основном, оттисками гребенчатого (преобладает), гладкого, рамчатого штампов. С предыдущим этапом сходство в формах венчиков (типы 2 и 3),

наличии гофрированных венчиков, в элементах орнамента, в том числе в использовании овальных и ромбических ямок на одном сосуде. К этой группе отнесена гребенчато-ямочная керамика, орнаментированная преимущественно оттисками гребенчатых штампов; она, вероятно, возникла немногим позднее, в конце этапа, и отражает поступательное развитие орнаментации.

Если учесть новую и наиболее надежную из всех дату по ¹⁴С поселения Вигайнаволок I – 4940 ± 30 ВР (КІА-33930, по нагару с фрагмента керамики), то третий этап можно датировать от рубежа IV-III вплоть до середины III тыс. до н. э. Это время толстостенной керамики типов 2–4, орнаментированной овальными и прямоугольными ямками и, в основном, гребенчатым штампом. Со вторым этапом прослеживается сходство в формах венчиков (типы 2–4 и их варианты), наличии гофрированных венчиков, а также в элементах орнамента – использование на одном сосуде разных ямок.

Четвертый этап характеризуется господством ромбоямочной керамики. Это в основном толстостенные сосуды типов 2–4, орнаментированные ромбическими ямками в сочетании с гребенчатым (чаще) и гладким штампами. Время ее существования охватывает середину – вторую половину III тыс. до н. э., что не противоречит датам по ¹⁴С некоторых поселений на территории Карелии – 4840 ± 50 (Вета-117963, Оровнаволок XVI), 4725 ± 30 ВР (КІА-33931, Вигайнаволок I), 4240 ± 90 (ТА-813, Пегрема III). С предыдущими двумя этапами ее объединяет использование в орнаменте разных ямок, схожих форм венчиков, гофрированность верхнего края сосудов.

Хронологическим показателем в орнаментации может служить, наряду с элементами орнамента, также техника их нанесения. Довольно привычные для ямочно-гребенчатой керамики оттиски гребенчатого и гладкого штампа могли наноситься разными рабочими краями одного инструмента; их появление фиксируется в довольно ранних ее комплексах, и они же занимают лидирующие позиции на всех этапах ее развития. Менее распространены позвонковый, рамчатый, веревочный и некоторые другие штампы.

Изучение керамических комплексов поселений на западном побережье Онежского озера показало преемственность и последовательность в их существовании на базе ямочно-гребенчатой керамики, которая проходит несколько крупных этапов – от ранней ямочно-гребенчатой к гребенчато-ямочной, затем – к ромбоямочной и, возможно, к асбестовой. Результа-

ты данного исследования подводят к мысли, что эволюция исходной ямочно-гребенчатой керамики, появившейся на территории Карелии, вероятнее всего, в результате миграции из Волго-Окского междуречья в конце V тыс. до н. э. ее носителей, является следствием внутренних процессов в сформировавшейся культурной общности. Это нашло отражение в использовании при орнаментации новых элементов – круглых, овальных, а затем ромбических ямок при сохранении гребенчатых штампов, стиля орнаментации в целом и технологической традиции в керамическом производстве вплоть до появления асбестовой керамики в середине III тыс. до н. э.

Литература

Археология Карелии. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1996. 415 с.

Брюсов А. Я. Археологические памятники III-I тыс. до нашей эры в Карело-Финской ССР // Археологический сборник. Петрозаводск, 1947. С. 8 34.

Витенкова И. Ф. Поселения с развитой ямочногребенчатой и ромбоямочной керамикой // Поселения древней Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 67–78.

Витенкова И. Ф. Энеолит. Ранний период. Культура ромбоямочной керамики // Археология Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 151–173.

Витенкова И. Ф. Памятники позднего неолита на территории Карелии. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2002. 183 с.

Витенкова И. Ф. Поздний неолит Карелии (памятники с гребенчато-ямочной керамикой): Автореф. дис. ...канд. ист. наук. СПб., 2004. 21 с.

Витенкова И. Ф. Об этнической принадлежности населения Карелии в период позднего неолита — энеолита // Проблемы этнокультурной истории населения Карелии (мезолит — Средневековье). Петрозаводск, 2006. С. 138–157.

Витенкова И. Ф. Адаптация населения позднего неолита и энеолита к природным условиям Карелии // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Петрозаводск, 2009. С. 69–97.

Волкова Е. В. Культурная традиция в гончарстве неолита: по материалам деснинской экспедиции // Проблемы теории и методики в современной археологической науке. КСИА. № 201. 1990. С. 39–48.

Гурина Н. Н. Древняя история Северо-запада Европейской части СССР // МИА. 1961. № 87. 588 с.

Жульников А. М. Памятники с керамикой типа Залавруга I в Прибеломорье и некоторые вопросы изучения Беломорских петроглифов // Кольский сборник. СПб., 2007. С. 102–137.

Журавлев А. П. Энеолитический этап в карельской археологической культуре и проблема его датировки // КСИА. 1979. № 157. С. 82–86.

Журавлев А. П. Илекса I // Поселения каменного века и раннего металла в Карелии. Петрозаводск, 1982. C. 108-118.

Журавлев А. П. Пегрема (поселения эпохи энеолита). Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1991. 205 с.

Козмирчук И. А. Стоянка финального этапа неолитической эпохи у с. Писарево в Липецкой области (по результатам исследований 1995 года) // Проблемы археологии бассейна Дона. Воронеж, 1999. С. 31–43.

Косменко М. Г. Многослойные поселения южной Карелии. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1992. 222 с.

Левенок В. П. Долговская стоянка и ее значение для периодизации неолита на Верхнем Дону // МИА. 1965. № 131. С. 55–84.

Лобанова Н. В. Неолитические памятники с ямочно-гребенчатой керамикой на территории Карелии: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1986. 23 с.

Лобанова Н. В. Культурно-территориальное членение и периодизация неолитических памятников с ямочно-гребенчатой орнаментацией керамики // Хронология и периодизация археологических памятников Карелии. Петрозаводск, 1991. С. 85–103.

Лобанова Н. В. Неолит. Культура ямочно-гребенчатой керамики // Археология Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 81–104.

Лобанова Н. В. Хронология и периодизация памятников с ямочно-гребенчатой керамикой на территории Карелии // Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии. СПб., 2004. С. 253–264.

Лобанова Н. В. Проблемы этнокультурной истории эпохи неолита в Карелии // Проблемы этнокультурной истории населения Карелии (мезолит – Средневековье). Петрозаводск, 2006. С. 112–137.

Лобанова Н. В. Адаптационные процессы в культуре населения эпохи неолита Карелии // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Петрозаводск, 2009. С. 44–68.

Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Ч. 2: Неолит. Л.: Наука, 1978. 163 с.

Панкрушев Г. А., Журавлев А. П. Стоянка Вигайнаволок I // Новые памятники истории древней Карелии. М.; Л., 1966. С. 152–172.

Полякова Γ . Φ . Племена белевской культуры // Окский бассейн в эпоху камня и бронзы. М., 1970. С. 79–98.

Розенфельдт И. Г. К вопросу о связях древнего населения бассейнов рек Десны и Оки в конце III – начале II тыс. до н. э. // КСИМК. Вып. 75. 1959. С. 92-102.

Савватеев Ю. А. Древние поселения в верховьях реки Суны // Новые памятники истории древней Карелии. М.; Л., 1966. С. 119–121.

Савватеев Ю. А. Неолитические поселения в низовье р. Выг // Археологические исследования в Карелии. Л., 1972. С. 52–90.

Сидоров В. В. Льяловская культура в западной части Волго-Окского междуречья: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1986. 22 с.

Сидоров В. В. Неолит Десны и Волго-Окского бассейна // РА. 1995. № 1. С. 71–80.

Смирнов А. С. Неолит верхней и средней Десны. М.: Наука, 1991. 144 с.

Ставицкий В. В. Ямочно-гребенчатая керамика лесостепной зоны // ТАС. Вып. 6, т. 1. Тверь, 2006. С. 307-315.

Третьяков В. Н. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе европейской части СССР. Л.: Наука, 1972. 136 с.

Филатова В. Ф., Хорошун Т. А. Культурно-хронологическая атрибуция каменного инвентаря поселения Вигайнаволок I // РА. 2009. № 2. С. 30–43.

Фоломеев Б. А., Александровский А. Л., Гласко М. П. и др. Древние поселения и природная среда приустьевой части Непряды // Куликово поле. Материалы и исследования. ТрГИМ. 1990. № 3. С. 33–34.

Фосс М. Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР // МИА. 1952. № 29. 280 с.

Хорошун Т. А. Комплексы ромбоямочной керамики эталонных памятников на западном побережье Онежского озера (к вопросу культурной принадлежности) // Труды II (XVIII) Археологического съезда в Суздале. Т. 1. М., 2008а. С. 271–273.

Хорошун Т. А. Отражение культурных процессов в керамических комплексах позднего неолита – раннего энеолита Карелии // I Всерос. молодежная науч. конф. «Молодежь и наука на Севере». Материалы докладов. Т. III. Сыктывкар, 2008б. С. 51–52.

Хорошун Т. А. Физико-химическое исследование неолитической керамики южной Карелии // Вестник Поморского университета. № 3. Архангельск, 2008в. С. 100–103.

Хорошун Т. А. К вопросу использования местных ресурсов для изготовления древней глиняной посуды (развитый неолит – энеолит) // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Гуманитарные исследования. Вып. 4. Петрозаводск, 2009а. С. 98–110.

Хорошун Т. А. К вопросу о жилищах эпохи неолита – раннего энеолита в бассейне Онежского озера // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. СПб., 2009б. С. 89–91.

Хорошун Т. А. Памятники с ямочно-гребенчатой и ромбоямочной керамикой западного побережья Онежского озера // ТАС. Вып. 7. Тверь, 2009в. С. 269–274.

Список сокращений

ИЯЛИ КарНЦ РАН – Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук. Петрозаводск

КСИА – Краткие сообщения Института археологии. М.; Л.

КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. М.; Л.

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.

РА – Российская археология. М.

ТАС – Тверской археологический сборник. Тверь Тр. ГИМ – Труды Государственного исторического музея. М.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Хорошун Татьяна Анатольевна

младший научный сотрудник сектора археологии Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: tattya@list.ru тел.: (8142) 781886

Khoroshun, Tatiana

Institute of Language, Literature and History,
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia

e-mail: tattya@list.ru tel.: (8142) 781886 УДК 347.2 (093) (470.22)

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА КАРЕЛЬСКОЙ КРЕСТЬЯНКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ТРАДИЦИЯ, ЗАКОН И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ)*

Ю. В. Литвин

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье рассматривается имущественное положение карельской крестьянки во второй половине XIX – начале XX в. в соответствии с законодательными актами и нормами обычного права. На основе архивных материалов анализируются конкретные жизненные ситуации, характеризующие уровень правовой культуры и правового самосознания крестьянской женщины Олонецкой губернии. Показана готовность и способность сельских женщин отстаивать свои права.

Ключевые слова: история Карелии, обычное право, правовое положение крестьянки, конфликты.

Yu. V. Litvin. PROPERTY RIGHTS OF KARELIAN PEASANT WOMAN IN THE SECOND HALF OF THE 19th – EARLY 20th CENTURIES: TRADITION AND THE LAW (MATERIALS FROM THE OLONETS PROVINCE)

The paper deals with the property status of the Karelian peasant woman in the second half of the 19th – early 20th century according to the legislation and customary law. Based on archival materials we analyze particular life situations that characterize the level of legal culture and legal consciousness of the peasant women in the Olonets Province. We try to show the willingness and ability of rural women to assert their rights.

Key words: history of Karelia, customary law, legal status of countrywoman, conflicts in village.

Важнейшей ячейкой крестьянского общества являлась семья – социальная и хозяйственная единица, имевшая свои нравственные устои и традиции, строгую иерархическую структуру. Место и роль женщины – жены, матери, дочери – были четко определены. Тем не менее нормативный канон, традици-

трансформаций и конфликтов».

онные стереотипы могли нарушаться и корректироваться в зависимости от конкретной ситуации. В данной статье мы обратимся к имущественному положению карельской крестьянки во второй половине XIX – начале XX в., которое регулировалось как законодательством, так и нормами обычного права, а также рассмотрим некоторые конкретные повседневные практики в жизни крестьянских семей, где главными участницами выступали женщины.

Границы между сферой применения обычного права и «буквы закона» не всегда четко просматриваются. Кроме того, по мере совершенствования официального законодательства сфера его применения постепенно расширялась, сужая границы привычной формы регулирования поведения «традиционного человека». Разделительные линии довольно сложной конфигурации имелись также между правовыми нормами и их применением на практике.

Литература по истории обычного права российской деревни обширна. Среди ведущих исследователей в этой области следует назвать Д. Я. Самоквасова, Н. П. Загоскина, И. Тютрюмова, К. Д. Кавелина, А. Ефименко и П. Ефименко [Безгин, 2004. С. 11-12]. Ряд правоведов и этнографов сосредоточились на изучении «женского» аспекта данной темы [Соколовский, 1867; Савельев, 1878; Харламов, 1880; Ефименко, 1884; Лудмер, 1885 и др.]. Суждения дореволюционных авторов относительно реального имущественного положения русской крестьянки во второй половине XIX в. разнились. С одной стороны, широко распространенным было мнение о «забитости» крестьянки и ее правовой недееспособности. В частности, А. Лудмер, имевший опыт работы мировым судьей, отмечал, что в имущественных спорах женщина совершенно беззащитна, поскольку такого рода дела принадлежали ведению сельских и волостных сходов [Лудмер, 1885. С. 522]. Н. Соколовский связывал сохранение подобного положения вещей с низкой юридической грамотностью женщин: «недостаточность, например, юридического образования женщины заставляет ее играть самую жалкую роль, часто вследствие этого она становится орудием в руках первого негодяя» [Соколовский, 1867. С. 58]. А. П. Щапов, И. Н. Харламов и другие сторонники либерально-народнической теории придерживались иной позиции, согласно которой личные и имущественные права крестьян определялись не половой принадлежностью, а степенью участия в хозяйственной жизни семьи. Община, как им казалось, проводила принцип равноправия во всех сферах жизни по той причине, что женщина была активной участницей трудового процесса [Харламов, 1880. С. 83-84].

В советское время разработкой вопросов, связанных с народными правовыми воззрениями, занимались, главным образом, П. Н. Зырянов и А. А. Александров [Шатковская, 2000. С. 97]. Правовой статус крестьянки рассматривался сквозь призму заданных классиками марксизма положений о приниженности и угнетенности женщины. Однако работы Н. А. Ми-

ненко и И. И. Милоголовой показали ее крепкое имущественное положение в семье [Пушкарева, 2007. С. 37-38]. Правовой статус крестьянской женщины продолжает находиться в исследовательском фокусе [Милоголова, 1995; Пушкарева, 2001; Гончаров, 2002; Нижник, 2006], в том числе и на региональном уровне [Фадеева, 2006; Нуждина, 2008; Сушкова, 2010 и др.]. Все авторы подчеркивают высокий имущественный статус крестьянки, возраставший по мере укрепления позиций малой семьи. Определенное влияние на ситуацию оказывали те представители местной администрации, которые находилась под влиянием либеральных идей [Миронов, 2003. С. 244].

Начало изучения норм обычного права в карельской деревне было положено статьями А. Я. Колясникова и А. Я. Ефименко. Если первый автор изучал правовые обычаи олонецких карелов, то А. Ефименко объектом исследования избрала карелов Архангельской губернии [Колясников, 1877; Ефименко, 1878]. Некоторые сведения по этой теме содержатся также в статьях других авторов [Камкин, 1880; Георгиевский, 1888; Из быта и верований карел..., 1892; Никольский, 1916; Ладвинский (архив РГО) и др.] и в публицистических очерках конца XIX – начала XX в. [Круковский, 1904; Inha, 1911; Оленев, 1917]. Из последних работ, посвященных соотношению традиции и закона в повседневной жизни крестьянства, следует назвать сборник «Восточная Финляндия и Российская Карелия: традиции и закон в жизни карел» [2005].

Источниковую базу нашего исследования составили, прежде всего, Свод законов Российской империи, нормы обычного права, зафиксированные в дореволюционных статьях и очерках, а также документы, отложившиеся в фондах земских начальников, волостных правлений, земских уездных судов и хранящиеся в Национальном архиве Республики Карелия. Большая часть использованных в статье материалов была почерпнута из фондов земских начальников Петрозаводского уезда, что объясняется лучшей наполненностью данных фондов. Фонды земских органов Олонецкого и Повенецкого уездов отличаются небольшими объемами и малой информативностью по интересующей нас тематике.

Под имуществом в дореволюционном праве понимались объекты материального мира, которые состояли в гражданском обороте и представляли собой какую-либо ценность [Алексеев, 2007. С. 19]. Российское законодательство устанавливало полную раздельность имущества супругов. Приданое жены и

все имущество, приобретенное ею во время брака путем купли, дарения, наследования, признавалось отдельной ее собственностью [Свод законов, т. Х. Ст. 110]. Распоряжаться имуществом жены муж мог не иначе, как «по законной на сие договоренности» [Свод законов, т. Х. Ст. 115].

А. Ефименко и А. Колясников рассматривали имущественные отношения в связи с нормами обычного права, господствовавшими в селениях Олонецкой и Архангельской Карелии. Согласно их исследованиям, власть и право распоряжения имуществом после смерти главы рода переходила к старшему его брату. Незамужние дочери получали только приданое. Остальное имущество по смерти родителей переходило к сыновьям [Колясников, 1877. С. 55]. Нередкими были случаи, что дети после смерти отца «разделялись», и мать также принимала участие в разделе: она получала часть движимого имущества (например, корову и некоторые вещи), также две или три меры хлеба [Ефименко, 1878. С. 118].

По «Положению» 19 февраля 1861 г. вопрос о семейных разделах находился в ведении сельского схода. Число семейных разделов, согласно официальной статистике, было невелико. В Кондопожской волости за 10 лет, с 1874 по 1883 г., было совершено всего 76 разделов, т. е. в среднем 7,6 раздела за год, притом что общее число крестьянских семей составляло 840 в 1874 г. и 916 в 1883 г. [НА РК, ф. 151, оп. 1, д. 21/43, л. 3об.–4]. В других волостях ситуация была похожей. Реальное же число семей, решившихся разделиться, было гораздо больше, но официальное оформление раздела совершалось редко, иногда спустя значительный промежуток времени после фактического раздела.

По наблюдениям современников, частой причиной раздела в большой семье были ссоры между невесткой и свекровью. А. Ефименко, на основании анализа дел волостных судов, пришла к выводу, что большая часть жалоб, поступавших от женщин из больших семей, были не против мужа, а, главным образом, против свекрови [Ефименко, 1884. С. 110]. В. Гурвич писал, что с появлением в неразделенной семье невестки, которая «почему-то не поладила со свекровью», начинались конфликты и «травля на невестку» [Гурвич, 1903. С. 3]. Ф. Ладвинский, исследовавший быт карелов Паданского уезда, указывал на неоднократные случаи, когда «невестки выходили из повиновения своим свекровям» [Ладвинский. Л. 20-20об.]. При этом Н. Камкин отмечал, что во взаимоотношениях не-

вестки и свекрови в карельских семьях «гораздо больше простоты и человечности, чем в русских семьях» [Камкин, 1880. С. 665]. Установление причин семейного раздела по архивным документам нередко осложняется расплывчатостью формулировок, например: «теснота в доме и семейный раздор и многочисленность семьи» [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 3/113, л. 3]; «по случаю семейных неприятностей» [НА РК, ф. 151, оп. 1, д. 65/3, л. 40-40об.], «по неполадкам в семействе» [НА РК, ф. 151, оп. 1, д. 25/13, л. 5] и т. д. Отчасти это объясняется традиционным для крестьян стремлением «не выносить сор из избы». В первой половине XIX в. уездный исправник Олонецкого уезда называл семейный быт карелов «благородным», а если случались семейные распри, «то всячески они скрываются от посторонней любознательности» [История Карелии..., 2000. С. 152]. Судя по изученным нами документам, практика разделения больших семей по причине «неуживчивости женщин», безусловно, имела место, однако назвать данное явление повсеместным сложно - в большинстве случаев истцами выступали отец с сыном или братья в связи с женитьбой или смертью одного из членов семьи, а также в связи с нежеланием делить поровну подати при различном трудовом вкладе членов большой семьи.

Ходатайства крестьянок о нарушении их имущественных прав были направлены против родственников мужа, односельчан и должностных лиц. Например, вдова Лукерья Симонова из дер. Суйсарь после смерти мужа с малолетним сыном в течение 15 лет жила «в людях». Когда ребенок подрос, она возвратилась в деревню с целью поднять хозяйство с помощью сына. Но оказалось, что ее землю занял брат покойного супруга - Василий Алексеев Симонов: «Так, например, он на моей земле посадил картофель, а у деверя построен, между тем, дом на новом месте и в план внесен» [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 10/539, л. 1]. После сельского схода 18 мая 1897 г. право владения землей и огородом подтвердил сельский староста, однако Василий Симонов продолжал засевать землю Лукерьи. Повторный сельский сход вновь признал законное право на владение землей вдовой Симоновой.

В дер. Погостской Сямозерской волости крестьяне Григорий и Иван Чаккиевы «самовольно и самоуправством» завладели землей вдовы Марфы Волковой и ее дочери Марии. В прошении, поданном крестьянской девицей Волковой земскому начальнику, было сказано, что с пахотной земли Чаккиевы ежегодно полу-

чали 3000 снопов ржи и 50 возов сена за лето, не уплачивая подати. Петрозаводское уездное по крестьянским делам присутствие обязало вернуть землю Волковым, однако сельские старосты Бомбин и Малосовкин не исполняли постановление. Вторично обратившись к земскому начальнику, Мария Волкова добилась от Чаккиева согласия на передачу земли в ее с дочерью владение [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 7/307, л. 1].

В большинстве имущественных споров истицами выступали вдовы, как одна из самых слабозащищенных категорий в крестьянском сообществе. При отсутствии сыновей, они часто были вынуждены самостоятельно отстаивать свои интересы. В 1863 г. крестьянская вдова дер. Юккогуба Богоявленской волости Мария Леонтьева подала прошение на имя императора с требованием о взыскании долга 20 руб. серебром с крестьянина Михея Леонтьева. Обращение возымело действие, но поскольку у ответчика оказалась только половина названной суммы, его посадили под арест в повенецкую городскую тюрьму. На предложение станового пристава Марии Леонтьевой принять половину долга, крестьянка ответила отказом, желая получить всю сумму сразу хлебом. При всем этом семья ответчика находилась в бедственном состоянии и, по словам жены Ивана Леонтьева, она «с трудом пропитывает себя и пятерых несовершеннолетних детей» [НА РК, ф. 234, оп. 1, д. 7/54, л. 3–5, 13, 17].

И нормы обычного права, и законодательство признавали приданое неприкосновенным имуществом жены [Ефименко, 1878. С. 109; Свод законов, т. Х. Ст. 110, 115, 1150]. Остаться в семье мужа приданое могло только в том случае, если после смерти супруги оставалась дочь; в других случаях имущество возвращалось родителям умершей [Ефименко, 1878. С. 109]. В редких случаях, когда муж был неспособен оплатить долги, он пытался откупиться приданым супруги. Так, крестьянка дер. Часовенской Сямозерской волости Меланья Туппоева опасалась, что за недоимки по уплате податей она может лишиться приданной коровы, «которая не должна бы считаться собственностью мужа» [НА РК, Ф. 53, оп. 3, д. 9/454, л. 1]. Крестьянка же дер. Спасская Губа Спасопреображенской волости Дина Ураева действительно лишилась своего приданного самовара, отданного за долги свекра Афанасия Ураева. При составлении ходатайства земскому начальнику, крестьянка подробно описала свои права на приданное имущество и потребовала его возврата. Но, поскольку заявление о том, что самовар – это ее приданое, поступило после составления описи имущества, прошение крестьянки было отклонено [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 26/1206, л. 2–20б.].

Нередко крестьянки жаловались на должностных лиц. Прошения были самые разнообразные - на «неправильные» семейные разделы, на задержку или отказ в выдаче паспорта, на грубость и произвол со стороны должностных лиц [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 5/220, 7/307, 7/358 и др.]. Из дер. Сопохи Спасопреображенской волости в 1894 г. на имя земского начальника поступило заявление крестьянки Лукерьи Митрофановой о «неправильных действиях» волостного старшины Лазарева и сельского старосты Мячкина. По словам заявительницы, они вызвали ее на сход и приказали расписаться в документе, не ознакомив с его содержимым. После просьбы объяснить, в чем суть бумаги, старшина «крикнул при всем сельском сходе, что я не должен читать тебе, сволочи» [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 3/82, л. 2об.]. В 1904 г. в адрес земского начальника поступила жалоба крестьянки дер. Чалкой-сельга Сямозерской волости Лукерьи Михайловны Гюбей на сельского старосту Бомбина, который, по ее словам, «после схода стал пьянствовать, а 2-го числа апреля... меня затеснил Бомбин отворить подвал угрозой, что "я ломаю дверь", где у меня находился [Исправлено. В тексте - «где мне находился»] последний кусок хлеба - мешок муки...» [НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 23/1069, л. 1-1об.]. Старшину наказали штрафом и обязательством вернуть отобранный мешок муки. Случаи злоупотребления властью со стороны сельских старост и волостных старшин, разумеется, не были исключительно местным явлением. Например, земский начальник Тамбовской губернии А. Новиков отмечал: «старосты вознаграждают себя тем, что при всяком удобном и неудобном случае заставляют себя угощать» [Новиков, 1899. C. 29].

Рассмотренные нами нормы законодательства и обычного права говорят о том, что юридически имущественные интересы крестьянки были защищены и законом, и традицией. Административные и судебные дела, касающиеся имущественных споров, позволяют увидеть, что карельская женщина была готова решительно отстаивать собственные интересы в этой сфере, обращаясь не только к местным властям, но при необходимости и к самому императору. При этом такие «издержки» судебных тяжб, как волокита, грубость должностных лиц и т.п., в полной мере касались истиц. Социальными слоями, наиболее открытыми

для разного рода злоупотреблений, оставались вдовы и солдатки, что, впрочем, было характерно и для российской деревни в целом. Развитие института малой семьи в конце XIX в., рост грамотности и информированности, повышение культурного уровня благодаря школе и развитию женского отходничества – все это повышало правовое самосознание крестьянки, укрепляло ее позиции в деле отстаивания своих интересов и законных прав. Тем не менее при конфликте интересов в решении конкретной проблемы многое зависело от личности женщины, ее смелости, упорства и настойчивости.

Литература и источники

Алексеев А. А. Правовое регулирование имущественных отношений супругов в Российской империи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. 30 с.

Безгин В. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX века). М.; Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2004. 304 с.

Восточная Финляндия и Российская Карелия: традиции и закон в жизни карел. Материалы международного семинара историков, посвященного 65летию ПетрГУ. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005. 251 с.

Георгиевский М. Этнографические заметки. Святозеро // Олонецкие губернские ведомости. 1888. № 17. С. 154–157; № 18. С. 163–166.

Гончаров Ю. М. Городская семья второй половины XIX – начала XX вв. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. 384 с.

Гурвич В. Очерки преступности и порочности в Олонецком уезде // Олонецкие губернские ведомости. 1903. № 47. С. 3. URL: http://ogv. karelia.ru/magpage.shtml?id=1699&page=3 (дата обращения: 20.02.2010).

Ефименко А. Я. Исследования народной жизни. Вып. 1. Обычное право. М., 1884. 382 с.

Ефименко А. Я. Юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии // Зап. Русск. геогр. об-ва по отд. этнографии. Т. VIII. СПб., 1878. С. 1–233.

Из быта и верований карел Олонецкой губернии / П. М. // Олонецкие губернские ведомости. 1892. № 95. С. 972–974; № 96. С. 982–983; № 97. С. 996–998; № 98. С. 1009–1010; № 99. С. 1018–1020; № 100. С. 1030–1032.

История Карелии в документах и материалах (с древнейших времен до начала XX в.) / Науч. ред. А. И. Афанасьева; сост.: Т. А. Варухина и др. Петрозаводск: ПетрГУ, 2000. 317 с.

Кавелин К. Д. Собрание сочинений: В 4-х т. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1897–1900.

Камкин Н. Архангельские карелы (этнографический очерк) // Древняя и новая Россия. 1880. Т. XVI, № 4. С. 651-673.

Колясников А. Я. Народные юридические обычаи у карелов, живущих в Олонецком уезде // Олонецкие губернские ведомости. 1877. № 6. С. 55. URL:

http://ogv.karelia.ru/magpage.shtml?id=3267&page=5 (дата обращения: 15.12.2009).

Круковский М. А. Олонецкий край: путевые очерки. СПб.: Издание «Петербургского учебного магазина», 1904. 260 с.

Ладвинский Ф. Особенности общественного быта жителей Паданского погоста и о Ребольском приходе, Повенецкий уезд Олонецкой губернии // Архив РГО, фонд Олонецкой губернии. Р. 25, оп. 1, № 5, л. 20–20об. URL: http://litkarta.karelia.ru (дата обращения: 26.01.2011).

Лудмер А. Бабьи дела на мировом суде // Юридический вестник. 1885. № 11. С. 522–531.

Милоголова И. Н. О праве собственности в пореформенной крестьянской семье. 1861-1900 // Вестник Московского ун-та. Серия 8, История. 1995. № 1. С. 22–31.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб.: Дм. Буланин, 2003. Т. 1–2.

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – HA PK).

Нижник Н. С. Правовое регулирование семейнобрачных отношений в русской истории. СПб.: изд-во Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2006. 272 с.

Никольский В. Обычаи, приметы и причитания карельской свадьбы (из записок и дневников) // Олонецкая неделя. 1916. № 30. С. 9–13.

Новиков А. Записки земского начальника. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1899. 240 с.

Нуждина А. А. Социокультурное развитие российской деревни во второй половине XIX – начале XX в. (на материалах губерний Верхнего Поволжья): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2008. 25 с.

Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройками Мурманской железной дороги. Гельсингфорс: Фин. лит. об-во, 1917. 172 с.

Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетея, 2007. 495 с.

Пушкарева Н. Л. Имущественные права женщин в XVIII – начале XIX в. // Семья в ракурсе социального знания. Барнаул, 2001. С. 188–203.

Савельев А. А. Личные и имущественные отношения между супругами // Юридический вестник. 1878. № 12.

Свод законов Российской империи. Т. Х. Свод законов гражданских. СПб., 1900; Т. XIV. Устав о паспортах. СПб., 1903.

Соколовский Н. Современный быт русской женщины и судебная реформа // Женский вестник. 1867. № 9. С. 57–83.

Сушкова Ю. Н. Мордовские обычно-правовые традиции и разрешения семейных споров между мужем и женой // Женская история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем. Материалы III Междунар. науч. конф. Череповец; М.: ИЭА РАН, 2010. Т. 1. С. 205–212.

Фадеева Е. В. Женщина в традиционном обществе и семье коренных народов Нижнего Амура (вторая половина XIX – начало XX в.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2006. 22 с.

Харламов И. Женщина в русской семье (опыт по обычному праву) // Русское богатство. 1880. Март. C. 59-107.

Шатковская Т. В. Закон и обычай в правовом быту крестьян второй половины XIX в. // Вопросы истории. 2000. № 11-12. С. 96-105.

Inha I. K. Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa: Kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. Helsinki: Tietosanakirja OY, 1911. 403 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Литвин Юлия Валерьевна

аспирантка Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910 эл. почта: litvinjualia@yandex.ru

тел.: (8142) 781886

Litvin, Yulia

PhD Student Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: litvinjualia@yandex.ru

tel.: (8142) 781886

УДК 398: 5: [392.4+398.4] (470.22)

ЗООМОРФНЫЙ КОД ПРОВОДНИКА МЕЖДУ МИРАМИ В КАРЕЛЬСКОЙ РУНЕ О ДОБЫВАНИИ ЖЕНЫ В СВЕТЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

В. П. Миронова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Статья посвящена описанию зооморфного кода посредника между мирами, с помощью которого основные герои карельских рун о сватовстве попадают в иной мир в поисках невесты. Исследование проводится с привлечением материалов, выявленных в различных культурных традициях, что позволяет раскрыть истоки архаичных зооморфных персонажей-проводников.

Ключевые слова: карельские руны, добывание жены в ином мире, коньлось, проводник между мирами.

V. P. Mironova. ZOOMORPHIC CODE OF THE GUIDE BETWEEN WORLDS IN THE KARELIAN RUNE ABOUT THE TAKING OF THE WIFE IN THE LIGHT OF THE TYPOLOGICAL COGNITION

The paper describes the zoomorphic code of the guide between the worlds through which the main characters of the Karelian runes of courtship reach a different world looking for a bride. The study is conducted using the materials identified in various cultural traditions whereby one can reveal the origins of archaic zoomorphic guide characters.

Key words: Karelian runes, taking the wife from a different world, horse-moose, river crossing on a horse, eagle, guide between worlds.

В родоплеменную эпоху действовал универсальный принцип экзогамии, базирующийся на принципе исключения кровного родства: брать жен можно было только вне пределов своего рода или родового объединения. Эта архаичная форма брака нашла яркое отражение в карельских рунах о добывании жены, являющихся объектом настоящего исследования. Герои архаичного карельского эпоса непременно ищут невесту вдалеке. В беломорских рунах Вяйнямёйнен едет за суженой в мрачную Похъёлу «по простору синего моря». В южнокарельской песне о сватовстве кузнец Илмойллине отправляется «за семь морей» в чужую далекую страну Хий-

толу. Мифическая Хийтола, равно как и Похъёла, является потусторонним иным миром, в качестве посредника между мирами могут выступать различные животные или птицы [Миронова, 2008. С. 142–148]. Опираясь на сравнительно-типологический метод, нами рассмотрена трансформация архаичного зооморфного кода проводника в карельском эпосе.

В большинстве вариантов анализируемой южнокарельской руны кузнец Илмойллине едет за невестой на коне-лосе. Появление двойного образа коня-лося в качестве способа перехода из одного мира в другой имеет некоторые предпосылки. Архаичным прообразом

перевозчика является, вероятнее всего, лось. Это животное считалось священным в финноугорской мифологии, ему приписывали «небесное происхождение: некогда он имел шесть ног и мчался по небу так быстро, что никто не мог догнать его» [Петрухин, 2010. С. 129].

В карельской эпической традиции особое место занимает гигантский лось Хийси, погоня за которым ярко описана в севернокарельских рунах. Охотник не может догнать чудесного зверя даже на волшебных лыжах или упускает его, мечтая заполучить шкуру. В южнокарельской традиции подобный сюжет не получил распространения. В наиболее поздних записях олонецких песен образ священного животного лося трансформируется в «гибридный» образ коня-лося, т. е. два животных как бы сливаются воедино.

Несмотря на то что в севернокарельской эпической традиции аналогичные примеры не зафиксированы, в поэме «Калевала» мы находим следующие строки:

Ampui kohta kolmanneksi, Kävi kahti kolmannesti, Sapsahan sinisen hirveh, Alta vanhan Väinämöisen, Ampui olkisen orihin.

Вскоре выстрелил и третий, угодил стрелою третий, в шею лося голубого, Он сразил под вещим Вяйно, Жеребца, что из соломы.

[Э. Лённрот. Калевала. Песнь шестая. С. 70]

В комментарии к переводу эпоса Э. С. Киуру и А. И. Мишин отмечают, что «голубой лось» является мифическим животным, синонимом «жеребца из соломы», «лошади из стеблей гороха», на котором Вяйнямёйнен ехал по морю за невестой в Похъёлу. Некоторые ученые считают это понятие кеннингом, обозначающим корабль, доставивший Вяйнямёйнена в мифическую страну. Прообразом подобной метафоры мог послужить тот факт, что на носу корабля зачастую устанавливалась голова лося или какоголибо другого реального животного или дракона [Леннрот, 1998. С. 70]. Приведенный отрывок из поэмы является примером синонимического параллелизма, однако истоки его возникновения, на наш взгляд, кроются в существовавшем некогда гибридном зооморфном образе, сочетающем в себе признаки и лося, и коня.

Свидетельством бытования двойного животного образа в карельской традиции служат примеры из мифологической прозы. Распространение получили рассказы об охотнике, встретившем в лесу лося, которого он не может убить. Ночью во сне к такому охотнику приходит леший

и говорит: «Это была наша лошадь, только в виде лося». По мнению Л. И. Ивановой, занимающейся изучением карельской мифологической прозы, животное, которое предстает перед человеком в виде лося, в «лесном царстве» является лошадью хозяина леса [по устному сообщению Л. И. Ивановой].

Наше предположение совпадает также с выводами исследователей карельских вышивок. В. И. Жуковская, в частности, отмечает, что «композиции с конями и всадниками вытеснили, заслонили собой композиции с оленями, но следы древнего культа остались: на одной карельской вышивке по сторонам женской фигуры изображены два коня, а на спинах у них показаны ветвистые оленьи рога [Жуковская, 1972. С. 187].

В культурах многих народов встречаются различные образы животных-проводников, в том числе лося и оленя. С помощью этих животных люди могли преодолевать границы между мирами, попадать в мир иной. Так, согласно шаманским легендам народов Сибири, путешествие в мир мертвых, «хождение в нижнюю землю» описывается следующим образом: «Старик лежит на полу, головой в сторону тундры, потому что ушел он уже в "нижнюю землю". Всегда так шаман подражает оленю, когда идет в "нижнюю землю"» [Новик, 1984. С. 241].

Важное место в религиозных верованиях народов севера занимал культ небесного солнечного оленя, что нашло отражение в мифах. У саамов сохранился предание о том, что солнце едет вокруг земли утром на медведе, в полдень — на олене-быке, вечером — на олене-важенке [Лаушкин, 1962. С. 238]. Позднее солнечный конь сменил в финно-угорской мифологии солнечного оленя-лося.

У индоевропейских народов вплоть до II в. до н. э. олень был почитаемым животным и также служил семантическим эквивалентом коня [Кузьмина, 1977. С. 104]. Рассматривая семантику ажурных застежек волжских финнов, марийская исследовательница А. Н. Павлова отмечает, что «конь в финно-угорской мифологии выступал преемником древнего мифологического животного лося или оленя (лося-оленя)» [Павлова, 1996. С. 106].

Любопытны в этом отношении изменения, произошедшие в религиозных представлениях жителей Алтая и выразившиеся в захоронении коня в оленьей маске [Худяков, 1933. С. 251]. Олень осмыслялся перевозчиком в потусторонний мир, и для успешного «путешествия» конь должен был быть символически превращен в оленя.

В основе видоизменения рассматриваемого зооморфного кода лежали начавшиеся перемены общественной жизни, связанные с преобладающим значением земледелия. На территории Карелии, в Северо-Западном Приладожье, уже в первой половине І тысячелетия н. э. земледелие получило распространение в примитивной подсечной форме. Позднее произошел постепенный переход к пахотной обработке подсеки. В начале ІІ тысячелетия н. э. при обработке почвы использовался тягловый скот, что знаменовало превращение земледелия в основу хозяйственной жизни [Клеменьев, 2003. С. 220]. В результате произошедших перемен древние символы, сложившиеся в условиях охотничьего хозяйства, первоначально претерпели существенную трансформацию, а затем отошли на второй план. Это явление находит яркое отражение в карельской эпической традиции, в частности, в южнокарельской эпической песне о сватовстве. Кузнец Илмойллине, отправляясь в мифическую Хийтолу, в иной мир, первоначально запрягал коня-лося:

Häi yksikai sinne šuorieu kozil, omalleh hebozel hirvizel.

Все равно он отправляется свататься на своем коне-лосе.

[KЭΠ: 164, 51-52]

Позже герой отправляется в путь уже на резвом жеребце, что подтверждается большим количеством выявленных вариантов:

lče seppy Ilmoilline oršoi hevon val'l'astau.

Сам кузнец Илмойллине запрягает жеребца. [КЭП: 165, 18–19]

Таким образом, представленные примеры позволяют проследить путь поэтапной трансформации образа от наиболее архаичного мифического коня-лося до резвого жеребца.

В. Я. Пропп, рассматривая мотив переправы в иной мир на примере сказочной традиции, отмечает способность героев перевоплощаться в животных, зашивая себя в их шкуры, или же на возможность перемещаться на них. Причем «первоначально садятся на тех животных, которые некогда представляли собой умерших» [Пропп, 2005. С. 207]. Это представление, на наш взгляд, нашло отражение в карельской устно-поэтической традиции. Известно, что среди карелов (так же как и у многих других народов, в том числе финно-угорских) бытует представление о превращении человека (или его души) после смерти в птицу. Особенно наглядно это проявляется в текстах карельских

причитаний: в обращении к умершему его просят появиться хотя бы в образе птички:

Ka hot' sinä tulettele hot' pienih puuhuižideh piähyižih, hot' čiuččoi-linduizinnu da liipoi-linduizinnu.

Так ты прилетай хоть на вершины маленьких деревьев, хоть птичкой-воробушком или птицей-бабочкой.

[KΠ: 219. C. 412]

Следовательно, птица служит телом, в которое индивидуальная душа человека переходит после смерти. Птица, таким образом, уносит душу в потустороннее царство, выступая в качестве посредника между мирами.

Следует отметить попутно, что конь-лось (в вариантах жеребец) движется над морской гладью так, что «копыта не мокнут, полозья не сыреют»:

Lähti ajua karettamahe sulai merda myöten. Hibjon, kabjoin kastumatta, vuodijaizen vuojomatta.

[SKVR: II. 95, 64-67]

Отправился ехать-постукивать по талому морю. Не вспотеет тело, не промокнут копыта, не обмокнут щётки (на ногах).

Перед нами вырисовывается фантастическая картина, в которой кузнец Илмойллине парит над морем, не касаясь воды. Резвый конь или конь-лось приобретает черты крылатого коня, перенимая на себя не только атрибуты (крылья) птицы, но и ее функции.

В некоторых вариантах кузнец Илмойллине летит в мифическую Хийтолу на огромном орле. Подобным способом попадают в иной мир герои русских сказок.

Еще в начале XX в. этнограф Л. Я. Штернберг указывал на сходство культа орла у якутов и у других племен Сибири далее вплоть до Скандинавии. Причем наибольшая близость в культе орла, по мнению ученого, присутствует у якутов и у западных финнов. Почитание этой хищной птицы было связано с представлением его в виде помощника шамана или олицетворением шамана. Сам шаманский кафтан является имитацией орла, в которой фигурируют его основные части тела: широкие рукава - крылья, длинная бахрома - перья, сзади имеется хвост [Штернберг, 1936. С. 724, 732, 734]. Шаман совершает свое путешествие в иной мир в образе птицы, способной беспрепятственно преодолевать границы миров. Возможно, рудименты древних представлений сохранились в карельском эпосе. В целом рассматриваемый образ в хронологическом аспекте архаичнее коня-лося и коня, выступающего в качестве перевозчика.

Итак, в южнокарельской руне о добывании жены посредниками между мирами выступают различные зооморфные образы. К числу наиболее древних относится образ коня-лося. Переправа в иной мир на коне - более поздний по своему происхождению способ попадания в потустороннее пространство. Следует отметить, что почитание коня возникло в эпоху производящего хозяйства, когда аграрный культ начал вытеснять промысловые культы оленя, лося, что привело к контаминации старого и нового в изображении зооморфного кода посредника между мирами. Зачастую в рассматриваемых текстах происходит ассимиляция образа коня-лося и птицы либо коня и птицы, в результате чего появляется символический образ крылатого коня или птицы-коня-лося, как в нашем случае. Герой может попасть в мифическую страну, устроившись на спине огромной птицы. Орел в качестве посредника встречается также в других древних традициях, и, вероятно, данная форма переправы была первичной по отношению к передвижению на ездовых животных. Таким образом, предпринятое исследование показало, что в карельском эпосе отмечаются различные способы переправы, отражающие древние представления о странствии умершего в иной мир в целом.

Литература

Жуковская И. В. Вышивка тверских карел по коллекциям М. В. Михайловкого // Сб. музея антропологии и этнографии АН СССР. Л.: Наука, 1972. C. 180-198.

Карельские причитания / Изд. подгот. А. С. Степанова, Т. А. Коски; Науч. ред. У. С. Конкка; Предисл. А. Степановой; Ред. по южно-карел. текстам В. Д. Рягоев; Муз. ред. И. И. Земцовский. Петрозаводск: Карелия, 1976. 534 с. (в тексте - КП, первая цифра указывает номер текста, вторая - страницу по указанному изданию).

Карельские эпические песни / Предисл., подгот. текстов, коммент. В. Я. Евсеева; отв. ред. В. Я. Пропп. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 526 с. (в тексте - КЭП, первая цифра указывает номер текста, последующие - номер строк по указанному изданию).

Клементьев Е. И. Традиционные хозяйственные занятия // Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина; Ин-т этнологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003. C. 220-227.

Кузьмина Е. Е. Конь в искусстве саков и скифов // Скифы и сарматы. Киев: Наукова думка, 1977.

Лаушкин К. Д. Онежское святилище // Скандинавский сборник. Таллин, 1962. Ч. 2. С. 177-298.

Леннрот Э. Калевала: эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен Пер.: Э. С. Киуру, А. И. Мишин. Петрозаводск: Карелия, 1998. 583 с.

Миронова В. П. Концепт границы между мирами в южнокарельских эпических песнях // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования / Ред. О. П. Илюха, И. И. Муллонен. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2008. С. 142-148.

Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур. Серия: исследования по фольклору и мифологии Востока. М.: Наука, 1984. 304 с.

Павлова А. Н. К семантике ажурных застёжек волжских финнов IX-XIII вв. // Археологические памятники среднего Поочья. Рязань, 1996. Вып. 5. C. 106-112.

Петрухин В. Я. Существовал ли миф о небесной охоте в карело-финской мифологии? // «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры. Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 160-летию полного издания «Калевалы». Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2010. С. 128-138.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки Науч. ред., текстолог. коммент. И. В. Пашкова; ред. Г. Н. Шелогурова. М.: Лабиринт, 2005. 332 с.

Худяков М. Г. Культ коня в Прикамье // Изв. Государственной академии материальной культуры. Л., 1933. Вып. 100. С. 251-279.

Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии: Исследования, статьи, лекции. Л.: Изд-во ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1936. 584 с.

Suomen kansan vanhat runot. 2: Aunuksen, Tverinja Novgorodin-Karjalan runot / Julkaissut A. R. Niemi. Helsinki, 1927 (в тексте - SKVR, римская цифра указывает номер тома, далее следуют номер текста и номер строк по указанному изданию).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Миронова Валентина Петровна

научный сотрудник Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: tutkija@mail.ru тел.: +79212272858

Mironova, Valentina

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: tutkija@ mail.ru

tel.: +79212272858

УДК 398.21: [392.546+398.4]

МЕСТО ПОХИЩЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ: К ВОПРОСУ О КОНТАКТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВОЕГО И ИНОГО МИРОВ

А. С. Лызлова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье представлена попытка классификации локусов русских волшебных сказок, где совершается похищение женщины. Сопоставительный анализ показывает, что в роли подобных мест выступают элементы ландшафта, нежилые постройки и части дома. В этих локусах происходит контакт представителей двух миров.

Ключевые слова: русские волшебные сказки, место похищения женщины, контакт, представители своего и иного миров.

A. S. Lyzlova. PLACE OF ABDUCTION OF WOMEN IN RUSSIAN FAIRY TALES: THE QUESTION OF CONTACTS BETWEEN REPRESENTATIVES OF THEIR OWN AND THE OTHER WORLDS

The paper represents an attempt to classify the loci in which women may be abducted in Russian fairy tales. Comparative analysis shows that landscape features, non-residential buildings and parts of a home may be such places. In those loci representatives of the two worlds come in contact.

Key words: Russian fairy tales, the place of abduction of women, contact, representatives of their own and the other world.

Коллизия, связанная с похищением женщины, получила широкое распространение в русских волшебных сказках. Такие тексты повествуют о том, что героиня оказывается во власти «хозяина» иного мира. При этом похищение женщины может происходить в различных локусах, где представители двух миров вступают в контакт.

Опираясь на словари пространственных элементов [Цивьян, 1975. С. 193] и предметных реалий [Добровольская, 2009. С. 24–25] волшебных сказок, можно классифицировать место похищения женщины по предложенным их составителями параметрам.

Элементы ландшафта

Достаточно часто местом похищения женщины оказывается **лес.** По словам В. Е. Добровольской, «лес в мифологии различных народов – одно из основных мест пребывания сил, враждебных человеку, через лес проходит дорога в мир мертвых» [Добровольская, 2009. С. 119]. Исследовательница пишет, что «в русском сказочном репертуаре имеется несколько видов леса» [Там же], и отмечает десять основных значений этого локуса [Там же. С. 24–25]. Вместе с тем упоминание леса в качестве места похищения женщины в списке функций

отсутствует. В рассматриваемых нами сказках указанный локус достаточно часто выступает в подобной роли: «Ну старша сёстра и отправилась. Цють только зашла в лес, как ю схватили двенадцеть медведей» [Северные сказки, 1998. № 167].

Иногда в сказках указывается, что женщина собирает в лесу ягоды или грибы: «Пришла (Машенька. – А. Л.) на полянку, а тут уже медведь обряжается кушать землянику. <...> Он всё равно забросил её с корзинкой и повёз ей до свово дому» [Архангельские сказки, 2002. № 15]; «Вот раз пошла эта женщина в лес по грибы, а ее и захватил там медведь» [Сказки..., 1937. С. 124]. В одном из фольклорных вариантов похищение совершается во время работы героини на сенокосе: «Ходили в лесе, на сенокосе. И у этого крестьянина – Иваном звали – пропала жена, медведь украл, утенул в берлогу» [Сказки Терского берега..., 1970. № 55].

В некоторых сказках пребывание героини в лесу обусловлено тем, что отец забыл там высеченные им предметы: «Запоежжал старик в лес, старша дочь сказала: "Батюшко, привези мне-ка прелицу пресь". Отец высек и оставил на пню. <...> Пошла (дочь. - A. Л.) в лес, медведь схватил йе и унёс. На второй раз запоежжал старик, втора дочка скажет: "Паличу привези". Опять старик высек и забыл. Дочка опять пошла, медведь и ей утащил. Опять запоежжал старик, третья дочь скажет: "Мне, батюшко, пялы привези". Отец высек и забыл. Девушка сама пошла, медведь и ей утащил» [Северные сказки, 1998. № 55]. В других текстах героини отправляются за «прялочкой», «швейкой» и «веретёшычком» [Сказки Терского берега..., 1970. № 76]; «прялицей», «кережкой» [Русские народные сказки..., 1974. № 18]. В этих примерах зафиксирована устойчивая связь похищаемой женщины с рукоделием, которое изначально наделено магическим смыслом [см.: Бернштам, 1988. С. 159-166].

Как отмечает Е. М. Неёлов, в сказках имеется нескольких обликов леса:

- «1. Лес "хозяйственный" (он наиболее близок к лесу реальному). Сказочные персонажи в лесу охотятся, заготавливают дрова и т. д.
- 2. Таинственный, дремучий лес. Он может быть добрым (в лесу герой встречает помощника, лес задерживает врага) и очень часто злым <...>» [Неёлов, 1986. С. 82–83].

Опираясь на подобное деление, можно с уверенностью сказать, что лес как место похищения женщины – это лес «хозяйственный», о чем свидетельствуют приведенные выше примеры.

В роли похитителя в лесу, как правило, выступает медведь. С течением времени он мо-

жет заменяться другими, функционально близкими персонажами: волком, лешим, чертом. Такие сказки объединены в сюжеты **311** *Медведь и три сестры* и **650A** *Иван Медвежье ушко* [СУС 1979].

В. Я. Пропп подчеркивает, что в сказках «лес побежден полем или садом» [Пропп, 2005. С. 133].

Поле оказывается местом похищения в некоторых сказках: «Вот поехали (сыновья. – А. Л.) в чисто полё гулять с маменькой. И вот откуда-то взялся Вихорь и унес у их матерь» [Севернорусские сказки..., 1961. № 131]; «<...> собралась она (царская дочь. – А. Л.) с нянькамы, служанкамы, вышла в чистое поле <...>. Поднялась буря, унесла неизвестно куда» [Русские народные сказки..., 1982. № 27]. Как видно из примеров, указанный локус характеризуется эпитетом «чистое», который является постоянным при его обозначении во многих жанрах фольклора. Поле в этих случаях употребляется в значении «безлесная равнина, пространство» [Ожегов, 2007. С. 712].

В то же время в русском языке под словом «поле» понимается также «обрабатываемая под посев земля, участок земли» [Там же]. Как отмечает В. Е. Добровольская, в сказках «иногда поле приобретает дополнительную локусную характеристику – оно находится в лесу» [Добровольская, 2009. С. 115]. Эта реалия отражает северную «подсечную систему» земледелия.

Независимо от назначения, поле в русских сказках всегда «выступает как место контакта с "иномирными" персонажами» [Там же]. Процитированные отрывки из рассматриваемых нами текстов подтверждают эти слова.

В отдельных текстах похищение женщины совершается **на лугу**: «Ей (матери. – *А. Л.*) стало скушно, она сыну и гуворит: "- <...>, отвези меня покататься по зеленым лугам". Он и сжалился, повез. Вдруг ви́хорь налетел, и матушки на коляски не стало» [Карнаухова, 2006. № 14].

Как отмечает В. Е. Добровольская, в некоторых сюжетах сказок луг оказывается идентичен саду [Добровольская, 2009. С. 128]. В анализируемых нами текстах указанного фольклорного жанра также отражается подобная замена.

Наиболее часто похищение женщины происходит именно во время пребывания героини в саду: «И вот однажды сидела царица в саду, налетел Вихрь и унес царевну» [Традиционный фольклор..., 2001. № 35]. Подобная ситуация характерна для многих вариантов сказок, зафиксированных в СУС под номерами: 301A, В Три подземных царства, 301D* Солдат находит исчезнувшую царевну, 312D Катигорошек, 552A Животные-зятья.

Заметим, что указанный локус упоминается в «Сказке о золотой горе, или удивительных приключениях Идана, восточного царевича» (1782 г.), которая является первой опубликованной сказкой о похищении женщины: «В один день царь прогуливался с царицею в саду, и, вдруг поднявшись, вихорь унес супругу с глаз его» [Сказка о золотой горе..., 2001. С. 19]. Почти так же описывается ситуация в «Сказке о Василие-королевиче», помещенной в сборнике «Старая погудка на новый лад» (1794–1795 гг.) и представляющей собой переработанный вариант «Сказки о золотой горе»: «В одно время король прогуливался по своему прекрасному саду, вдруг поднялся великий вихорь и, схватя на воздух королеву, унес ее в неизвестное королевство» [Старая погудка..., 2001. № 341.

В текстах нередко указывается, что в саду растут деревья, кустарники, цветы, которые привлекают внимание героини: «Пошла Елена в сад гулять с няньками. <...> Пошла она к яблоне, и вот прилетел Ворон Воронович, Клёкот Клёкотович, Семигородович, взял ей и утащил» [Сказки Терского берега..., 1970. № 7]. Иногда локус характеризуется различными эпитетами: «большой и славный» [Народные русские сказки..., 1984. № 131], «чистый» [Русские народные сказки..., 1974. № 1]. Наиболее устойчивым эпитетом при описании сада в рассматриваемых сказках является «зелёный»: «Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад гулять» [Народные русские сказки..., 1984. № 159].

В некоторых случаях похищение происходит во время пребывания героини на морском берегу: «Вот она (царская дочь. – А. Л.) вышла однажды к морю на прогулку. Ее схватывает маленький мужичок, голова с пивной котелок, ростом под потолок (вот какой маленький!), и утащил ее» [Сказки Ф. П. Господарева, 1941. № 14]. Подобная ситуация представлена, прежде всего, в многочисленных текстах на сюжет 301D* Солдат находит исчезнувшую царевну, получивших широкое распространение в лубочной литературе.

Отметим попутно, что во многих волшебносказочных сюжетах представлена ситуация, связанная с обретением героем невесты у какого-либо водоема (см., например, сюжеты 400₂ Царь-девица (имеется в виду версия сюжета, где героиней является не царь-девица, а девушка-лебедь [Сказки Карельского Беломорья, 1939. № 24; Русские народные сказки..., 1974. № 12 и др.]), 402 Царевна-лягушка и др.). По мнению В. П. Фёдоровой, в сказках сохраняются отголоски одного из древнейших

типов брака умыкания, совершавшегося с согласия невесты и без согласия ее, сведения о бытовании которого зафиксированы в летописных источниках [Фёдорова, 1989. С. 80]. Исследовательница отмечает, что такой тип брака получил широкое распространение и бытовал еще в 30-е гг. ХХ в. [Там же. С. 80–83]. Он был усвоен и переосмыслен русской волшебной сказкой, для которой характерна «стабильность мотива брака у воды» [Там же. С. 85].

Нежилые постройки

В единичном случае похищение совершается, когда героини отправляются за водой на колодец: «Старик и говорит старшой дочери: "Поди-ко за водой, так старуха растворит блинов: я блинов захотел!" Дочерь пришла к колодцу: прилетел ворон, схватил её и утасшыл. Потом послал [старик] вторую дочерь; её утасшыл месяц. Потом посылаёт третью дочерь. Третью утасшыло сонцо» [Великорусские сказки..., 2002. № 19]. По словам В. Е. Добровольской, колодец как место встречи с персонажами из потустороннего царства наиболее устойчив в сюжете 313А Чудесное бегство, где отец героя обещает его водяному [Добровольская, 2009. С. 117]. В сказке из сборника, составленного Д. К. Зелениным, данный локус используется в той же функции.

В единственном тексте похищение происходит на мосту: «Раз царские дочери пошли к обедне, царь послал с ними полк солдат. Шли от обедни, взошли на самый этот мост (через реку. – А. Л.). Вдруг поднялся вихрь, сделалась пыль. В пыли солдаты не увидали друг друга. Прошел этот вихрь, царские дочери пропали» [Народные сказки..., 2005. № 32]. Как отмечает Л. Н. Виноградова, «мост - сооружение и локус, которые, по народным представлениям, соединяют земное и потустороннее пространство; место контактов человека с мифическими существами; один из наиболее опасных и ответственных участков пути» [Виноградова, 2004. С. 303]. В волшебных сказках, по словам исследовательницы, прежде всего, проявляется «семантика моста как пограничного локуса, связывающего "далекое" и "близкое", иномирное и земное» [Там же. С. 306].

В одном из текстов, записанных от Е. И. Сороковикова (Магая), местом похищения женщины оказывается **кладбище**: «<...> Лукерья и пошла на могилку (родителей. – *А. Л.*), и только дошла она до могилки, хотела сесть на скамью, вдруг ниоткуда взялся Сокол Соколович и унес ее с ветром» [Гуревич, Элиасов, 1939. № 32].

По народным представлениям, этот локус является местом пребывания умерших и их душ [Плотникова, 1999. С. 504].

Элементы строения

В некоторых сказках похищение женщины совершается **на крыльце** дома: «Только они вышли на крыльцо, как спустился черный вихорь, подхватил ее (Елену Прекрасную. – А. Л.), и он (Иван-царевич. – А. Л.) остался один» [Сказки Карельского Беломорья, 1939. № 7]. В нескольких из рассмотренных фольклорных вариантов вместо крыльца фигурируют ступени: «Он (старик. – А. Л.) и говорит: "– Ну, дочка старшая, выходи на ступени!" Тая вышла. Сонце подхватило ее и унесло» [Севернорусские сказки..., 1961. № 37]. При этом, как пишет Н. А. Криничная, «в севернорусских говорах ступенями, ступеньями называли и ступеньки, и лестницу, и крыльцо» [Криничная, 2007б. С. 174].

Крыльцо как место похищения женщины представлено в сюжетах **402** Царевна-лягуш-ка, **400**, Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену, **552A** Животные-зятья.

Восприятие крыльца в качестве места контакта человека с потусторонними силами характерно и для мифологических рассказов и поверий [Криничная, 2007а. С. 110–117].

В подобной роли в некоторых рассмотренных текстах о похищении женщины выступает окно: «Дочка сидела у открытого окна, вдруг поднялся Ветер и утащил дочку», «Дочка сидела у открытого окна, налетел Ворон, подхватил ее и унес» [Сказки Заонежья, 1986. № 35].

В мифологических рассказах окно также «оказывается каналом связи с иным миром» [Криничная, 2008. С. 137]. В традиционной культуре «окна соотносятся с идеей входа, проницаемости, связи жилища с внешним миром <...>» [Байбурин, 1983. С. 140].

В. Е. Добровольская правильно отмечает, что крыльцо и окно – «незащищенные части жилища, рядом с которыми происходит контакт с представителями "иного" мира» [Добровольская, 2009. С. 111]. В одном из проанализированных текстов таким открытым местом оказывается **балкон**: «<...> выпустив (царь. – А. Л.) ее (жену. – А. Л.) на балкон. На ту пору, на то время прилитела Жар-птиця, схватила их матушку и унесла за тридевять земель, за тридевять морей в свое цярство» [Великорусские сказки..., 2003. № 11].

Таким образом, в рассматриваемых нами сказках локусы, где происходит похищение женщины, чрезвычайно разнообразны. В этой

роли выступают как элементы ландшафта, так и нежилые постройки и даже части строения. Можно согласиться с утверждением В. Е. Добровольской о том, что «в сознании сказочника дом защищен от представителей "иного" мира, а следовательно, в контакт с ними герой сказки может вступить либо за пределами дома, либо находясь у наименее защищенных частей жилища» [Добровольская, 2009. С. 111]. В нашем случае все это касается похищаемой женщины. Покинув защищенное пространство, она становится уязвимой и вступает в контакт с «хозяином» иного мира, который переносит ее в свои владения. Рассмотренные локусы располагаются на границе своего и чужого миров. Они широко представлены в других фольклорных жанрах и различных обрядах. Сопоставление их, прежде всего, со свадебной обрядовой поэзией позволит глубже исследовать семан-

Источники и литература

Архангельские сказки. Из материалов лаборатории фольклора Поморского университета. Архангельск: Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2002. 252 с.

Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 192 с.

Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л.: Наука, 1988. 277 с.

Великорусские сказки Вятской губернии: Сб. Д. К. Зеленина. СПб.: Тропа Троянова, 2002. 736 с.

Великорусские сказки архива Русского географического общества: Сб. А. М. Смирнова: В 2-х кн. СПб.: Тропа Троянова, 2003. Кн. 1. 479 с.

Виноградова Л. Н. Мост // Славянские древности. Этнолингв. словарь. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 303–307.

Гуревич А. В., Элиасов Л. Е. Старый фольклор Прибайкалья. Т. І. Улан-Удэ: Бургиз, 1939. 472 с.

Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. 224 с.

Карнаухова И. В. Сказки и предания Северного края. СПб.: Тропа Троянова, 2006. 558 с.

Криничная Н. А. Крыльцо крестьянского жилища: фольклорно-мифологический образ в контексте традиций народного искусства // Традиционная культура. 2007а. № 4. С. 110–117.

Криничная Н. А. Лестница: к проблеме морфологии фольклорного мышления (по материалам мифологических рассказов и поверий) // Лингвофольклористика на рубеже XX–XXI вв.: итоги и перспективы. Петрозаводск: ПетрГУ, 2007б. С. 169–178.

Криничная Н. А. Окно крестьянского жилища: к представлениям о границе и контактной зоне между мирами в севернорусской мифологии // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и со-

предельных регионов. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2008. С. 131–141.

Лекарство от задумчивости и бессонницы, или настоящие русские сказки (1786 г.) // Лекарство от задумчивости. Русская сказка в изданиях 80-х годов 18 века. СПб.: Тропа Троянова, 2001. С. 39–130.

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3-х т. М.: Наука, 1984. Т. 1. 512 с.

Народные сказки, собранные сельскими учителями. Сб. А. А. Эрленвейна // Русские сказки и побасенки. Сборники А. А. Эрленвейна и Е. А. Чудинского. СПб.: Тропа Троянова, 2005. С. 10–148.

Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л.: ЛГУ, 1986. 200 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Оникс; Мир и Образование, 2007. 1200 с.

Плотникова А. А. Кладбище // Славянские древности. Этнолингв. словарь. Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 503–507.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2005. 332 с.

Русские народные сказки Карельского Поморья. Петрозаводск: Карелия, 1974. 424 с.

Русские народные сказки Пудожского края. Петрозаводск: Карелия, 1982. 366 с.

Севернорусские сказки в записях А.И.Никифорова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 386 с.

Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова: В 2-х кн. СПб.: Тропа Троянова, 1998. Кн. 1. 476 с.

Сказка о золотой горе, или удивительные приключения Идана, восточного царевича (1782 г.)

// Лекарство от задумчивости. Русская сказка в изданиях 80-х годов 18 века. СПб.: Тропа Троянова, 2001. С. 17–38.

Сказки Заонежья. Петрозаводск: Карелия, 1986. 296 с.

Сказки Карельского Беломорья. Т. І: Сказки М. М. Коргуева. Петрозаводск: Карельское гос. изд-во, 1939. Кн. 1. 660 с.

Сказки Саратовской области / Сост. Т. М. Акимова и П. Д. Степанов. Саратов: Сарат. обл. изд-во, 1937. 206 с.

Сказки Терского берега Белого моря / Изд. подгот. Д. М. Балашов, Л.: Наука, 1970, 447 с.

Сказки Филиппа Павловича Господарёва. Петрозаводск: Госиздат КФССР, 1941. 660 с.

Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л.: Наука, 1979. 437 с. (в тексте – СУС).

Старая погудка на новый лад. Русская сказка в изданиях конца XVIII века. СПб.: Тропа Троянова, 2003. 399 с.

Традиционный фольклор Новгородской области. Сказки. Легенды. Предания. Былички. Заговоры. По записям 1963–1999 г. СПб.: Алетейя, 2001. 534 с.

Фёдорова В. П. Древний тип брака (обряд и сказка) // Поэзия и обряд. М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. С. 79–88.

Цивьян Т. В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке (на материале албанской сказки) // Типологические исследования по фольклору. М.: Наука, 1975. С. 191–213.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Лызлова Анастасия Сергеевна

младший научный сотрудник Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: alyzlova@rambler.ru

тел.: +79212216976

Lyzlova, Anastasia

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: alyzlova@rambler.ru

tel.: +79212216976

УДК 809.454.2

ВЕПССКИЙ СУБСТРАТ В СИСТЕМЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ СТУПЕНЕЙ СОГЛАСНЫХ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

И. П. Новак

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Все современные карельские наречия в большей или меньшей степени сохранили древнекарельское фонологическое явление чередования ступеней согласных. Однако людиковское наречие полностью утратило качественный вид чередования, а ливвиковское – чередование одиночных смычно-взрывных, находящихся в позиции после глухих согласных, характерное собственно карельскому наречию. По всей видимости, такое представительство фонологического явления объясняется степенью сохранения вепсского субстрата в южных карельских наречиях, так как для современного вепсского языка альтернация согласных не характерна, а если она и присутствовала раннее (что подвергается сомнению), то, очевидно, была уже утрачена на момент вепсско-карельского контактирования. В статье рассмотрены конкретные случаи чередования в ливвиковском и людиковском карельских наречиях, обусловленные вепсским воздействием.

K л ю ч е в ы е с л о в а : карельский язык, вепсский язык, фонология, чередование ступеней согласных.

I. P. Novak. VEPSIAN SUBSTRATUM IN THE KARELIAN SYSTEM OF INTERCHANGE OF CONSONANTS

All modern Karelian dialects to a greater or lesser extent have retained the Proto-Karelian phonological phenomenon of consonant interchange. However the Lude dialect has completely lost its qualitative form of alternation, and Livvi has lost the alternation of the plosive consonants which are located in the position after voiceless consonants, which is one of the main characteristic features of the Karelian Proper dialect. Apparently, this phenomenon is explained by the phonological representation of the degree of conservation of the Vepsian substrate in southern Karelian dialects, as alternation of consonants is not typical of modern Versian, but if it had been present before (which is questioned), then, obviously, it had already been lost at the moment of the Karelian – Vepsian contact. The paper deals with specific instances of alternation in Lude and Livvi due to Vepsian impact.

Key words: Karelian, Vepsian, phonology, the interthange of consonants.

Выдающейся особенностью фонологической системы карельского языка, как и большинства прибалтийско-финских языков, за исключением вепсского и ливского, является наличие явления

чередования ступеней согласных. Столь обширное распространение явления позволяет языковедам относить его формирование еще к прибалтийско-финскому языку-основе.

Чередование или альтернация - это факт различия звуков, занимающих одно и то же место в звуковой оболочке одной и той же морфемы в разных случаях ее употребления [Ахманова, 2007. С. 513-514]. Чередование ступеней согласных заключается в чередовании сильной и слабой ступеней в процессе словоизменения и словообразования. Выделяют радикальное и суффиксальное виды чередования. При радикальном, на рассмотрении которого остановимся в рамках данной статьи, происходит чередование алломорфов, выступающих в основе слова, в то время как суффиксальное затрагивает аффиксы. Во всех прибалтийско-финских языках радикальное чередование распространяется либо на одиночные смычно-взрывные согласные, находящиеся в интервокальном или постконсонантном положении, в результате чего происходит исчезновение или замена согласного другим (качественное чередование), либо на геминаты, что вызывает их сокращение до одиночного согласного (количественное чередование).

Сравнительный анализ систем чередования в карельском и ижорском языках, а также в восточных диалектах финского языка позволяет говорить о наличии в древнекарельском языке обоих видов радикального чередования [Ruoppila, 1955; Kettunen, 1959; Leskinen, 1963; Лаанест, 1966; Rapola, 1969; Hakulinen, 1972; Mielikäinen, 1981; Коппалева, 2008]. Очевидно, что количественное чередование в нем распространялось на смычно-взрывные геминаты *kk:k, *tt:t, *pp:p и удвоенную аффрикату *čč:č. В качественное чередование вступали смычновзрывные согласные *k, *t, *p, вероятно перешедшие в звонком фонетическом окружении в g, d, b в конце периода функционирования карельского праязыка. Их слабоступенными соответствиями в интервокальном положении являлись нуль звука, или альтернанты *j, *v. В положении после звонких согласных смычновзрывной либо выпадал, либо ассимилировался с предшествующим звуком. Чередование сочетаний согласных происходило следующим образом: *lk:l, *rk:r, *lt:ll, *rt:rr, *nt:nn, *mp:mm. Прибалтийско-финское чередование *nk:nn, скорее всего, утратило свою продуктивность в древнекарельском языке, так как отсутствует в большинстве его дочерних языков. Еще одной особенностью древнекарельской системы чередования, в сравнении с более ранней прибалтийско-финской, явилось чередование смычно-взрывных, выступающих в положении после глухих согласных: *sk:s, *hk:h, *tk:t, *st:ss, *ht:h. X. Лескинен относит все эти виды чередования к карельскому языку-основе [Leskinen, 1963. S. 71–80, 109–116]. Т. Итконен же считает древнекарельскими только чередования *hk:h, *ht:h [Itkonen, 1971. S. 161]. Распространение чередования sk:s во всех восточных финских и собственно карельских диалектах, а также в ижорском языке позволяет отнести его формирование к древнекарельскому языку. Чередования tk:t, st:ss характерны только для ижорского языка и собственно карельского наречия. Вполне возможно, что формирование и этих чередований произошло одновременно с остальными, но они исчезли из восточных финских диалектов в результате западнофинского влияния.

В древнекарельском языке чередование происходило автоматически. На выбор ступени влияла закрытость/открытость слога: т. е. в слоге, заканчивающемся на согласный (закрытой слог), выступала слабая ступень, в слоге, заканчивающемся на гласный (открытый слог), сохранялась сильная. Это правило и до сих пор является доминирующим в карельском языке, все отступления от него объясняет языковая история.

Современные карельские наречия в разной степени сохранили древнекарельскую систему чередования. Если собственно карельское наречие отражает ее практически полностью, то ливвиковское и людиковское наречие представляют древнюю систему лишь частично.

Пр. **ливв.:** akku: akat 'старуха: старухи', brihačču: brihačut 'парень: парни', sugu: suvus 'род: в роду', mado: mavot 'змея: змеи', pada: puat/ poat 'горшок: горшки', poigu: poijat 'парень: парни', kando: kannot 'пень: пни', ambuo: ammun 'стрелять: я стреляю', langu: langat 'нитка: нитки'; но emändy: emändät 'хозяйка: хозяйки', sel'gy: sel'l'äl 'спина: на спине', kurgi: kurret 'журавль: журавли', vihko: vihkot 'тряпка: тряпки', lehti: lehtet 'лист: листья', vaski: vaskel 'медь: медью', lastu: lastut 'щепка: щепки', itkie: itken 'плакать: я плачу'; **люд.:** harakke: harakad 'сорока: сороки', nuotte: nuotad 'невод: неводы', šeppe: šepäd 'кузнец: кузнецы'; но aige: aigad 'время: времена', kydy: kydyd 'деверь: деверя', taba: tabad 'традиция: традиции', arge: argat 'робкий: робкие', n'ylgie: n'ylgen 'сдирать: я сдираю', nahke: nahkad 'шкура: шкуры', pit'ke: pit'käd 'длинный: длинные', rande: randas 'берег: на берегу' [Karjalan..., 1934; Lyydiläisiä..., 1934; Virtaranta, 1967; Образцы..., 1969; Баранцев, 1978; Образцы..., 1994; Бубрих, 1997].

Примеры наглядно показывают, что людиковское наречие, в сравнении с древнекарельским языком, не обнаруживает качественного чередование ступеней согласных, а ливвиковское – чередования в слогах, выступающих далее второго слога в положении после сонорных согласных, а также чередования смычновзрывных, выступающих в положении после глухих согласных. Кроме того, в ливвиковских диалектах слабоступенные соответствия сочетаний согласных *lg, rg* удвоились. Что же могло вызвать столь значительные изменения в системе чередования ступеней согласных в южных карельских диалектах?

Отсутствие чередования в сочетаниях hk, sk, tk, ht, st В. Руоппила объясняет формированием данного вида альтернации в древнекарельском языке уже после выделения из него предшественника современного ливвиковского наречия [Ruoppila, 1955. C. 13]. На современном этапе развития данного наречия довольно сложно обнаружить следы древнего наличия этих чередований, однако они есть. Ср., например, лексикализацию слабоступенных основ в словах kaheksa 'восемь', yheksä 'девять', kahičči 'дважды', ahista 'набивать'. Вероятно, еще в древнекарельском языке чередование смычно-взрывных, выступающих в положении после глухих согласных, окончательно не оформилось и не получило фонологического характера, поэтому практически бесследно исчезло из ливвиковского наречия. Удалось также обнаружить следы древнего радикального качественного чередования и во всех людиковских диалектах. Пр. слд.: pidä-: piän 'держать: я держу', ruavakas 'работящий' (<ruad *'paбота'*), pidemb *'длиннее'* (<pitk *'длинный'*), yheksä *'девять'*, kohista 'шуметь'; срл.: pidä-: pien, ruad: ruavoz 'работа: на работе', tiä 'узнай' (<tiedä- 'знать'), n'äl'stüdä 'голодать' (<n'äl'ge 'голод'), huršti: huršid 'половик: половики'; юлд.: olgi: oles 'солома: в соломе', kieral 'однажды' (kerde 'paз'); мхл.: kodi: koiz 'дом: в доме', pada: puakš 'горшок: горшком', d'äl'män'e 'последний' (<d'äl'gi 'след'), d'alg: d'allas 'нога: на ноге', kahesa 'восемь'. Такие примеры доказывают, что на ранней стадии развития южных карельских наречий бытовали чередования, отсутствующие на данный момент. Современное представительство чередования в ливвиковских и людиковских диалектах можно объяснить влиянием древневепсского языка.

Современному вепсскому языку явление чередования ступеней согласных не свойственно. Пр. iga: igan 'возраст' ном. ед. ч.: ген. ед. ч., jaug: jaugan 'нога: ногу', härg: härgän 'бык: быка', pada: padas 'чугун: в чугуне'. Мнения исследователей относительно альтернации в вепсском праязыке расходятся. Согласно первой точке зрения, вепсский язык утра-

тил парадигматическое чередование ступеней согласных в процессе самостоятельного развития в результате выравнивания древнего фонологического явления. Эта теория, впервые озвученная Э. Н. Сетяля [Setälä, 1890. S. 38], довольно развита в прибалтийско-финском языкознании [Posti, 1938. S. 25; Tunkelo, 1938. S. 12–18; Turunen, 1965. S. 20–22]. Исследователи приводят различные доказательства наличия древнего чередования в вепсском праязыке, основным из которых является представительство количественного чередования в современных северном и среднем вепсских диалектах.

Согласно другой точке зрения, предложенной Л. Кеттуненом, чередование ступеней согласных сформировалось в прибалтийскофинском языке после выделения вепсского языка, следовательно, явление никогда не было характерно для последнего [Kettunen, 1919. S. 40–43; Laanest, 1972. S. 116–117]. Чередования геминат в вепсских диалектах данная теория объясняет влиянием карельского языка.

А. Пикамяэ, проанализировав вепсское количественное чередование, пришел к выводу, что в вепсском праязыке чередованию подвергались только геминированные согласные, при этом данный вид альтернации исчез со временем из его южного диалекта [Пикамяэ, 1957. С. 46–47]. Такое представительство чередования в вепсском праязыке могло бы объяснить количественное чередование в людиковском наречии карельского языка, сохранившем значительное вепсское наследие.

В независимости от того, было характерно вепсскому праязыку чередование или нет, понятно одно: на момент вепсско-карельского контактирования оно (или только его качественный вид) было утрачено. Отсутствие фонологического явления в вепсском языке вполне могло повлиять на соседние карельские диалекты.

Для анализа особенностей системы чередования в карельском языке важно учитывать тот исторический фон, на котором происходило формирование его наречий. Согласно Т. Итконену, на Карельском перешейке в конце первого тысячелетия произошло смешение двух диалектов прибалтийско-финского языка-основы – восточного и северного, что привело к формированию карельского и вепсского праязыков [Itkonen, 1983. S. 190–229, 349–386]. Древние карельские поселения занимали Карельский перешеек, а вепсские – Олонецкий [Sarhimaa, 1995. S. 201]. Исследователи отмечают, что уже в XIII в. первые выходцы с

Карельского перешейка переселялись древние вепсские территории [Карелы..., 1983. С. 32]. Военные действия между Россией и Швецией XIV-XVII вв. привели к усилению данного процесса. Поток карелов с исторической родины хлынул в северные и центральные регионы современной Карелии, на тверские и новгородские земли, где оформилось собственно карельское наречие, являющееся прямым наследником древнекарельского языка. Переселение проходило также на Олонецкий перешеек, где в итоге сформировались ливвиковский и людиковский карельские наречия [Кочкуркина, 1987. С. 61-67]. Исследователи отмечают в ливвиковском наречии наличие вепсского субстрата, в то время как людиковское наречие называют переходной языковой формой, образовавшейся в результате смешения древнекарельского и древневепсского языков [Itkonen, 1971. S. 179].

Очевидно, в связи с особенностями территориального положения, при формировании ливвиковского наречия преобладающим оказался карельский компонент, в то время как в людиковском наречии он оказался менее значительным. Язык коренного вепсского населения, растворившись в языке переселенцев. не мог не оставить в нем своих следов. Поэтому, вероятнее всего, именно в результате вепсского влияния людиковское наречие утратило качественное чередование ступеней согласных. В ливвиковском же наречии контаминация привела к упрощению системы чередования ступеней согласных, выровнялось чередование смычновзрывных, выступающих после сонорных, в пользу удвоенной согласной, что значительно упростило механизм чередования. Исчезли чередование сочетаний глухих со смычновзрывными и чередование далее второго слога слова, очевидно не окрепшие еще в древнекарельском языке.

Список сокращений

ливв. – ливвиковское наречие карельского языка

люд. – людиковское наречие карельского языка

слд. - северный людиковский диалект

срл. - средний людиковский диалект

юлд. – южный людиковский диалект

мхл. – михайловский диалект людиковского наречия

Литература

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: КомКнига, 2007. 576 с.

Баранцев А. П. Образцы людиковской речи. Петрозаводск: Карелия, 1978. 287 с.

Бубрих Д. В. Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки: SUS, 1997. 10 с. + 209 с. карт.

Карелы Карельской АССР / Ред. А. С. Жербин. Петрозаводск: Карелия, 1983. 288 с.

Коппалева Ю. Э. Чередование ступеней согласных в колтушском говоре финского языка. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2008. 50 с.

Кочкуркина С. И. Древние карелы. Петрозаводск: Карелия, 1987. 72 с.

Лаанест А. Ижорские диалекты. Таллинн: АН СССР. 1966. 183 с.

Образцы карельской речи: Говоры ливвиковского диалекта карельского языка / Г. Н. Макаров, В. Д. Рягоев. Л.: Наука, 1969. 282 с.

Образцы карельской речи: Говоры республики Карелии, тихвинских и тверских карел / Ред. В. Д. Рягоев, М. Есканен. Joensuu; Petroskoi, 1994. 459 с.

Пикамяэ А. Чередование ступеней согласных в основе слова в прибалтийско-финских и саамском языках: Сводка материалов кандидатской диссертации. Тарту, 1957. 50 с.

Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki: Otava, 1972. 633 s.

Itkonen T. Aunuksen ääneopin erikoispiirteet ja aunukselaismurteiden synty // Virittäjä 75. 1971. S. 153–179.

Itkonen T. Välikatsaus suomen kielen juuriin // Virittäjä 87. 1983. S. 190–229, 349–386.

Karjalan kielen näytteitä II / Toim. E. Leskinen. Helsinki: SKS, 1934. 144 s.

Kettunen L. Astevaihtelusta länsisuomalaisissa kielissä // Virittäjä 23. 1919. S. 36–55.

Kettunen L. Karjalan heimon ja karjalan kielen iästä ja alkuperästä // Virittäjä 44. 1940. S. 129–144, 289–301.

Kettunen L. Suomen murteet III. Murrekartasto. Helsinki: SKS, 1959. 213 karttaa.

Laanest A. Itämerensuomalaisten kielten ryhmityskysymyksiä // Virittäjä 76. 1972. S. 113–120.

Leskinen H. Luoteis-Laatokan murteiden äänehistoria: Konsonantit. Helsinki: SKS, 1963. 306 s.

Leskinen H. Suomen itämurteet keskiajan ja uuden ajan taitteessa // Viririttäjä 68. 1964. S. 97–115.

Leskinen H. Vepsän, karjalan ja inkeroisen asemasta kolmen äännepiirteen valossa // Itämerensuomalaiset kielikontaktit. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990. S. 72–79.

Lyydiläisiä kielennäytteitä / Toim. H. Ojansuu. Helsinki: SUS, 1934. 310 s.

Mielikäinen A. Etelä-Savon murteiden äännehistoria 1. Jyväskylä: SKS, 1981. 335 s.

Ojansuu H. Karjala-aunuksen äännehistoria. Helsinki: SKS, 1918.182 s.

Posti L. Über den stufenwechsel im wepsischen // Finnisch-Ugrische Forschungen. 26, 1940. S. 1–25.

Rapola M. Johdatus Suomen murteisiin. Helsinki: SKS, 1969. 148 s.

Ruoppila V. Äyrämöismurteiden äännehistoria. Helsinki: SKS, 1955. 209 s.

Sarhimaa A. Karjalan kansat ja kielet kontakteissä // Virittäjä 99. 1995. S. 191–223.

Setälä E. N. Yhteissuomalaisten klusiilien historia. Helsinki: SKS, 1890. 228 s.

Tunkelo E. A. Vepsän kielen astevaihteluttomuudesta. Helsinki: SKS, 1938. 44 s.

Turunen A. Itäisten savolaismurteiden äännehistoria. Helsinki: SKS, 1959. 319 s.

Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria I. Helsinki: SUS,1946. 338 s.

Turunen A. Lyydin asema vepsän ja karjala-aunuksen välimurteistona // Virittäjä 51. 1947. S. 1–12.

Turunen A. Vepsän äännehistorian pääkohdat. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1965. 126 s.

Virtaranta P. Lähisukukielten lukemisto. Helsinki: SKS, 1967. 240 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Новак Ирина Петровна

аспирантка Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910 эл. почта: bel.irina@rambler.ru

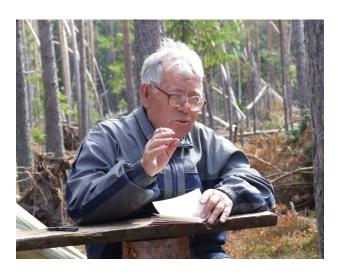
эл. почта: bel.irina@rambler.ru тел.: (8142) 781886

Novak, Irina

PhD Student Institute of Language, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia e-mail: bel.irina@rambler.ru tel.: (8142) 781886

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТРОПА Ю. А. САВВАТЕЕВА (к 75-летию со дня рождения)



Имя Ю. А. Савватеева хорошо знакомо не только российским и зарубежным археологам, но и широкой аудитории, которая интересуется древними памятниками наскального творчества. Он по праву считается ведущим специалистом по петроглифам Карелии. Этот путь в науке длится более пяти десятков лет, и сегодня Ю. А. Савватеев все еще полон творческих сил, жизненной энергии и энтузиазма. Его исследовательская тропа весьма плодотворна и ярка, насыщена важными открытиями и интересными публикациями.

Начало восхождения Ю. А. Савватеева в прошлое Карелии относится ко второй половине 1950-х гг. В 1955 г. он впервые был в археологической экспедиции вместе с основателем карельской археологии Г. А. Панкрушевым. После этого проснулся глубокий интерес к археологии, молодой исследователь начал писать курсовые работы по данной тематике и участвовать в студенческих конференциях. В 1957 г. в сборнике научных работ студентов Петроза-

водского университета появилась первая публикация Ю. А. Савватеева, посвященная древним поселениям Соломенного — пригорода Петрозаводска. С 1958 г. начинающий археолог вел самостоятельные раскопки древних поселений в Заонежье, на Южном Оленьем острове, на озере Чудозеро (в верховьях р. Суны), а несколько позже в Беломорском районе.

Самым выдающимся событием в археологии Карелии было открытие в сентябре 1963 г. новых групп петроглифов на Залавруге. Данное название к тому моменту уже прочно вошло в науку. В 1936 г. экспедиция исследователей из Ленинграда (руководитель В. И. Равдоникас) в дельте Выга, на пологом берегу одного из боковых рукавов реки, обнаружила довольно крупное скопление наскальных изображений, представляющих «исключительный по своему научному и художественному значению памятник первобытного искусства» (Равдоникас, 1936. С. 7). Вряд ли участники археологического отряда под руководством Ю. А. Савватеева, раскапывая спустя 73 года поселение эпохи раннего металла Залавруга І, ожидали, что под культурным слоем и под примыкающими к нему участками почвы им повезет найти еще более крупную концентрацию петроглифов (свыше одной тысячи новых изображений, включая уникальные образы и композиции). Раскопки на Залавруге позволили вернуть нам наскальные сокровища первобытной культуры, которые никто не видел уже 5 тысяч лет. Такое открытие – редкий случай в археологической практике и позволяет определить верхнюю границу бытования наскального творчества.

Это событие навсегда повернуло научные интересы Ю. А. Савватеева в сторону наскаль-

ных рисунков, сделало ведущей и самой любимой темой на протяжении десятилетий в его полевых работах и публикациях. Целенаправленные и интенсивные работы в Беломорье осуществлялись еще 7 лет. Беломорский отряд Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, по-прежнему возглавляемый Ю. А. Савватеевым, продолжил поиски петроглифов в других пунктах низовьев р. Выг. И тоже успешно. Новые их группы были зафиксированы на острове Ерпин Пудас и на нескольких маленьких безымянных островах (Савватеев, 1970).

Продолжателю дела А. М. Линевского и В. И. Равдоникаса пришлось нелегко. Безусловно, им во многом был учтен предшествующий опыт, но в процессе полевого документирования была разработана более совершенная и точная методика воспроизведения петроглифов (графитные протирки, многократная фотофиксация), предложено детальное описание их очертаний, стиля, техники выбивки, дан сравнительный анализ тематики с подобными объектами Карелии и Скандинавии.

Результаты многолетних работ в юго-западном Прибеломорье изложены Ю. А. Савватеевым в двух солидных томах «Залавруги» (изд-во «Наука», 1970 и 1977 гг.). В первом рассмотрены петроглифы, не только сами новые материалы, но и данные предшественников, намечены дальнейшие перспективы изучения памятников, направления практических и теоретических работ. Здесь содержится практически исчерпывающая полнота анализа историографических источников, корректная, без категоричности, оценка опыта предшественников, показана сложность и неоднозначность различных подходов при интерпретации памятников. Затронута и такая важная проблема, как сохранение и использование памятников наскального творчества, на что исследователи обычно редко обращают внимание. Несмотря на спорность ряда высказанных положений, многие наблюдения и выводы автора не устарели и до сего дня и не утратили своей научной актуальности.

Второй том «Залавруги» представляет собой публикацию многочисленных и весьма разнообразных материалов более 50 древних поселений, раскопанных в 1950 – начале 1970-х гг. неподалеку от Беломорских петроглифов. Памятники разновременны, отражают материальную культуру приморского населения на протяжении эпохи неолита – Средневековья. Немалая часть из них хронологически соотносится с эпохой петроглифов, следовательно, может иметь самое прямое отношение к создателям наскального искусства. В монографии

сделана попытка выделить такие поселения и обосновать их связь с рисунками на скалах.

Таким образом, в двухтомнике Ю. А. Савватеева «Залавруга» подведены итоги изучения как петроглифов Беломорья, так и окружающих их поселений, мобилизованы все археологические источники, собранные к 70-м гг. прошлого века.

Проблематика петроглифов оказалась настолько разнообразной и увлекательной, что, вступив однажды в эту область, Ю. А. Савватеев уже не смог ее оставить. Вполне естественно, что после серьезных успехов в Беломорье исследователь обращает свой взгляд на другой пункт наскальных рисунков - Онежские петроглифы. Еще ранее Ю. А. Савватеев участвовал в научной дискуссии, посвященной интерпретации основных петроглифических образов Онежского озера (Савватеев, 1966, 1969). В статьях этого времени автору была близка «капканная» концепция А. М. Линевского, под влиянием которой он находился долгое время. Ю. А. Савватеев лично знал первооткрывателя Бесовых Следков еще с молодых лет, дружил с ним, а особенно сблизился после новых открытий в Беломорье. Он выступил с резкой критикой солярно-лунарной теории В. И. Равдоникаса, которую находил «не отвечающей исторической истине» (Савватеев, 1970. С. 122–123). Однако в ходе многолетних полевых изысканий на Онежском озере его взгляды в понимании самых загадочных фигур среди петроглифов претерпели определенные изменения и стали ближе к точке зрения В. И. Равдоникаса (Савватеев, 1992, 1996).

Планомерные полевые исследования наскальных изображений на восточном побережье Онежского озера и расположенных по соседству других археологических памятников Ю. А. Савватеев начал в 1972 г. и завершил в 1979 г. Они и здесь увенчались открытием новых наскальных рисунков, значительно обогативших наши знания о первобытном искусстве Карелии.

Производились фиксация, копирование, уточнение и обновление прежней документации по петроглифам, подготовка картографических материалов. Исследователем применялись новые методы выявления и фиксации памятников (ночное высвечивание скал с помощью прожектора судна, погружения под воду в аквалангах у мысов для поисков отколотых гранитных блоков с изображениями). Всего удалось открыть 11 новых скоплений петроглифов (в устье р. Водлы, на островах Большой Голец, Модуж, Малый Гурий, Корюшкин), несколько фигур обнаружены также под водой у мысов

Кладовец Нос, Пери Нос, Бесов Нос и Карецкий Нос. Велись также раскопки поселений эпох мезолита – бронзы на мысах Кладовец и Бесов Нос, по берегам р. Черной.

Ю. А. Савватеев предполагал издать полный каталог Онежских петроглифов (включая большой массив новых материалов), затронуть в нем проблемы датировки, культурной принадлежности, интерпретации, провести сравнительный и системный анализ археологических материалов соседних поселений, чтобы выявить памятники, синхронные наскальным рисункам. К сожалению, рукопись, принятую издательством «Искусство», опубликовать не удалось, лишь отдельные отрывочные сведения и прорисовки наиболее интересных фигур попали в научно-популярные издания (Савватеев, 1983, 2007).

Нельзя не отметить большой заслуги Ю. А. Савватеева в популяризации и сбережении историко-культурного наследия Карелии. Исследователю удалось доказать местным беломорским властям ценность объектов наскального искусства. Его активная позиция способствовала сохранению петроглифов Бесовы Следки (сооружение защитного павильона) и Залавруги (полная расчистка территории петроглифов). С 1990-х гг. и в последнее время Ю. А. Савватеев активно участвует в проектах музеефикации Онежских и Беломорских петроглифов.

В конце 1980-х гг. Ю. А. Савватеев становится директором Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН и остается на этом посту шестнадцать лет, до 2005 г. Это были очень непростые годы для отечественной науки, приходилось решать вопросы, связанные с выживанием института. На научную работу времени оставалось немного. В этот период Юрий Александрович увлекся историей науки в Карелии. В сфере его внимания оказывается история родного института, особенно в период становления последнего, он готовит серию очерков об известных исследователях, стоявших у истоков академической гуманитарной науки в Карелии. Особой страницей в биографии Ю. А. Савватеева как исследователя и организатора науки является инициированный им и руководимый в течение многих лет проект энциклопедии «Карелия».

Ю. А. Савватеев с годами не стареет, выглядит оптимистом, несмотря на довольно нелегкую жизнь. Обладает неуемной энергией, жаждой знаний, любопытством к жизни, вечно полон разных идей и желания претворить их в жизнь. Доброжелательный, внимательный, всегда выслушивает коллег, интересуется их проблемами. Пожелаем же ему дальнейших творческих достижений и свершений, пусть претворятся в жизнь его еще не осуществленные мечты и замыслы.

Н. В. Лобанова

НИНА НИКОЛАЕВНА МАМОНТОВА (к 70-летию со дня рождения)



Нина Николаевна Мамонтова родилась 19 июля 1941 г. в Петрозаводске. Ее родители переехали в город из пригородного села Виданы в 1930-е гг. Отец проработал всю жизнь на железной дороге, а мама вела хозяйство большой семьи, в которой было пятеро детей. Интерес к филологии привел Нину Николаевну на историко-филологический факультет Петрозаводского университета, который она окончила с отличием в 1964 г. По распределению уехала работать учителем русского языка и литературы с пос. Гирвас Кондопожского района. Вернувшись в Петрозаводск, работала в библиотеке, затем была на комсомольской работе, откуда, разочаровавшись, вскоре ушла в университет лаборантом на кафедру русского языка. В Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН она пришла в 1970 г. по объявлению. Институту тогда требовался специалист по прибалтийскофинскому языкознанию. Будучи специалистом по русской филологии, Н. Н. Мамонтова выросла в семье, где домашним языком был людиковский диалект карельского языка. Она была принята научным сотрудником в сектор языкознания. Руководивший тогда сектором Г. М. Керт предложил ей заняться топонимикой – совсем новым направлением лингвистических исследований, которое начало интенсивно развиваться в стране только в 1960-х гг.

Именно с приходом на работу в Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Нины Николаевны Мамонтовой начались планомерные топонимические исследования в Карелии. Хотя разрозненные публикации Г. М. Керта (инициатора развития топонимического направления в Карелии) и его аспиранта В. Лескинена появлялись и до этого, они носили эпизодический характер и базировались на отрывочных разрозненных материалах. Для полноценных исследовательских работ необходимо было формировать исследовательскую базу. Понимая это, Н. Н. Мамонтова начала свою деятельность с создания Научной картотеки топонимов Карелии и сопредельных территорий. Основу картотеки составили материалы, собранные ею в ходе полевых экспедиций на территории проживания карелов-ливвиков в южной Карелии. В течение последующих 40 лет детище Нины Николаевны ежегодно пополнялось и ею самой, и ее коллегами в ежегодных полевых экспедициях. В настоящее время картотека насчитывает более 300 тысяч единиц хранения - топонимических карточек, составленных по результатам экспедиционных сборов. С учетом того, что на большинство топонимов заполнено несколько карточек, общее число хранящихся в картотеке названий составляет приблизительно 100 000. В соответствии с названием картотека включает в себя топонимические материалы, собранные в Карелии и на сопредельных территориях Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей.

В списке работ Н. Н. Мамонтовой центральное место занимает монография «Структурносемантические типы микротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР (Олонецкий район)» (1982), подготовленная на основе рукописи кандидатской диссертации, защищенной в 1982 г. В ней предложен анализ карельских названий Олонецкого района с точки зрения формы и содержания. Эта работа была очень

нужной для своего времени, поскольку позволила вписать карельскую топонимию в прибалтийско-финский контекст, представленный исследованиями по финской, эстонской, ливской и водской топонимии. Схема описания, предложенная в монографии, была позднее воспроизведена в определенных элементах при исследовании вепсской топонимии. Получило поддержку исследователей проводимое ею деление топонимов с позиций особенностей номинации на локативные, посессивные и квалитативные. Автора интересует феномен микротопонима, с одной стороны, близкого к апеллятивной лексике, с другой – представляющего уровень вторичной номинации. В работе сформулированы основные признаки микротопонима: отсутствие четко выраженной формульности, вариативность, а также описательность, обусловленная тесной связью с реальной действительностью.

Другому аспекту бытования топонимов – их связи с ландшафтно-географическими особенностями местности – посвящена подготовленная совместно с автором данной публикации работа «Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии» (1991). В ней, во-первых, представлены в формате словаря карельские и вепсские местные географические термины, в том числе редкие, уже ушедшие или уходящие из активной языковой практики, вовторых, выявлены определенные закономерности их функционирования в топонимии.

Не обошла Н. Мамонтова вниманием и такого существенного для прибалтийско-финской топонимии вопроса, как образование топонимов от антропонимов – личных имен, фамилий, прозвищ. В топонимии сохранились многочисленные уже ушедшие из употребления народные формы православных имен, а также элементы неправославного карельского именослова. Публикации такого рода имеют, безусловно, культурно-историческую ценность.

Список публикаций Н. Н. Мамонтовой, к сожалению, не столь обширен, как он мог бы быть, поскольку многие годы она занимала должность ученого секретаря института – одну из самых хлопотных и одновременно самых нужных в научном учреждении. При этом ее секретарство пришлось на очень непростые для выживания академической науки годы (1992–2005). То, что институт сумел пережить неблагополучное время и сохраниться, – это, безусловно, и результат работы ученого секретаря. Следует упомянуть также о том, что в 90-е гг. по инициативе и под редакторством Нины Николаевны вышло несколько сборников из серии «Ономастика Каре-

лии», послуживших объединению и профессиональному росту специалистов, работающих в области ономастики в Карелии.

Особое место среди публикаций занимает выдержавшая уже несколько изданий книга «Загадки карельской топонимики», написанная в соавторстве с Г. М. Кертом. Научно-популярная по жанру книга, предлагающая расшифровку наиболее известных топонимов Карелии – названий рек, озер, городов, пользуется неизменным интересом читателей. Парадоксально, что первая, самая ранняя из вышедших в Карелии книг по топонимии (1976 г.) является на сегодняшний день самой популярной – благодаря удачно выбранному жанру рассказа, легкому и доступному для читателя изложению.

Много внимания Нина Николаевна уделяла пропаганде топонимики. В течение целого ряда лет она читала курс лекций по топонимике в Петрозаводском университете, публиковала в местной печати заметки о географических названиях Карелии, выступала с лекциями перед населением. Она была организатором республиканского конкурса по топонимике, объединившего краеведов, учителей, библиотекарей, всех, кто помнил еще названия многочисленных сельскохозяйственных и лесных угодий, водных объектов и их частей, а также других примечательных мест своей малой родины. По результатам конкурса был издан сборник наиболее интересных и информативных материалов под названием «Родные сердцу имена». Она была и инициатором создания в институте Ономастического центра - своеобразной топонимической службы, призванной решать прикладные задачи по унификации топонимов, ликвидации разнобоя в их написании и произношении. Центр отвечал на запросы различных служб и жителей Карелии о происхождении и употреблении географических названий республики, а также имен и фамилий. В связи со становлением карельского литературного языка был предложен нормативный словарь наименований населенных мест на карельском языке. К сожалению, с выходом Нины Николаевны на пенсию работа центра практически свернулась.

Выйдя на пенсию, Нина Николаевна увлеклась сбором сведений об истории своей семьи и родовой деревне ее предков – Виданах. В планах подготовка книги о семье на людиковском диалекте. Искренне желаем ей успеха в этом начинании. От себя хочу поблагодарить Нину Николаевну за то, что много лет назад она привлекла меня к топонимике и передала свою увлеченность загадками этой науки.

МАЙЯ ФЕДОРОВНА ПАХОМОВА (к 85-летию со дня рождения)



Литературовед, литературный критик, специалист по истории литературы Карелии, литературным взаимосвязям, кандидат филологических наук М. Ф. Пахомова (1926–2003) родилась в г. Олонце. Корни ее уходят в с. Михайловское Пряжинского района, место компактного проживания карелов-людиков.

Во время Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в г. Оса Пермской области, где училась в школе и педагогическом училище. В 2000 г. в сектор литературы Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН пришло письмо из этого училища. Авторы послания сообщили, что в их учреждении создан музей, в котором представлены его выпускники, ставшие впоследствии известными людьми. С того времени в данном учебном заведении М. Ф. Пахомовой

посвящен уголок, где есть ее фотографии, книги и другие материалы.

Вернувшись из эвакуации, М. Ф. Пахомова окончила Карело-Финский учительский институт (1946) и Карело-Финский государственный университет (1950). Несколько лет преподавала в республиканской партийной школе и культпросветучилище. С 1956 по 1983 г. работала в ИЯЛИ Карельского филиала Академии наук СССР.

Майя Федоровна была первым и единственным карельским литературоведом, окончившим аспирантуру Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР по специальности «советская литература». Ее кандидатская диссертация «Горьковские традиции в творчестве Ф. Гладкова», защищенная в 1962 г., и первые книги «Пришвин и Карелия» (1960), «Михаил Михайлович Пришвин» (1970) были посвящены русской литературе. Однако основным направлением ее научных исследований становится история и современное состояние финноязычной литературы Карелии.

Несмотря на то что в 1954 г. вышли «Очерки литературы Карело-Финской ССР», не было четкого представления об объеме и характере произведений, созданных на финском языке (втором литературном языке республики), поэтому М. Ф. Пахомова совместно с Н. С. Полищук подготовили первый фундаментальный труд «Летопись литературной жизни Карелии (1917–1961)», вышедший в 1963 г. Позднее М. Ф. Пахомова была научным редактором последующих выпусков за 1962–1966, 1967–1971, 1972–1976 гг.

Она стала одним из авторов «Очерка истории советской литературы Карелии» (1969) и ряда статей для «Краткой литературной энциклопедии», «Большой советской энциклопедии», многотомной «Истории советской многонациональной литературы». В своих монографиях «Карелия в творчестве советских писателей» (1974), «Эпос молодых литератур» (1977), «Жанрово-стилевые искания современной прозы Карелии» (1981) М. Ф. Пахомова проявила себя в качестве исследователя, способного на широкие обобщения и постановку теоретических проблем.

М. Ф. Пахомова принимала участие в составлении «Антологии карельской поэзии» (1963), сборников произведений карельских авторов «Лесные мелодии» (1967), «Озеро шумит» (1973), «Белыми скалами линия фронта легла» (1974) и других. В исследовании «Карелы» (1983) ей принадлежат разделы о литературе республики. В своих многочисленных статьях М. Ф. Пахомова анализировала произведения ведущих прозаиков республики. Одной из первых она обратила внимание на творчество В. Брендоева, ставшего в

дальнейшем основоположником карелоязычной литературы.

В своих статьях литературоведы, писатели, журналисты называли М. Ф. Пахомову усердным и неутомимым исследователем, «острым пером», основоположником литературоведения.

М. Ф. Пахомова – заслуженный работник культуры КАССР, награждена Почетными грамотами Президиума Академии наук СССР, Верховного Совета и Совета Министров КАССР, медалями, с 1976 г. – член Союза советских писателей.

Н.В. Чикина

РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Maria Lähteenmäki. Maailmojen rajalla. Kannaksen rajamaa ja poliittiset murtumat 1911–1944. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009.

(Мария Ляхтеенмяки. На границе миров. Пограничье Перешейка и политические разломы 1911–1944 гг.).

Карельский перешеек в течение нескольких столетий находился в положении промежуточной зоны и спорной территории между Россией и Финляндией, шведской, а затем независимой. Граница здесь на протяжении веков, начиная с Ореховского договора 1323 г., несколько раз менялась. В результате Северной войны, итог которой был подведен Ништадтским миром 1921 г., вся территория Перешейка отошла к России, а в 1743 г. была включена в состав новообразованной Финляндской, или Выборгской, губернии. Однако после того как в результате русско-шведской («финской») войны 1808-1809 гг. было образовано автономное Великое княжество Финляндское под властью российской короны, Выборгская губерния императорским манифестом от 11 декабря 1811 г. была передана в состав Великого княжества.

По мере роста напряженности в отношениях между имперским центром и финляндской окраиной в российской столице все чаще высказывались мысли об ошибочности решения, принятого в 1811 г. императором Александром І. В 1910-1911 гг. был разработан проект о передаче нескольких волостей на Карельском перешейке в состав коронной России. До начала мировой войны, однако, он не был претворен в жизнь. После обретения Финляндией политической независимости вопрос о границе между новой Финляндией и новой (Советской) Россией принял чрезвычайно острый характер: существовавшая линия границы не удовлетворяла ни ту, ни другую сторону. Пограничный вопрос явился одним из самых сложных проблем на мирных переговорах в Тарту в 1920 г. Мирный договор, подписанный 14 октября, определил бывшую административную границу в качестве государственной.

Стремление советского руководства в конце 1930-х гг. добиться пересмотра границы с Финляндией, не встретившее взаимопонимания с финской стороны, закончилось, как известно, тем, что Кремль перешел к силовому варианту решения пограничного вопроса. Карельский перешеек дважды – в ходе «зимней» войны 1939–1940 гг. и так называемой «войны продолжения» (по финской терминологии) 1941–1944 гг. – становился ареной военных действий. В 1944 г. территория Перешейка окончательно оказалась в советских руках.

Перипетии истории Карельского перешейка (или просто Перешейка, как его часто называют в Финляндии) на протяжении наполненного драматическими событиями исторического периода, охватывающего чуть более 30 лет, от кануна Первой мировой войны до конца «войны-продолжения», стали предметом рассмотрения в монографии авторитетной финской исследовательницы Марии Ляхтеенмяки. Известен интерес М. Ляхтеенмяки к проблеме приграничных территорий. Ее авторству принадлежат работы по истории финской Лапландии. В одной из них рассматривается положение финляндского Севера во время Второй мировой войны, в другой - история Северного Калотта в «великокняжеский» период: от «финской» войны до конца XIX в. (Lähteenmäki M. Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945. Helsinki, 1999; idem. Kalotin kansaa. Rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1808–1889. Helsinki, 2004 (английское издание: Lähteenmäki M. The Peoples of Lapland: Boundary Demarcations and Interaction in the North Calotte from 1808 to 1889. Helsinki, 2006)). В своей новой работе автор обращается к проблемам истории другой приграничной финляндской территории, расположенной в южной части страны (в настоящее

время, в отличие от Лапландии, Финляндии не принадлежащей).

Лапландию и Карельский перешеек, при всех своих различиях, природных, этнических, исторических и т. д., роднит одна общая черта: эти территории были расположены на «границе миров»: на стыке различных государств, на перекрестке разнообразных культурных влияний. Свой опыт изучения такой пограничной, в прямом и переносном смысле слова, территории М. Ляхтеенмяки приложила теперь к финляндско-российскому пограничью на Перешейке. Основной предмет исследования в книге: внутренняя история пограничной территории Карельского перешейка на фоне политической истории Финляндии и советско-финляндских отношений.

В своей работе автор анализирует роль приграничных волостей Карельского перешейка в великокняжеский период как связующего звена между Финляндией и столицей Российской империи. С Карельским перешейком тесно связаны имена выдающихся деятелей русской литературы и живописи (М. Горький, К. Чуковский, А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, Н. К. Рерих). В то же время ситуация на Перешейке служила источником дополнительной напряженности в то и без того непростое время, которое в финской историографии принято называть «периодом охлаждения» («routakausi»). Приграничные территории Великого княжества активно использовались русскими революционерами, поскольку местные власти закрывали глаза на их активность на финской территории. Здесь укрывались В. И. Ленин и другие деятели большевистской партии, проводились партийные совещания, в населенных пунктах Перешейка устраивались хранилища и перевалочные базы для доставки в Россию нелегальной литературы, оружия и взрывчатых веществ. С этим и была связана разработка законопроекта о присоединении нескольких приграничных волостей Перешейка к коронной России, вызвавшего в Финляндии резко негативную реакцию. Автор в этой связи обращает внимание на деятельность Микко Уотинена, писателя и политика из поселка Терийоки (нынешний Зеленогорск), который активно боролся против реализации этого законопроекта, издав в 1911 г. книгу «Uhatut pitäjät» («Угрожаемые волости»).

После обретения Финляндией национальной независимости Карельский перешеек зимой – весной 1918 г. стал ареной военных действий в ходе финляндской гражданской войны. Примечательно, что лишь с недавнего времени

в работах финских авторов в названии событий зимы — весны 1918 г. начал использоваться термин «гражданская война» («sisällissota»). Ранее на протяжении многих десятилетий эта война именовалась в финской историографии «освободительной» («vapaussota»). Эти события нашли отражение на страницах монографии М. Ляхтеенмяки. В частности, интерес представляют характеристика личности и деятельности красного коменданта Терийоки Хейкки Кальюнена, описание военных действий в районе Рауту и Куоккала и белый террор, последовавший за победой белых.

Далее в книге рассматривается история Терийоки и других близлежащих волостей Перешейка в период 1920-1930-х гг., когда они составляли пограничную зону независимой Финляндии. Особенностью существования этих волостей в указанный период было их положение в качестве «закрытой зоны». Одной из серьезных проблем этого периода была контрабанда, которой в книге уделяется пристальное внимание. Контрабанда существовала и в имперский период и приобрела особенно угрожающие размеры в первые годы финляндской независимости. Меры по улучшению охраны границы не могли привести к полному искоренению контрабанды, так как в этот промысел была втянута значительная часть населения по обе стороны от границы. В книге отражены перипетии той упорной, но не слишком успешной борьбы, которые местные власти вели с контрабандой. Отражение на страницах книги нашло также функционирование так называемых «окон» на границе, которыми пользовались самые разные силы: разведывательные органы обоих сопредельных государств, финская коммунистическая эмиграция в СССР, русские «белоэмигранты» в Финляндии. Автором затронута и беженская проблема. Вплоть до середины 1930-х гг. пограничную линию на Карельском перешейке в обе стороны постоянно переходили, легально и (чаще) нелегально, самые различные группы людей: беженцы из Советской России, «красные» финны, ингерманландцы, трудовые мигранты. Передвижение всех этих людей через пограничную зону наложило свой отпечаток на историю Перешейка.

Наряду с этими проблемами, в книге рассматриваются и общие вопросы экономической, социальной, культурной истории приграничья. Здесь постепенно складывалась своя особая местная идентичность. Карельский перешеек играл важную роль в истории русской диаспоры в Финляндии. Несмотря на все сложности: распространение антирусских настроений в Финляндии, недоверие со стороны властей, которые стремились не допускать пребывания русских в приграничных районах, стремление финских националистов полностью «финнизировать» Карельский перешеек, значительная часть русского населения Финляндии размещалась в Выборгской губернии, и русская культурная жизнь на Перешейке продолжала активно развиваться.

В книге затрагивается и еще одна сторона истории Карельского перешейка: его положение как курортной зоны и туристического объекта. Несмотря на свое положение закрытой пограничной территории, Перешеек, прежде всего так называемая «Северная Ривьера» (побережье Финского залива между Оллила и Терийоки), постепенно возрождался в своем традиционном качестве зоны отдыха. С конца 1920-х гг. Северная Ривьера переживала второй, после конца XIX – начала XX в., туристический бум. В Терийоки активно возводились новые гостиницы и санатории. Перешеек начал привлекать финских писателей и художников, так же как в начале века он привлекал русских деятелей культуры.

Мирный период истории Карельского перешейка был прерван событиями «зимней» войны 1939–1940 гг. В итоге войны весь Перешеек был потерян для Финляндии, и все его население было вынуждено эвакуироваться вглубь страны. «Война-продолжение» 1941-1944 гг. рассматривается в книге прежде всего с точки зрения стремления финнов вернуть свои утраченные территории и возродить их как части Финляндского государства. Как известно, осенью 1941 г. финским войскам удалось выйти на линию довоенной границы. Здесь автор анализирует такое явление, как отказ многих финских солдат продолжать наступление за линию старой границы, так как с освобождением своей территории они считали свою миссию выполненной. Это обстоятельство послужило одной из основных причин того, что финское наступление было в конечном итоге остановлено, и до лета 1944 г. активных действий на этом участке фронта не

велось. Дело было вовсе не в том, что финское командование изначально не собиралось переходить старую границу (утверждение, которое можно увидеть в некоторых публицистических изданиях). Летом 1944 г. в результате советского контрнаступления (Выборгская наступательная операция) финским войскам пришлось снова и теперь уже окончательно отступить с Перешейка. В той части книги, которая касается военных событий, автор не стремится подробно описывать военные действия (это уже неоднократно делалось в самых разных изданиях), а рассматривает главным образом отражение войны в судьбах отдельных людей, обращаясь в первую очередь к свидетельствам очевидцев и участников событий.

В заключении книги подводится итог той роли, которую приграничье Карельского перешейка сыграло в истории Финляндии. Исследование М. Ляхтеенмяки основано на солидной источниковой и историографической базе. Использованы документальные материалы из нескольких архивов, в частности, Национального архива (Kansallisarkisto) и Военного архива (Sota-arkisto) в Хельсинки, провинциального архива Миккели, Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге. Активно использованы также опубликованные источники, воспоминания, центральная и местная финская пресса. Конечно, в книге не обошлось без некоторых пробелов, связанных в первую очередь со слабым знакомством автора с российской историографией истории рассматриваемых территорий. Вследствие этого обстоятельства в книге почти не нашел отражения, к примеру, такой интересный вопрос, как первая советизация Карельского перешейка в 1940-1941 гг. Однако в целом можно констатировать, что новая монография Марии Ляхтеенмяки представляет собой существенный вклад в изучение истории такой важной для двух соседних государств - Финляндии и России территории, как Карельский перешеек, проблемы пограничных территорий в целом.

ТИХВИНСКИЕ КАРЕЛЫ-СТАРООБРЯДЦЫ В ИССЛЕДОВАНИИ О. М. ФИШМАН

И. Ю. Винокурова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Российское и зарубежное кареловедение достигло значительных успехов в деле изучения карельского народа, имеющего достаточно драматический путь развития и яркую самобытную культуру. Оно включает немало трудов, которые без преувеличения можно назвать классическими произведениями. Тем не менее в научном наследии о карелах остаются значительные пробелы. В годы довлеющей над научными умами марксистско-ленинской идеологии с ее взглядами на несовместимость религии с коммунистической формацией закрытой для исследований была православная тематика с такими, например, проблемами, как христианизация карелов, церковный раскол и распространение на карельских землях старообрядческих течений и толков. В постперестроечный период этот пробел начал успешно ликвидироваться.

В 2003 г. была опубликована монография ведущего специалиста по карельской этнографии О. М. Фишман «Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы», которая представляет собой первый в отечественной и зарубежной науке фундаментальный труд, посвященный исследованию феномена карельского старообрядчества. Объектом исследования явилась совершенно не изученная в этнографическом отношении локальная группа карельского этноса - «тихвинские карелы», проживающая в современном Бокситогорском районе Ленинградской области. Как справедливо отмечает автор монографии, принадлежность этой группы к федосеевскому согласию никогда не привлекала внимания отечественных специалистов. Таким образом, актуальными представляются как предмет, так и объект исследования. Его хронологические рамки охватывают значительный период - с конца XVII в. и фактически до наших дней. Монография легла в основу диссертации О. М. Фишман «Тихвинские

карелы-старообрядцы: методология и результаты комплексного изучения феномена локальной этноконфессиональной группы», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности – 07.00.07 – этнография, этнология и антропология, которая была блестяще защищена 4 апреля 2011 г. в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Для российского кареловедения данный факт является знаменательным событием, поскольку это первая докторская диссертация по этнографии карелов. Настоящая статья посвящена анализу этого важного для этнографической науки исследования.

Уже при первом знакомстве с тихвинскими карелами у исследователя вызывает удивление стойкое сохранение на протяжении трех с половиной веков этого маленького национального островка в окружении мощного массива русского населения. Достаточно привести хотя бы такой факт. Вплоть до сегодняшнего дня карельские дети Тихвинщины (пусть даже не все) знают карельский язык, несмотря на то, что в местной школе карельский язык не преподается. Это выглядит парадоксально на фоне соседних вепсов (южная группа), где школьники изучают родной язык, но общение с детьми в семьях уже давно ведется на русском языке. Как представляется, именно желание найти причины высокой стабильности этой карельской группы и послужили толчком для О. М. Фишман обратиться к исследованию.

Существуют разные подходы к изучению локальных групп. Согласно одному из наиболее распространенных – историко-культурному, собранные данные гуманитарных наук, касающиеся различного по масштабу локуса, систематизируются и анализируются по традиционным этнографическим рубрикам. Такого плана работы, в том числе и по карелам, встречаются чаще всего, например, коллективные монографии, посвященные материальной и духовной культуре сегозерских карелов, истории и культуре Суйсари, Сямозера и др. О. М. Фишман пошла по новому пути исследования. Она поставила цель разработать методологию комплексного изучения и описания феномена локальной группы, дав ей точное определение «этноконфессиональная», роли старообрядчества в ее формировании и сохранении [Фишман, 2011. С. 6]. Впечатляет новизна, масштаб и успешное решение поставленных задач работы, их 8, и каждая может стать предметом самостоятельного исследования. Перечислим только некоторые из микротем (в работе они связаны единым стержнем): миграционная и конфессиональная история карелов за три с половиной века; значение устных нарративов для характеристики концептов исторической памяти; освоение новой среды карельскими мигрантами; групповое этническое и конфессиональное самосознание; языки повседневного и фольклорного общения, конфессиональной практики; система этноконфессиональных символов; реконструкция структуры карельской старообрядческой общины; изучение системы лидерства; таинства федосеевцев; описание правил благочестия и др.

Композиционно каждая глава диссертации или ее отдельный параграф посвящены реализации одной из поставленных задач. Их успешное решение стало возможным благодаря разработанной автором новой комплексной методологии исследования, которую О. М. Фишман определяет «как совокупность традиционных для этнографии и заимствованных из смежных / пограничных гуманитарных дисциплин подходов и приемов». Среди них можно выделить «СКВОЗНЫЕ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕго исследования, и «дополнительные», применяемые при исследовании отдельных микропроблем. Стержневым стал феноменологический подход, задача которого заключается в познании системы образований сознания, конституирующих (имманентно) объективный мир. Определив исходную позицию - «карельскостарообрядческое» самосознание группы, автор виртуозно показывает, как оно проявляется в языке, способах мировидения, поведении, социальной организации, фольклоре и т. д.

Диссертация основывается на обширной источниковедческой базе, включающей опубликованные теоретические труды по старообрядчеству историков, философов, представителей старообрядческих церквей России; работы по региональному старообрядчеству и изучению локальных групп; исследования по

истории, лингвистике, этнографии и фольклору народов Европейского Севера и др.; письменные вещественные различные И свидетельства из архивов и музеев России, Эстонии, Финляндии; экспедиционные собрания. Оригинальные полевые материалы автору удалось собрать в многочисленных научных экспедициях благодаря редкому профессиональному мастерству ведения диалога с информантами и специальной методике. В диссертации порою представлена очень сокровенная информация, которой, как я знаю по собственному опыту, закрытые карелы-староверы охотно делились далеко не с каждым исследователем, к тому же предпочитая для бесед представителя своей национальности, хорошо знающего их язык.

Анализ группы тихвинских карелов правомерно начинается с рассмотрения событий, предшествующих их поселению в Тихвинском крае: христианизация, войны России и Швеции XVI-XVII вв. и их результат - массовая миграция карелов в глубь России. Автор, прекрасно ориентируясь в огромном количестве новых и уже известных исторических источников, дает современное толкование причин «исхода» карелов из Карельского уезда после подписания Столбовского мирного договора 1617 г.: социально-экономический и национальный гнет, конфессионально-репрессивная политика Шведского правительства. Причем особо отмечает, что по переписным книгам 1646 г., сами карелы первую причину своего переселения определяли как «бежали... для веры» [Фишман, 2011. С. 78]. Именно эта причина часто замалчивалась, принижалась или критиковалась в научной литературе советского периода. Например, признанный авторитет в вопросах карельской этнографии Ю. Ю. Сурхаско, анализируя книгу Т. Вуорела «Народы, родственные финнам», писал: «Касается автор и вопроса переселения карел в Россию в 17 веке, явно преувеличивая при этом роль религиозных мотивов» [Сурхаско, 1966. С. 155]. О. М. Фишман удалось убедительно показать роль Русской Православной церкви в выборе карельским народом своей судьбы - вместе с единоверцами русскими в составе Российского государства. Как точно высказывается по этому поводу исследовательница, «верность православию означала для карел сохранение собственного этнокультурного единства» [Фишман, 2011. C. 78]. О. М. Фишман присоединяется к мнению исследователей русской православной культуры о том, что в советский период «православие, пронизывающее в действительности все сферы народной жизни, не только не изучалось (за малым исключением), но и нарочито затемнялось, проявления его искажались». Наблюдалось «тенденциозное выпячивание языческих элементов при замалчивании христианских основ духовной жизни народа» [Громыко и др., 1993. С. 60]. Новый взгляд на роль православия в карельской народной культуре, представленный в диссертации, позволяет пересмотреть прежние суждения многих советских исследователей.

Очень важной является проделанная О. М. Фишман работа по определению точных мест расселения карельских мигрантов на территории Новгородчины, Вологодчины и Верхневолжья и темпах их ассимиляции в последующие века. Эти данные крайне необходимы исследователям, изучающим неоднородный этнокультурный ландшафт Северо-Запада России.

Переход к характеристике конфессиональной принадлежности тихвинских карелов - федосеевскому согласию - автор логично предваряет обстоятельными экскурсами по истории старообрядчества, о распространении беспоповского направления и одного из его согласий – федосеевства на Северо-Западе, особо выделяя в них карельское участие. Некоторые приведенные данные в очередной раз заставляют по-иному взглянуть на устоявшиеся в науке выводы на карельскую культуру, дать правильное объяснение некоторым непонятным явлениям. Так, в карельской этнографии, начиная с дореволюционных исследователей, стало уже общим местом утверждение, что у северных карелов «венчанье не считается безусловно необходимым для заключения брачного союза, достаточно других свадебных обрядов» [Ефименко, 1878. С. 106]. Существовали и попытки интерпретации такого отношения к церковному обряду. Исследователи первой половины XX в. И. В. Оленев и Г. X. Богданов в качестве причин называли высокую плату за венчание (5-25 руб. или корова), большие расстояния и плохие дороги между севернокарельскими церквами и деревнями [Оленев, 1917. С. 133; Богданов, 1930. С. 50]; ученые более позднего советского времени - стойкое сохранение язычества у карелов и вытекающее из этого «пренебрежительное отношение» к церкви. Однако по поводу данных интерпретаций возникал вопрос, почему выдвинутые причины не сказывались на соблюдении церковного обряда южнокарельским и вепсским населением. Благодаря работе О. М. Фишман мы находим на него ответ. В диссертации исследовательницей названо большое количество приходов Карельского края, преимущественно расположенных на севере, еще в начале XX в. зараженных расколом: Кемский, Сорокский, Шуезерский, Олангский, Кестенгский, Нюхченский, Тунгудский, Шиженский, Маслозерский, Кондокский, Шуерецкий, Пильдозерский и Сумский. Именно с позиции старообрядчества беспоповского направления, отрицавшего церковные ритуалы, следует объяснять безразличие к венчанию, а также отмечаемое исследователями малое количество церквей на севернокарельской территории [Конкка, 1992. С. 228]. Кроме того, старообрядческую карту Карелии и Новгородчины, реконструированную автором, необходимо принимать во внимание при изучении традиционной культуры населения этих мест и ее интерпретации.

Для реконструкции локальной истории тихвинской этноконфессиональной группы автор впервые обращается к таким фольклорным жанрам у карелов как предания и легенды. В этой связи уместно будет заметить, что карельские легенды и предания никогда систематически не собирались на территории Карелии и не были предметом специального исследования фольклористов. Диссертация О. М. Фишман демонстрирует продуктивность этих фольклорных жанров для решения различных историко-культурных проблем, связанных с карелами.

Еще одну новаторскую часть исследования представляет собой разработка проблемы культурной адаптации карельских переселенцев в новой природной среде. Как устанавливает автор, особенностью формирования карельского анклава в Тихвинском крае являлось не подселение карелов непосредственно в обжитых иноэтничных локусах, как это зачастую было в Карелии, а освоение опустевших после русских или новых территорий. По каждой деревне в диссертации содержится подробная информация, включающая и расположение в ней сакральных объектов, некрополей, представляющая собой своего рода путеводитель по данной местности. Эти сведения позволяют нам по-новому прочитать, например, уникальные образцы тихвинского говора карельского языка с. Селище, записанные и опубликованные В. Д. Рягоевым, в которых встречаются упоминания о местной церкви и храмовом празднике [Образцы..., 1980. С. 173]. Как это соотносится со старообрядческой средой? Оказывается, население Селищ в своем большинстве было православным, а храм был освящен как единоверческий. В рамках этой проблемы особое теоретическое звучание приобрело рассмотрение разнохарактерного общения жителей карельских и русских деревень, старообрядцев и православных.

Групповое самосознание – краеугольная проблема, разрабатываемая в работе. Основными источниками этой части исследования явились обширные данные авторских опросов карелов и русских Тихвинского края, нацеленные на получение информации по теме «мы и они». Исследовательница сначала рассматривает все признаки карельского этнического самосознания, а затем переходит к религиозному. Такая последовательность изложения материала позволила автору очень точно показать наложение старообрядческого на этническое, сделать вывод о том, что идеологической и духовной опорой карельского несходства с русским со временем стала старая вера.

Одним из важных результатов явилась также реконструкция структуры конфессиональной общины тихвинских карелов, закрытой от «мира», но ставшей открытой для исследовательницы. Благодаря подробно описанному в работе переходу из одной группы в другую: верующие (vierolazet) – новожены (novžonat) – мирские (mierolazet) - читателю становится понятным, как достигалось «равновесие между соблюдением требований веры (чистоты и безбрачия)» и «необходимостью воспроизводства, продолжения семьи, рода, общины, народа» (с. 320). К заслугам автора следует отнести и выделение внутри общины нескольких типов социальных лидеров: отче и книжницы; их антиподы - колдуны и переходные фигуры нищие, ясновидицы, знахарки, в обыденном религиозном сознании и поведении которых были обнаружены на удивление мощные внехристианские пласты. Высокой оценки заслуживает и сложная работа автора по сбору биографий различных лидеров, например, пяти карельских отче и тридцати книжниц. Она демонстрирует возможности биографического метода, с помощью которого удалось существенно конкретизировать историю местного федосеевства.

Значение представленных в диссертации разнообразных полевых материалов выходит за рамки карельской этнографии. Отдельные архаичные культурные явления тихвинских карелов имеют аналогии у соседнего русского и южновепсского населения (особо подчеркну – у южных вепсов, а не у других групп), например: жальники и связанные с ними предания о Литве; мифологические рассказы о золотой бочке, упавшей в водоем; о колдунах, заставляющих чертей-помощников вить веревки из песка; поговорка, известная на карельском, вепсском и русском языках, свидетельствующая о широком распространении праздников, посвященных Святителю Николаю («В Николу

сядь в сани да брось вожжи, все равно на праздник попадешь»); женские голошения о бедах, адресованные кукушке, и др. Наличие этих общих черт позволяет выдвинуть предположение о существовании некоей этнографической зоны (условно назовем ее «тихвинской») или каких-то проходивших здесь культурных потоках, которое может стать импульсом для специальных исследований.

Как и всякая большая работа, успешно решающая ряд сложных вопросов, диссертация О. М. Фишман не лишена отдельных недочетов. В главе 3 автор объясняет интересный обычай тихвинских карелов изготовлять из можжевельника столбы для качелей на Пасху и могильные кресты почитанием этого дерева у всех финно-угорских народов. Однако, как показывают многочисленные исследования, в комплексе народных воззрений о растениях и животных мифологические представления и рациональные знания тесно переплетались. В карельском обычае, скорее всего, в расчет принимались не только верования, но и утилитарные свойства можжевельника, который, как часто отмечают сами сельские жители, отличается невероятной гибкостью, прочностью, менее подвержен разрушению под влиянием внешней среды. Пяжозерские вепсы, например, можжевеловый крест ставят на могилах одиноких людей, объясняя это тем, что за могилой ухаживать некому, а можжевеловый крест простоит дольше, чем сделанный из другой древесины.

В разделе о языке автор отмечает, что наибольшую устойчивость к русским заимствованиям проявили формы обращения членов карельской общины друг к другу. В зависимости от возраста к мужчине обращались diada Vanja («дядя Ваня»), ukko Pedri («деда Петя), к овдовевшей пожилой женщине - akko Paro («баба Прасковья») (с. 264). На самом деле такая форма обращения как раз указывает на влияние русских. В карельской форме обращения на первое место ставится имя человека, а затем поло-возрастной термин. И такая система обращения действительно сохранилась у тихвинских карелов. В некоторых местах своей работы автор упоминает сообщения информантов о Van'kad'iedä (букв. «Ванька дядя») (с. 326), Garud'iedo (букв. «Гаврила дед») (с. 328), Nasto t'ädi (букв. «Настя тетя») (с. 378).

Указанные замечания носят специальный характер и не меняют общей высокой оценки рецензируемой диссертации.

Хочется высказать и пожелание для будущих исследований старообрядчества. В начале 1980-х гг. в деревнях тихвинских карелов мне

приходилось видеть стариков-долгожителей, это выглядело удивительным в сравнении с вепсами, среди которых в то время практически не было мужчин пожилого возраста (конечно, сказалась и война). Вопрос о влиянии старообрядчества с его отрицательным отношением к спиртному и курению на демографические показатели группы, в частности на продолжительность жизни, который не рассматривался в диссертации, мог бы стать предметом исследования в дальнейшем.

Литература

Богданов Г. Х. Свадьба Ухтинской Карелии // Западно-финский сборник. Л., 1930. С. 36–64.

Громыко М. М., Кузнецов С. В., Буганов А. В. Православие в русской народной культуре: направление исследований // Этнографическое обозрение. 1993. № 6. С. 60–84.

Ефименко А. Я. Юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии // Зап. ИРГО по отд. этнографии. 1878. Т. 8.

Конкка У. С. Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск, 1992.

Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги. Гельсингфорс, 1917. С. 123–136.

Образцы карельской речи (тихвинский говор собственно карельского диалекта) / Сост. В. Д. Рягоев. Л., 1980.

Сурхаско Ю. Ю. Карелы в современной этнографической литературе Финляндии // СЭ. 1966. № 2. С. 151–160.

Фишман О. М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. М., 2003.

Фишман О. М. Тихвинские карелы старообрядцы: методология и результаты комплексного изучения феномена локальной этноконфессиональной группы: Дис. ... докт. ист. наук (по специальности – 07.00.07 – этнография, этнология и антропология). СПб., 2011.

О ЖУРНАЛЕ «TUNA» (ЭСТОНИЯ)

В конце 1980-х гг. во всем Советском Союзе возобладал дух освобождения. Развертывавшиеся социально-политические процессы провоцировали повышенный интерес к истории среди всех слоев населения. Общество Эстонии исключением не являлось. Приходило осознание того, что многие события и процессы прошлого в советской историографии обходились стороной или преподносились искаженно. Потребность в освобождении от марксистско-ленинских клише при описании прошлого, неудовлетворенность уровнем исследований национальной эстонской истории служили дополнительными импульсами роста интереса к истории. Вполне понятно, что в центре внимания оказались события именно XX столетия. В Эстонии потребность в «настоящей», «правдивой» истории трансформировалась в массовом сознании в требование предоставить таковую как можно скорее. Тиражи таких эстонских изданий, как «Looming», «Akadeemia», «Vikerkaar», «Kultur ja Elu», «Keel ja Kirjandus», поспешивших откликнуться на запросы общества, взлетели как никогда.

Оборотной стороной повышенного интереса к прошлому стала коммерциализация и, как следствие, сосредоточенность на сенсациях в ущерб профессиональному анализу исторических процессов. Складывавшаяся ситуация все менее удовлетворяла историков и тех, кто испытывал подлинный интерес к истории. Все более ощущалась потребность в философии истории, в знакомстве с новыми методологическими подходами. Иными словами, стало актуальным обращение к проблемам теории в изучении истории.

«Колодец сенсаций» постепенно иссякал, что отчасти послужило причиной падения тиражей упомянутых изданий. Кроме того, нежелание утомлять читательскую аудиторию теоретическими рассуждениями привело к тому, что к середине 1990-х гг. в литературных журналах рубрики, посвященные событиям прошлого, стали сокращаться как шагреневая кожа. Количество изданий, ориентированных на публикацию сугубо научных материалов, было невели-

ко. К ним, в частности, относился журнал «Kleio», издание которого осуществлялось с 1988 г. силами исторического факультета Тартуского университета. «Kleio» стремился к гармоничному сочетанию на своих страницах академических и популярных статей. Выходил этот журнал, однако, нерегулярно и нечасто. С 1988 по 1997 г. вышло всего 22 номера. У этого издания была характерная особенность - основное количество публикаций не касалось событий XX столетия, так волновавших многих. Интерес большинства его авторов не выходил за пределы XIX в. Одной из объективных причин этой ситуации были те коллекции документов, которые хранились в Историческом архиве Эстонии, находившемся в Тарту. В основном эти документы охватывали период до 1917 г., тогда как основная масса материалов по новейшей истории хранилась в Таллине - в Государственном архиве и в его филиале - Партийном архиве.

После получения Эстонией независимости Институт истории партии при ЦК Компартии Эстонии был ликвидирован, а Институт истории Академии наук Эстонии столкнулся с радикальным сокращением своих кадров. Исторический факультет Тартуского университета также переживал далеко не лучшие времена. Количество профессиональных историков, работающих в официальных структурах, резко сократилось. При этом не следует забывать о традиционном соперничестве Таллина и Тарту как «власти» и «духа» (отдаленно оно может напоминать соперничество Москвы и Петербурга). Еще события 1930-х гг. в определенной мере обострили это соперничество. Тогда Таллине сконцентрировалась лояльная эстонской авторитарной власти интеллигенция, а в Тарту - либеральная академическая оппозиция.

Однако в 1990-е гг. процессы в исторической науке были связаны не только с соперничеством Тарту и Таллина, но в большей мере с децентрализацией самих исторических исследований. Активно в этот процесс включились музеи и, прежде всего, архивы. Именно в эти

структуры перешли на работу многие талантливые историки, и не только старшего поколения. В 1989 г. была возобновлена деятельность Эстонского архивного общества, члены которого стали уделять большое внимание теоретическим проблемам исторических исследований и архивного дела. Некоторые из них вскоре заняли административные посты и приложили немало усилий для реформирования архивного дела. В 1995 г. пост директора Государственного архива Эстонии занял Аймар Алтосаар, не являвшийся историком по образованию, но начавший серию позитивных преобразований. При нем Государственный архив начал в 1997 г. издавать серию «Ad Fontes» (к настоящему времени вышло 17 томов). Дирекция филиала Государственного архива Эстонии (Партийного архива) покровительствовала исследователям, проявлявшим интерес к истории XX в. Исторический архив в Тарту после смены руководства стал издавать свои труды (с 1997 г. по настоящее время вышло 16 томов). Новым директором Таллинского городского архива (Tallinna Linnaarhiivi) стал Юри Кивимяе, видный историкмедиевист, который значительно оживил деятельность этого учреждения, сделав его одним из центров изучения истории.

Логично, что идея издания нового журнала родилась именно в Государственном архиве. «Kleio» публиковал материалы по истории до 1917 г. В свою очередь, выходивший под эгидой Института истории журнал «Acta Historica Tallinniensia» был неспособен предоставить достаточно возможностей для публикации авторитетных академических статей и рецензий. Когда и у кого первоначально возникла мысль об издании нового исторического журнала, сказать трудно. Также никто и не предполагал, что замысел приведет к появлению лучшего в государствах Балтии исторического журнала. Скорее всего, мысль о новом издании возникла сразу у нескольких человек. Одним из них был бывший редактор журнала «Kultur ja Elu» В. Роотс, который однажды пришел с конкретным предложением к заместителю директора Государственного архива по научным вопросам Яаку Валге. Так или иначе, но в декабре 1997 – январе 1998 г. обсуждение этой идеи получило дополнительный импульс после того, как журнал «Looming» пересмотрел свою редакционную политику, отказавшись от своей традиционной общественно-политической рубрики, что волейневолей открыло для известного писателя и редактора Отта Рауна возможность поиска для приложения своих талантов.

Директор Государственного архива Аймар Алтосаар отнесся к новому начинанию более

чем благожелательно и дал ему зеленый свет. Наилучшим вариантом представлялось издание общего архивного журнала. Именно Валге довелось вести сложные переговоры с предполагаемыми участниками проекта. Положительно идея нового журнала была встречена в бывшем Партийном архиве и Городском архиве Таллина. Некоторые колебания испытывали в филиале Государственного архива в Тарту, однако они были преодолены, что в определенной степени способствовало устранению той трещины, которая существовала в области исторических исследований между Тарту и Таллином.

Считалось, что новый журнал, для которого уже было подобрано имя «Тuna» («Минувшее»), в основном будет посвящен истории новейшего времени. Учитывалось, что в намерения исторического факультета Тартуского университета входило издание самостоятельного журнала «Ajaloolise ajakirja».

Уже упоминавшийся Отт Раун пришел на работу в Государственный архив весной 1998 г. и рьяно взялся за дело. Его помощниками стали В. Роотс, Ану Сейдла, Яан Клышейко, позже Триину Оотсинг. В 2001 г. в «Типа» пришел известный эстонский литератор Андрес Лангеметс. Когда в 1999 г. был создан Национальный архив Эстонии, объединивший Государственный архив, Исторический архив и Архив кино-, фото- и фонодокументов, «Tuna» оказался в ведении Национального архива. Последний был подчинен Государственной канцелярии. Это обстоятельство неизбежно ставило вопрос о возможности сохранения «Tuna» своей независимости. Однако за весь последующий период существования бюрократией только один раз была предпринята попытка вмешательства в редакционную политику, оставшаяся безрезультатной.

Первый номер «Tuna» вышел в 1998 г. С 1999 г. журнал выходил 4 раза в год, как это и планировалось, правда, первоначально не удавалось вписываться в ежеквартальный график номера выходили по мере готовности. Этот недостаток был устранен уже в следующем году. К 2011 г. вышло 50 номеров, а также 3 отдельных номера (2 – на русском языке и 1 – на английском). Тираж и по современным российским меркам не маленький - 800 экземпляров (если исходить из численности населения, то пропорционально для России это составило бы около 100 000 экземпляров). С содержанием последних 4 номеров всегда можно познакомиться на сайте http://www.ra.ee/et/tuna@i=2. В отличие от многих других эстонских журналов, «Tuna» выплачивает своим авторам гонорары,

благодаря тому, что Фонд Eesti Kulturkapital, как правило, оказывает финансовую поддержку журналу (за двенадцать лет существования журнала фонд только дважды отказывал в этом).

Редакционная политика «Тuna» осуществляется на демократических началах – редакционной коллегией, членами которой являются профессиональные историки и архивисты. Роль коллегии в принятии решений велика. В отличие от многих эстонских и российских журналов, она собирается регулярно четырежды в год для обсуждения конкретных вопросов, связанных с корпусом материалов очередного номера. Фактически коллегия из 15 человек (из них 4 – зарубежные, известные в мире историки, проявляющие интерес к истории Эстонии) является коллективным директором.

Общий облик издания определяется стремлением его создателей издавать историко-архивный журнал и общественными запросами. Не последнюю роль в завоевании журналом широкой читательской аудитории сыграли литературные дарования и организаторская хватка его главного редактора Отта Рауна. Для любого читателя сразу станет очевидным, что помимо чисто исторических статей основное внимание редакция журнала уделяет вопросам истории культуры. Каждый номер открывается эссе, нередко с интригующим названием, блестяще написанным, вызывающим интерес не только профессиональных историков, но и философов, литераторов, искусствоведов, хотя, на первый взгляд, они могут казаться посвященными проблемам, которые в силу своей специфичности предполагают встречу только с глазами избранных. Например, эссе Яана Тамма «Координаты для исторического исследования» (2004, № 2), Юхана Креема «Архивы и секреты» (2010, № 2), Марта Кивимяе «Проблема диалога: об одном аспекте политической культуры» (2004, № 4), Яана Ундуска «Ленин versus Богданов» (2005, № 1) и др.

В стороне, конечно же, не остаются и вопросы теории архивного дела, философии и методологии истории. На страницах журнала была опубликована серия материалов, посвященная плеяде выдающихся ученых, к сфере интересов которых относились проблемы методологии истории и историософии (Иринг Флетчер, Йорн Рюзен, Райнхарт Коселлек, Поль Рикёр, Карло Гинцбург, Эдмунд Бёрк, Франсуа Хартог и др.).

Публикуемые в «Tuna» материалы характеризует несколько иной, чем, например, в «Vikerkaar», подход к рассмотрению исторических процессов и явлений, он более классический, если не сказать, прагматический. В опре-

деленной мере это было обусловлено составом коллегии, в которой представлены историки, а не философы истории. Для историков в целом характерны как далеко не всегда неуместная претензия на объективность, достигаемую без применения каких-либо особых теоретических конструкций, так и стремление быть вне идеологических влияний. Однако все более ими осознается тот непреложный факт, что при (вос)создании ими картины прошлого уже невозможно не учитывать те методологические вызовы, отказываясь от игнорирования которых историк приобретает новые возможности для более глубокого проникновения в текст источника. Именно это, как нам представляется, убедительно и красиво доказывал в одной из своих статей в «Tuna» grand old man эстонской научной мысли Энн Тарвел (2005, № 3).

Поскольку «Tuna» – историко-архивный журнал, то вполне понятно, что значительное место он уделяет публикации документов. Стоит заметить, что многие из этих публикаций заслуживают особого внимания и российских историков, особенно тех, к сфере интересов которых относятся события 1939-1940 гг. В данном случае можно упомянуть некоторые из них. Эрих Кауп опубликовал материалы, связанные с миссией А. А. Жданова в Эстонии в 1940 г. (2005, № 2, 3); Урмас Сало – донесения эстонского военного атташе в Польше и Румынии подполковника Рейна Томбака о военно-политическом положении Польши в 1939 г. (2008, № 4); Хеллар Грабби – письмо Константина Пятса послу Финляндии в Эстонии в июле 1940 г. (2005, № 1); Эне Тоом – донесение первого секретаря японской миссии в Эстонии Сигеру Симада министру иностранных дел Японии Ёсуке Мацуока от 29 июля 1940 г. (2002, № 1); воспоминания Эллы Венде о репатриации немцев из Эстонии в Германию осенью 1939 г. (2003, № 4).

Едва ли будет вызывать удивление тот факт, что на страницах «Tuna» публикуется много статей, так или иначе затрагивающих историю Новгородского и Московского княжеств, Российской империи и Советского Союза. Как правило, эти статьи основаны на материалах, которые никогда ранее не вводились в научный оборот и остаются, к сожалению, неизвестными российским историкам. К таковым относятся, например, статьи Энна Тарвела «Разрушение Сигтуны в 1187 г.» (2007, № 2), Тыну Райда о составленной по окончании Ливонской войны карте 1582 г. Антонио Поссевино (2007, № 1) и о карте 1564 г. Рафаэлло Барберини (2008, № 2); статьи Юргена фон Унгерн-Штернберга и Марью Лутса о восприятии в Европе завоевания Петром I Прибалтийских губерний Швеции (2007, № 1); статья Энн Кюнг о конфликте между почтовыми службами Риги и Москвы накануне Северной войны (2006, № 4; его статья «Нюен - центр транзитной торговли в устье Невы (1632-1703), опубликованная в первом спецвыпуске «Tuna» на русском языке в 2006 г., в ряде случаев дополняет изданную в переводе с финского А. И. Сакса книгу Сауло Кепсу «Петербург до Петербурга»; статья Хейно Арумяэ о советско-эстонских переговорах о предоставлении СССР военных баз на территории Эстонии (2001, № 4; 2002, № 1) и его сравнительный анализ советско-эстонских и советскофинляндских переговоров осенью 1939 г. (2006, № 1). Некоторые из них основаны на хорошо известных российским историкам материалах (например, статья Эве Куби о вводе советских войск в Эстонию в октябре 1939 г. (2010, № 2)), однако большинство содержат те факты и оценки, которые трудно проигнорировать при обращении к истории советского общества. Понятно, что велико количество публикаций, посвященных периоду после 1939 г., к которому интерес общества Эстонии сохраняется. В этой связи необходимо упомянуть статью генерального директора Национального архива Эстонии Прийта Пирско «Ограничение доступа к архивным документам в Эстонской ССР» (спецвыпуск «Типа» на русском языке, 2010 г.), в которой затронута тема организации архивного дела сразу после превращения Эстонской республики в Эстонскую ССР.

Среди публикаций «Tuna» обращает на себя внимание большое количество материалов, посвященных гражданской войне в Эстонии и ее предыстории. Исключительно интересна статья Кайдо Яансона о контактах Александра Кескюла в 1914-1915 гг. с германскими дипломатами, его оценке Ленина и большевиков (в письме к немецкому послу Гисберту фон Ромбергу он называл их незначительной в политическом отношении группой, которая может быть использована без их собственного ведома), большевистской конференции в Берне (2004, № 1; в 2006 г. публикация была включена в спецвыпуск «Tuna» на русском языке). Недостатком практически всех советских и российских исследований по истории событий 1918–1919 гг. в Эстонии является удивительно слабое знание фактов. В лучшем случае эти события освещаются на основе хранящейся в Гарварде коллекции документов Н. Н. Юденича. Для российских историков далеко небезынтересными были бы статьи Урмаса Сало о Юлиусе Куперьянове (2004, № 1), Мати Крёёнстрёма об эстонских офицерах-кавалеристах (2005, № 2), Аго Паюра о борьбе эстонских и латвийских соединений с германскими частями под командованием Р. фон дер Гольца и балтийским ландсвером (1919 г.) (2009, № 2), его же статья о рождении манифеста о независимости Эстонии (1917–1918 гг.). Значительно дополняет сведения, приводимые в книге российского историка А. В. Смолина «Белое движение на Северо-Западе России (1918–1920)» (1999 г.), статья Рейго Розенталя о судьбе Северо-Западной армии Юденича после отступления в Эстонию, опубликованная в переводе на русский в спецвыпуске «Типа» в 2010 г.

Было бы удивительным, если бы редакция журнала не обращалась к различным проблемам истории Эстонии советского периода. Особо хочется выделить некоторые публикации, затрагивающие те или иные аспекты сопротивления существовавшему политическому режиму. В 2004–2005 гг. в журнале была опубликована серия статей Яака Пихлау «Эстонское демократическое подполье и контакты с Западом». Деятельность народного комиссариата государственной безопасности в Эстонии в первые послевоенные годы была объектом исследования М. Сауеаук (2008, № 3). Одним из наиболее осведомленных эстонских историков в вопросах истории движения сопротивления является Тийт Ноорметс. В «Tuna» им было опубликовано более двух десятков материалов и статей, например, об издании подпольных печатных органов в 1947-1948 гг. (2006, № 2), об истребительных батальонах НКВД (2008, № 3), об отражении выборов 1947 г. в Верховный совет СССР в документах отдела по борьбе с бандитизмом МВД Эстонии (2004, № 3) и др. Документы, связанные с проведением выборов на территории Эстонии в 1940–1950-х гг., для Аллана Япуура и Лийви Ууэт послужили источником для исследования некоторых проблем демографической истории Эстонии (2010, № 2).

Методы установления советского строя в послевоенную эпоху стали объектом исследования для многих авторов «Типа». Если статья Т. Креегипуу была посвящена использованию истории в качестве идеологического оружия государственными средствами массовой информации в 1945–1960 гг. (2007, № 3), то Вяйно Сирка интересовала прежде всего советская политика в области образования в постсталинский период (2004, № 4). Тыну Таннберг, особое внимание уделяющий в своих исследованиях 1940–1950-м гг., анализировал то, как в Кремле в 1944 г. решался вопрос о борьбе с вооруженным сопротивлением в Прибалтике (2009, № 4), как так называемый

«новый курс» Берия отразился весной 1953 г. на подавлении движения сопротивления (2005, № 4). Много материалов на страницах журнала было посвящено эстонским диссидентам.

Читателя журнал «Тuna» привлекает не только интересными статьями, но и одной особой рубрикой – «Eesti Filmiarhiiv». В каждом номере публикуется тематическая подборка редких фотографий. Это может быть подборка, посвященная тому или иному политическому деятелю Эстонии (например, фотографии известных эстонских политиков межвоенного периода Яана Тыниссона (2003, № 3), Константина Пятса, Каарела Ээнпалу (2009, № 2), эстонских военачальников – генералов Н. Реека, Пыддера (2009, № 3)), а также различным интересным событиям (будь

то посещение Николаем II Балтийского порта в 1912 г. или открытие памятника Петру I в Ревеле), городскому или сельскому быту (например, фотографии эстонских кафе и ресторанов, курортов и санаториев, городского транспорта, собраний колхозников и т. д.), отдельным регионам и городам.

Популярность «Tuna» у читателя создана не крикливыми сенсациями, а вдумчивым, ненавязчивым воспитанием у него редакцией журнала и его авторами повышенного интереса к истории. Редакции удается поддерживать удивительный баланс между академическим содержанием публикаций и стилем их подачи. Такого результата не смог добиться более ни один из исторических журналов, выходящих сейчас в государствах Балтии.

Я. Валге, А. Рупасов

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

(требования к работам, представляемым к публикации в «Трудах Карельского научного центра Российской академии наук»)

«Труды Карельского научного центра Российской академии наук» (далее – Труды КарНЦ РАН) публикуют результаты завершенных оригинальных исследований в различных областях современной науки: теоретические и обзорные статьи, сообщения, материалы о научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях и др.), персоналии (юбилеи и даты, потери науки), статьи по истории науки. Представляемые работы должны содержать новые, ранее не публиковавшиеся данные.

Статьи проходят обязательное рецензирование. Решение о публикации принимается редакционной коллегией серии или тематического выпуска Трудов КарНЦ РАН после рецензирования, с учетом научной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегии серий и отдельных выпусков Трудов КарНЦ РАН оставляют за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие настоящим правилам.

При получении редакцией рукопись регистрируется (в случае выполнения авторами основных правил ее оформления) и направляется на отзыв рецензентам. Отзыв состоит из ответов на типовые вопросы «Анкеты» и может содержать дополнительные расширенные комментарии. Кроме того, рецензент может вносить замечания и правки в текст рукописи. Авторам высылается электронная версия «Анкеты» и комментарии рецензентов. Доработанный экземпляр автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром и ответом на все вопросы рецензента не позднее, чем через месяц после получения рецензии. Перед сдачей в печать авторам высылается распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается авторами и возвращается в редакцию.

Почтовый адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, КарНЦ РАН, редакция Трудов КарНЦ РАН. Телефон: (8142) 780109.

Содержание номеров Трудов КарНЦ РАН и другая полезная информация, включая настоящие Правила, доступна на сайте http://transactions.krc.karelia.ru.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Статьи публикуются на русском или английском языке. Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами.

Статьи должны быть подписаны всеми авторами.

Объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) не должен превышать: для обзорных статей – 30 страниц, для оригинальных – 25, для сообщений – 15, для хроники и рецензий – 5–6. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рукописи большего объема (в исключительных случаях) принимаются при достаточном обосновании по согласованию с ответственным редактором.

Рукописи присылаются в электронном виде, а также в двух экземплярах, напечатанных на одной стороне листа формата A4 в одну колонку через 1,5 интервала (12 пунктов шрифта типа Times New Roman). Размер полей: сверху, снизу -2,5 см, справа, слева -2,5 см. Все страницы, включая список литературы и подписи к рисункам, должны иметь сплошную нумерацию в нижнем правом углу. Страницы с рисунками не нумеруются.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ

Элементы статьи должны располагаться в следующем порядке: УДК к у р с и в о м на первой странице, в левом верхнем углу; заглавие статьи на русском языке з а главными б у к в а м и полужирным шрифтом; инициалы, фамилии всех авторов на русском языке полужирным шрифтом; полное название организации — место работы каждого автора в именительном падеже на русском языке к у р с и в о м (если авторов несколько и работают они в разных учреждениях, то следует отметить арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они работают; если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно); аннотация на русском языке; ключевые слова на русском языке; инициалы, фамилии всех авторов на английском языке полужирным шрифтом; аннотация на английском языке; ключевые слова на английском языке; текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: ВВЕДЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. ВЫВОДЫ. ЛИТЕРАТУРА); благодарности; литература (с новой страницы); таблицы (на отдельном листе); подписи к рисункам (на отдельном листе).

На отдельном листе дополнительные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество всех авторов полностью на русском и английском языках; полный почтовый адрес каждой организации (страна, город) на русском и английском языках; должности авторов; адрес электронной почты для каждого автора: телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ должно точно отражать содержание статьи* и содержать не более 8–10 значащих слов. АННОТАЦИЯ должна быть лишена вводных фраз, содержать только главную информацию статьи, не превышать объем – 15 строк.

Отдельной строкой приводится перечень КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга запятой, в конце фразы ставится точка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ должны содержать сведения об объекте исследования с обязательным указанием латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы физических величин приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех количественных данных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным указанием географических координат).

ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявлении следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с имеющейся в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Для фаунистических и флористических работ следует указывать место хранения коллекционных образцов. Если в статье приводятся сведения о новых для исследованной территории таксонах, то желательно и процитировать этикетку. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии, помещаемые на вклейках (рис. I, рис. II). Обсуждение завершается формулировкой основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во Введении. С с ы л к и на л и т е р а т у р у в т е к с т е даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Раменская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более), и заключаются в квадратные скобки. При перечислении нескольких источников работы располагаются в хронологическом порядке, например: [Иванов, Топоров, 1965; Успенский, 1982; Erwin et al., 1989; Рыбаков, 1994; Longman, 2001]. С с ы л к и на а р х и в ны е м а т е р и а л ы в т е к с т е: [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 6, д. 404, л. 167].

ТАБЛИЦЫ нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. На полях рукописи (слева) карандашом указываются места расположения таблиц при первом упоминании их в тексте. Диаграммы и графики не должны дублировать таблицы. Материал таблиц должен быть понятен без дополнительного обращения к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, должны быть пояснены в Примечании, расположенном под ней. При повторении цифр в столбцах нужно их повторять, при повторении слов – в столбцах ставить кавычки. Таблицы могут быть книжной или альбомной ориентации (при соблюдении вышеуказанных параметров страницы).

РИСУНКИ представляются отдельными файлами с расширением TIFF (*.TIF) или JPG (не встраивать в Word). Графические материалы должны быть снабжены распечатками с указанием желательного размера рисунка в книге, пожеланий и требований к конкретным иллюстрациям. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. Иллюстрации объектов, исследованных с помощью фотосъемки, микроскопа (оптического, электронного трансмиссионного и сканирующего), должны сопровождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях надо указать длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения необязательно, поскольку при публикации рисунков размеры изменятся. Крупномасштабные карты желательно приводить с координатной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названиями физико-географических объектов и разной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка с мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, увеличенный в крупном масштабе в виде основной карты.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ должны содержать достаточно полную информацию, для того чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта информация уже не дана в другой иллюстрации). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных подписях.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фамилией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на публикацию в списке литературы. Названия таксонов рода и вида печатаются курсивом. Вписывать латинские названия в текст от руки недопустимо. Для флористических, фаунистических и таксономических работ при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название вида (если такое название имеется) и полностью – латинское, с автором и, желательно, с годом, например: водяной ослик (Asellus aquaticus (L. 1758). В дальнейшем можно употреблять только русское название или сокращенное латинское без фамилии автора и года опубликования, например, для брюхоногого моллюска Margarites groenlandicus (Gmelin 1790) – M. groenlandicus или для подвида M. g. umbilicalis.

СОКРАЩЕНИЯ. Разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа общеупотребительных.

^{*}Названия видов приводятся на латинском языке **КУРСИВОМ**, в скобках указываются высшие таксоны (семейства), к которым относятся объекты исследования.

БЛАГОДАРНОСТИ. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также указываются источники финансирования работы.

ЛИТЕРАТУРА. Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008). Список работ представляется в алфавитном порядке. Все ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список работ на русском языке и на языках с близким алфавитом (украчнский, болгарский и др.), а затем — работы на языках с латинским алфавитом. В списке литературы между инициалами ставится пробел.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 1-Й СТРАНИЦЫ

УДК 631.53.027.32: 635.63

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ СЕМЯН НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА

Е. Г. Шерудило¹, М. И. Сысоева¹, Г. Н. Алексейчук², Е. Ф. Марковская¹

Аннотация на русском языке

Ключевые слова: Cucumis sativus L., кратковременное снижение температуры, устойчивость.

E. G. Sherudilo, M. I. Sysoeva, G. N. Alekseichuk, E. F. Markovskaya. EFFECTS OF DIFFERENT REGIMES OF SEED HARDENING ON COLD RESISTANCE IN CUCUMBER PLANTS

Аннотация на английском языке

Key words: Cucumis sativus L., temperature drop, resistance.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблица 2. Частота встречаемости видов нематод в исследованных биотопах

Биотоп (площадка)	Кол-во видов	Встречаемость видов нематод в 5 повторностях				
		100 %	80 %	60 %	40 %	20 %
1H	26	8	4	1	5	8
2H	13	2	1	1	0	9
3H	34	13	6	3	6	6
4H	28	10	5	2	2	9
5H	37	4	10	4	7	12

Примечание. Здесь и в табл. 3–4: биотоп 1H – территория, заливаемая в сильные приливы; 2H – постоянно заливаемый луг; 3H – редко заливаемый луг; 4H – незаливаемая территория; 5H – периодически заливаемый луг.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСИ К РИСУНКУ

Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Ссылки на книги

Вольф Г. Н. Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм в органической химии / ред. Г. Снатцке. М.: Мир, 1970. С. 348-350.

Илиел Э. Стереохимия соединений углерода / пер. с англ. М.: Мир. 1965. 210 с.

Несис К. Н. Океанические головоногие моллюски: распространение, жизненные формы, эволюция. М.: Нау-ка, 1985. 285 с.

Knorre D. G., Laric O. L. Theory and practice in affinity techniques / Eds. P. V. Sundaram, F. L. Eckstein. N. Y., San Francisco: Acad. Press, 1978. P. 169–188.

¹ Институт биологии Карельского научного центра РАН

² Институт экспериментальной ботаники НАН Республики Беларусь им. В. Ф. Купревича

Ссылки на статьи

Викторов Г. А. Межвидовая конкуренция и сосуществование экологических гомологов у паразитических перепончатокрылых // Журн. общ. биол. 1970. Т. 31, № 2. С. 247–255.

Grove D. J., Loisides L., Nott J. Satiation amount, frequency of feeding and emptying rate in *Salmo gairdneri* // J. Fish. Biol. 1978. Vol. 12, N 4, P. 507–516.

Ссылки на материалы конференций

Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000. С. 125–128.

Ссылки на авторефераты диссертаций

Шефтель Б. И. Экологические аспекты пространственно-временных межвидовых взаимоотношений землероек Средней Сибири: автореф. дис. ...канд. биол. наук. М., 1985. 23 с.

Ссылки на диссертации

Шефтель Б. И. Экологические аспекты пространственно-временных межвидовых взаимоотношений землероек Средней Сибири: дис. ...канд. биол. наук. М., 1985. С. 21–46.

Ссылки на патенты

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д. Н., Серегин А. Г. Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.

Ссылки на архивные материалы

Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : материалы и заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л. 1–10.

Ссылки на Интернет-ресурсы

Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 25.11.2006).

Ссылки на электронные ресурсы на CD-ROM

Государственная Дума, 1999-2003 [Электронный ресурс]: электронная энциклопедия/Аппарат Гос. Думы Федер. Собрания Рос. Федерации. М., 2004. 1 CD-ROM.

CONTENTS

BORDERS IN LANGUAGE AND CULTURE
S. I. Kochkurkina. ISSUES OF DATING BURIALS CONTAINING COINS IN LADOGA AREA (OYAT') MOUNDS I. E. Grishina. EAST OBONEZHSKY COMPLEX OF ARCHITECTURAL TRADITIONS IN KARELIAN WOODEN ARCHITECTURE V. G. Platonov. AN INFLUENCE OF THE FOLK RELIGIOUS CULTURE ON FORMATION OF THE LOCAL TIER IN ICONOSTASES OF KARELIAN TEMPLES DURING THE 17th – 18th CENTURIES N. A. Krinichnaya. THE CEILING: MANIFESTATIONS OF THE TOP BOUNDARY OF THE LIVING SPACE IN THE PEASANT MICROCOSM (BASED ON FOLK ART) H. G. Soini. THE PARALLEL OF IMAGES OF «RUSSIA – FINLAND» IN THE LITERATURE OF RUSSIAN EMIGRATION IN FINLAND IN 1920–1940 D. V. Kuz'min. SAVONIAN HERITAGE IN THE TOPONYMY OF KARELIA N. G. Zaitseva. VEPSIAN MATERIALS IN SOME HUSBANDRY-RELATED PLOTS IN ALFE LINGUISTIC MAPS: TRADITIONS, INNOVATIONS, CONTACTS
NATIONAL AND ADMINISTRATIVE BORDERS. «US» AND «THEM» DEMARCATION AND CONTACTING
Jukka Kokkonen. SEARCHING BACK THE OLD BORDER. THE BORDER BETWEEN RUSSIA AND SWEDEN IN THE EARLY MODERN PERIOD
1930–1933: A STATISTICAL ANALYSIS
DOCTORAL STUDENT NOTEBOOKS
T. A. Khoroshun. ON THE CHANGE OF CULTURES IN THE NEOLITHIC – EARLY ENEOLITHIC KARELIA (BASED ON SITES ON THE WESTERN COAST OF LAKE ONEGA)
DATES AND ANNIVERSARIES
N. V. Lobanova. The research pathway of Yury Savvateev (on the 75 th anniversary)
REVIEWS AND BIBLIOGRAPHY V. I. Musaev. Maria Lähteenmäki. Maailmojen rajalla. Kannaksen rajamaa ja poliittiset murtumat 1911–1944. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Научное издание

Труды Карельского научного центра Российской академии наук

№ 6, 2011 Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выпуск 2

Печатается по решению Президиума Карельского научного центра РАН

> Редактор Л. В. Кабанова Оригинал-макет Г. А. Тимонен

Подписано в печать 19.12.2011. Формат $60x84^1/_{8}$. Гарнитура Pragmatica. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 17,7. Усл. печ. л. 20,5. Тираж 500 экз. Изд. № 243. Заказ 18.

Карельский научный центр РАН Редакционно-издательский отдел 185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50